

ЖАН-ФРАНСУА

ЛИОТАР

ЛИБИДИ-
НАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

Smolbny
Факультет свободных искусств и наук

НОВОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Jean-François Lyotard

Économie libidinale

LES ÉDITIONS DE MINUIT

Жан-Франсуа Лиотар

Либидинальная экономика

Перевод с французского

В. Е. Лапицкого

Научный редактор перевода

С. Л. Фокин

Smolny

Факультет свободных искусств и наук

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

МОСКВА · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · 2018

УДК 336.74
ББК 65.262.6
Л60

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
СЕРИИ «НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»
Автономов В. С. (НИУ ВШЭ), Ананьин О. И. (НИУ ВШЭ),
Анашвили В. В. (РАНХиГС), Болдырев И. А. (Университет
им. Гумбольдта, Берлин), Заманьи С. (Болонский
университет), Кламер А. (Университет им. Эразма
Роттердамского), Кудрин А. Л. (СПбГУ), Макклоски Д.
(Университет Иллинойса, Чикаго), Мау В. А. (РАНХиГС),
Нуреев Р. М. (НИУ ВШЭ), Погребняк А. А. (СПбГУ),
Расков Д. Е. (СПбГУ), Широкоград Л. Д. (СПбГУ)

Лиотар, Ж.-Ф.

Л60 **Либицинальная экономика** [Текст] / пер. с фр.
В. Е. Лапицкого; науч. ред. перевода С. Л. Фокин. —
М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свобод-
ных искусств и наук СПбГУ, 2018. — (Новое экономическое
мышление). — 472 с. — 18+.

ISBN 978-5-93255-562-2

Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) принадлежит к числу крупнейших французских философов XX века. «Либицинальная экономика» (1974) — одна из трех «больших» книг философа, в которой он, реагируя на недостаточную, на его взгляд, критику капитализма в злободневном философском бестселлере «Анти-Эдип» Делёза — Гваттари, предпринима-ет не столько критику, сколько радикальную деконструкцию не только капитализма, но и всех его критик, начиная с Маркса и кончая Бодрийяром, и вообще любой экономики, в том числе фрейдовской или лакановской, кроме прокламируемой им экономики либицинальных интенсивностей. Оставшаяся во многом непонятой современниками, «Либицинальная экономика» обрела в начале XXI века новое прочтение в трудах в основном англоязычных исследователей и мыслителей.

Jean-François Lyotard, *Économie libidinale*

© Éditions Minuit 1974

© Издательство Института Гайдара, 2018

ISBN 978-5-93255-562-2

Оглавление

ВЕЛИКАЯ ЭФЕМЕРНАЯ ПЛЕНКА

- Открывая либидинальную поверхность · 11
- Языческая театрика · 19
- Круговращение черты · 29
- Двусмысленность знаков · 36
- Дедукция объемного тела · 43
- Двусмысленность двух принципов влечения · 50
- Лабиринт, крик · 61

ТЕНЗОР

- Семиотический знак · 79
- Сокрытие · 90
- Интенсивность, имя · 98
- «Пользуйся мною» · 107
- Симулякр и фантазм · 117
- Синтаксис как кожа · 132
- Неподценное · 143

ЖЕЛАНИЕ ЗА ИМЕНЕМ МАРКС

- Либидинальный Маркс · 163
- Не бывает подрывных областей · 177
- Любая политэкономия либидинальна · 186
- Любая политэкономия либидинальна (бис) · 196
- Не бывает примитивных обществ · 208
- Неорганическое тело · 217
- Эдварда и малышка Маркс · 231
- Сила · 244
- Тавтология · 254

КОММЕРЦИЯ

- Никомахова эротика · 267
- Похвальное слово лидийцам · 284
- Учрежденная проституция · 295
- Плата как увертка · 308
- Война за серебро, валюту смерти: меркантильная политика · 319

КАПИТАЛ

- Coitus reservatus · 341
- Нуль заимообращения · 356
- Нигилистическая теория кредитного нуля · 364
- Использование кредитных денег
для воспроизводства · 376
- Использование кредитных денег для спекуляции:
год 1921 · 382
- Использование кредитных денег для спекуляции:
год 1929 · 393

ЭКОНОМИКА ВСЕГО ВЫШЕНАПИСАННОГО

- Экономика фигуративного и абстрактного · 407
- Теоретическое как либидинальное · 415
- Тела, тексты: проводники · 429

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Лиотар о «Либидинальной экономике» · 445
- От переводчика · 457

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН · 461

**Кто не умеет таить,
не умеет любить.**

Великая
эфемерная
пленка



Открывая либидинальную поверхность

ОТКРОЙТЕ так называемое тело и разверните все его поверхности: не только кожу с каждой из ее складок, морщин, рубцов, с обширными бархатистыми плоскостями и примыкающими покровами, копною волос, нежным мехом лобка, с сосками, ногтями, прозрачными ороговениями на пятке, с легкой ветошкой отороченных ресницами век, но откройте и выпростайте, разложите же без утайки большие губы и малые, с их подернутой слизью синеватой сетчатостью, растяните диафрагму анального сфинктера, разрежьте вдоль и распластайте сначала черный канал прямой кишки, потом ободочной, потом слепой, теперь самую настоящую ленту, сплошь в бороздках, замаранную калом, словно вспарывая портняжными ножницами штанину старых брюк, давайте же, выведите на свет мнимую внутренность тонкой кишки, тощую кишку, подвздошную, двенадцатиперстную, ну а на противоположном конце надрежьте в уголках рот, вытащите наружу язык вплоть до самого корня и рассеките его, расправьте крылья летучей мыши нёба и его влажных подполий, вскройте трахею и воспользуйтесь ее членением, как остовом корабля на стапеле; вооружившись тончайшими скальпелями и пинцетами, разберите на части и разложите пучки и телá головного мозга; а затем, плашмя, на огромном лабораторном столе, всю нетронутую кровеносную систему, и лимфатическую сеть, и тонкие хрящики запястий, лоды-

жек, выньте их и расположите впритык к тем слоям нервных тканей, что окружают водянистую влагу глаза, и к пещеристому телу члена, извлеките и крупные мышцы, большие спинные филе, растяните их, как лоснящихся спящих дельфинов. Сделайте то, что вершит солнце, когда в нем омывается ваше тело, или трава.

И это не все, куда там: нужно, чтобы к губам этим подключился и второй рот, и третий, множество других ртов, одна, другая, уйма вульв, уйма сосков. И, льнущие к коже на кончиках пальцев, поцарапанные ногтями, нужны, может статься, просторные пляжи шелковистой кожи с испода ляжек, под затылком, а может — гитарные струны. В ладонь же, в прожилках, скукоженную, как жухлый лист, нужно, чего доброго, вложить горсть горшечной глины, или убранный серебром приклад из твердого дерева, или автомобильный руль, или шкот швербота. Не забудьте добавить к языку и прочим частям голосового аппарата звуки, которые он способен издать, а с ними и ту селективную звуковую сеть, какою является всякая фонологическая система, ибо все это тоже принадлежит либидинальному «телу», как и цвета, которые вам нужно будет приложить к сетчаткам, как какие-нибудь мушки и оспинки на коже, как какие-нибудь избранные носовыми раковинами запахи, как излюбленные слова и синтаксисы ртов, что их произносят, и рук, что их пишут. Недостаточно, как мы видим, заявить вслед за Беллмером, что сгиб подмышки у девочки, в задумчивости облокотившейся о стол, подперев рукой подбородок, может *сойти за* складку паха или даже за смычку половых губ. Не будем спешить с вопросом касательно «сойти-за» и тем паче с ответом на него. Для *начала* нужно принять во внимание отнюдь не часть тела — какого тела? тела органического, организованного ради выживания наперекор тому, что мятет его к смерти, застрахованного от мятежа и смятения, — не часть, которая

норовит *заменить* какую-то другую, как, в случае этой девочки, полнота предплечья норовит заменить полноту ляжки, а совсем легкая складка — куда более влагательную щель, отнюдь не это смещение частей, признаваемых *политической экономией* органического тела (в свою очередь изначально составленного из дифференцированных и подогнанных друг к другу частей, каковые без него не действуют). Такое смещение, чья функция — представление, компенсация, предполагает телесное единство, в которое оно вписывается как нарушение. Начинать надо не с нарушения, нужно сразу же идти до конца жестокости, препарировать полиморфную перверсию, развернуть, в противоположность сложению членов в тело, необъятную сочлененность мембраны «тела» либидинального. Каковая состоит из самых что ни на есть разнородных текстур: костей, эпителиев, еще не исписанных страниц писчей бумаги, арий, которые всех потрясут, всяческой стали и стекла, люда, трав, еще не покрашенных холстов. Все эти зоны сращены в единую ленту без оборотной стороны, ленту Мёбиуса, интересную не своей замкнутостью, а своей односторонностью, мёбиусову кожу, не гладкую, а (возможно ли это топологически?) наоборот, сплошь покрытую шероховатостями, закоулками, складками, полостями, которые, при «первом» прохождении покажутся полостями, но при «втором» вполне могут обернуться буграми. Но никто не знает и не узнает, на каком «витке» вечного обращения находится. Нескончаемая лента с переменной геометрией (ибо ничто не заставляет выемку оставаться вогнутостью, тем паче, что на «втором» витке она обязательно станет выпуклостью, если, по крайней мере, сохранится) имеет не две, а только одну сторону и тем самым ни внешнего, ни внутреннего.

Посему тут заведомо нет никакого либидинального театра, никакой плотности, тут и там, приостанав-

ливаясь, ускользая, пробегают интенсивности, и их никак не заключить в объем зала/сцены. Театральность и представление — и их отнюдь не нужно воспринимать как либидинальную, *a fortiori** метафизическую данность — вытекают из определенной работы над лабиринтной и притом мёбиусовой лентой, из работы, которая отпечатывает особые складки и загибы, в результате чего и получается замкнутая сама по себе коробка, фильтрующая побуждения и допускающая, чтобы на сцене появлялись только те из них, что, явившись из впрямь называемого *внешним*, удовлетворяют условиям внутреннего. Камера представления — это энергетический механизм. Описать его и проследить, как он функционирует, — вот что надлежит сделать. Нет нужды критиковать метафизику (или, что то же самое, политэкономия), поскольку критика предполагает и беспрерывно воссоздает все ту же театральность, надо, скорее уж, *быть внутри и об этом забыть*, такова установка влечения к смерти, скорее уж надо описать это, все сгибания и склеивания, все заражения энергией, размечающие на единой и неоднородной поверхности театральный куб с шестью его однотипными гранями. Идти от влечения к представлению, но не прибегая, чтобы описать это укоренение, этот переход нервных импульсов к оседлости, не прибегая к сомнительной легкости понятия нехватки, к легкости уловки пустой Инаковости, Нуля, столкнувшись с молчанием которого прерывается требование (требование — стало быть, уже речь? и уже адресованная, уже к чему-то? да, к этому Другому; и со стороны чего-то в свою очередь уже умеющего говорить? да, пусть даже говорят они жёстами, слезами, исступлением или оцепенением пода-

* тем более (лат.) [здесь и далее звездочками или квадратными скобками вводятся примечания переводчика].

вившегося грудничка, междометиями), так что с этой уловкой с просьбой и молчанием Нуля, ну да, только и остается, что торжественно открыть и запустить театр и власть, театр власти, где разыграются исполнения желания, родившегося из этой самой пресловутой нехватки. Совсем, как будет видно далее, наоборот: нужно описать предприятие с кубом, отправляясь от ленты открытого либидинального тела, выставленного своей единственной, без изнанки, стороной, стороной, каковая ничего не скрывает.

Прежде всего, не нужно путать замыкание представления, сию саркастическую находку, сие мнимое снятие пелены с наших глаз мыслителями, когда они заявляют: пребывающее вне в действительности находится внутри, нет ничего внешнего, внеположное театру включено в то же время в него изнутри, — не надо смешивать эту грустную новость, это всего лишь обратное евангелию какангелие*, жалкое оповещение, что переносчики артефактов, проходящие за невысокой стеной по-за спинами узников, прозябающих в оковах в глубине пещеры, увы, не существуют или, что в общем-то примерно то же самое, что и они в свою очередь — тени в пещере залитого солнцем мира, грустное удвоение; — итак, смотрите не спутайте это раздосадованное послание, это представление совершенно замкнутого театра с нашей мёбиусно-лабиринтной пленкой, односторонней лоскутной чересполосицей всех тех органов (неорганических и неорганизованных), через которые может пройти либидо: ибо ей не замкнуться на самое себя, как и настоящая лента Мёбиуса, она замкнута отнюдь не в смысле объема и, в отличие от куба представления, бесконечна, интенсивности пробегают здесь не встречая конца, никогда не натываясь на стену отсутствия, на предел,

* дурная весть (*греч.*).

ставший бы знаком нехватки, нет, у либидо на самом деле ни в чем нет недостатка, в частности, в областях для вложения: чем не подходящая область для вложений тонкий и очень-очень смуглый палец левой руки, коим молодая женщина, в беспокойстве, поскольку боится того, что считает вашими познаниями, проводит за разговором по брови, в то же время затягиваясь сигаретой, которую держит в правой руке; ради этого можно умереть, за это можно отдать всю свою органику, все свое, в полном порядке, тело, функциональную упорядоченность органов, саму память об органах, свое социопрофессиональное положение, свое так называемое прошлое и так называемое будущее, записную книжку и интимный театр; того и гляди, возникнет желание очень дорого, сверх всякой цены оплатить сей палец и все пространство — глазничное, черепное, вагинальное, — которое он, словно резец гравера, порождает вокруг глаза. И вложение осуществляется не потому, что это пространство запретно, не потому, что оно представлено по ту сторону сценической рамки, и не потому, что у тебя нет права на сцену подняться, — потому, что ты хочешь туда подняться и *этим завладеть!* У либидо нет недостатка в областях для вложения, и вкладывается оно отнюдь не на условиях нехватки и присвоения — вкладывается безоговорочно, безусловно. Условие — это правило и знание. Но какое имеет значение, что переход эмоции на приглаживающую бровь руку подчиняется правилам, законам эмоций и прочим нелепицам; какое имеет значение, что ты знаешь, что именно вызывает робость, которую она, эта женщина, испытывает перед твоей предполагаемой (отеческой, очевидно...) особой; какое все это имеет значение, вся эта мишура слов, так и норовящих объяснить и объясниться. Именно они, эти слова, претворяют ее жест в представление и производят его во внутреннем

любому дискурсу внешнем, а закон, который они готовы изобрести, чтобы *объяснить* внешнее и сей спектакль, для них это закон, поскольку это закон знания.

Вместо того чтобы принять великий Нуль в качестве навязанного желанию онтологического мотива, чтобы постоянно все откладывать, представлять и симулировать в не имеющем конца переносе, мы, либидинальные экономисты, утверждаем: сей нуль сам является фигурой, фрагментом могущественного механизма, кровожадного, как Бог иудеев, и бледного, как Пустота Лао-цзы, механизма заимообращения, в коем, конечно же, одновременно утверждается несколько либидинальных установок, которые мы, забавы ради, аккуратно распутываем и разбираем, без столкновений, на японский лад, высвобождаем, как в игре в бирюльки*, — и готовы показать, что не только не обязательно ему подчиняться, дабы следовать за пробегающими по лабиринту интенсивностями, но, более того, что само прохождение через нуль есть особый либидинальный пробег, что в механизме заимообращения чревато наслаждением само положение Означающего или Другого, что кой у кого встает от «строгости закона» и что с этим Ничто мы имеем дело не с онтологической необходимостью, а с религиозной, следовательно либидинальной фантазией, вполне, впрочем, как таковая, скажем, приемлемой, не будь она, увы, террористической и деонтической. Нам надлежит смоделировать утвердительную идею Нуля.

Итак, мы возобновляем критику религии, продолжаем, стало быть, разрушать благочестие, вновь взыскуем атеизма; чертовски сообразительные, мы поняли, что повторно ввести в экономику желания Нуль, то есть негатив, значит просто-напросто повторить включение в либидинальные материи бухгалте-

* подразумевается популярная игра «микадо».

рии, значит перенести в сферу страстей политэкономии, а то и капитал, а за этой экономикой капитала, опять же по необходимости, поняли мы, готово воспоследовать благочестие, исполненный влечений и страстей механизм религиозности, насколько последняя опознается как *сила нехватки*, механизм религиозности капиталистической — религиозности денег, порождающих сами себя, *causa sui**. И, стало быть, мы «занимаемся политикой», мы хотим, чтобы сила нехватки захирела, выродилась, мы хотим и желаем всего, что утверждает, что этот нуль не только не порождает сам себя и не порожден какой-то иной силой (рабочей силой, полагает Маркс, но как раз из-за своей нехватки стертой «на поверхности», на социальной сцене), но и более того, вопросы порождения влекут в ловушку, несут в себе знание и его «ответы» на них, ответы, которые смеются над вами прямо в лицо, — нет, наша антирелигиозная, то есть антикапиталистическая политика не зависит от того, знаем ли мы, что в действительности является источником смысла, то есть прибавочной стоимости, как и от того, знаем ли мы, что в действительности нет никакого источника, что его не хватает не в качестве того-то или того-то, а как источника, мы хотим и вершим некую расчлененную политику, безответственную, политику для политиков *кощунственную*, и именно в этом смысле возобновляемая нами *критика* религии — уже во все не критика, уже не принадлежит *сфере* (то есть, заметьте-ка, театральному объему) того, что она критикует, — поскольку критика в свою очередь покоится на силе нехватки, и именно в этом смысле *критика остается религией*.

* причина самое себя (лат.).

Языческая театрика

ОТ ЛИБИДИНАЛЬНОЙ ленты мы желаем атеизма, и, если он не может быть критическим, то есть религиозным, нужно, чтобы он был языческим, то есть утвердительным. Нам, таким образом, нужно перескочить через две границы, не только через ту, что отделяет политику от а-политичности, но вдобавок и через ту, что отделяет религиозное от светского; нам нужно, например, сказать, что в религии поздней Римской империи, которую поносил и язвил Августин, возможно, присутствует куда больше атеизма (утвердительного), — в той религии, в которой для малейшей икоты, ничтожного скандала, для распоследнего совокупления, родов, мочеиспускания, военного приказа, имелся свой бог, своя богиня, несколько богов и богинь, *способствующих* действию, пациенсу и агенсу, не просто дублируя их в бесполезном спектакле, во что делает вид, что верит Августин, и тем более не избавляя от ответственности предположительно вовлеченного в означенное действие субъекта, но с тем, чтобы все эти жесты, все эти ситуации, относящиеся к, как (с тех пор) говорится, повседневной (но бывает ли другая?) жизни, с одной стороны, начинали цениться как интенсивности, не опускаясь до «полезностей», а с другой — не могли посредством некоей парадоксальной, диалектической, произвольной, террористической связи отойти к какому-то отсутствующему Закону или Смыслу, а, напротив, в своем утверждении единичности непременно начинали

восприниматься как самодостаточные. Как раз этим самоутверждением и было *божественное*. Возможно, нет ничего более близкого к тому, что происходит на либидинальной ленте, чем пародия, которую «театральная теология» извлекает из полускептической-полустоической народной религии позднего Рима. Она, во всяком случае, даже если мы несправедливы к ее выгоде, куда атеистичнее, нежели дискурс науки, политики и критики наших современных освободителей — освободителей желания, женщин, гомосексуалистов, детей, негров, индейцев, пространств и пролетариев, — освободителей, которых мы любим и к числу которых, впрочем, принадлежим *и сами*.

Вовсе не противостояние между похвалой божественному в мире и восхвалением Бога за счет мира и *in absentia**, а различие между двумя механизмами пафоса разграничивает театральную теологию и теологию иудеохристианскую, каковая и по сей день направляет критику религии и политэкономии. Здесь пора обратиться к Клоссовскому. Послушаем, по его совету, как Августин обсуждает проводимое Варроном размежевание между баснословной или мифической теологией и теологией гражданской или политической. Наш христианин приводит в пример первую брачную ночь: «Но пусть богиня Виргиниенсия присутствует затем, чтобы развязан был у новобрачной девственный пояс; пусть бог Субиг — чтобы она подчинилась мужу; богиня Према — чтобы, подчинившись, сохраняла покорное положение: что делает там богиня Пертунда? Да будет ей стыдно: пусть идет она вон. Должен же сделать что-нибудь и сам муж! В высшей степени позорно, если роль, от которой она имеет свое имя, исполняется кем-либо другим, кроме мужа. Но, быть может, присутствие ее тер-

* заочно (лат.).

пимо потому, что она богиня, а не бог (...) Но зачем я говорю это, когда там находится и Приап, самец-урод, на громаднейший и отвратительнейший фаллос которого, по весьма почетному и благочестивому обычаю матрон, советуется сесть новобрачной? Пусть прилагают еще новые усилия и с какой угодно тонкостью отличают гражданскую теологию от баснословной, города от театров, храмы от сцен, священнодействия понтификов от стихов поэтов, как вещи почетные от гнусных, истинные от ложных, важные от пустых, серьезные от шуточных, такие, к которым надлежит стремиться, от таких, которые должны быть отвергнуты» (*О граде Божьем*, VI, 9).

И благочестивый Августин ничтоже сумняшеся выдвигает следующее соображение: если Варрон выставляет все таким образом, что соответствующие представления божественного на театральной сцене и на сцене социальной в конечном счете неотличимы, то дело тут в том, что в сем язычнике уже живет убежденность: верна единственно естественная теология, теология философов (подразумевается — Платона), и, следовательно, теология Августина (подразумевается — Христа). Все симуляции, будь то гистрионов или жрецов, скопом сметаются в одну сторону, в сторону лживого, иллюзорного, нечистого; новый рубеж готов отделить все это, сиречь видимость, от существенного, которое является чистым и достоверным. Что же таким образом проделывает Августин? Он полагает, что поставил крест на театре, — на самом деле он его изобретает, переизобретает после Платона и всех остальных, восстанавливает то, что уничтожили приверженцы Субига, Премы и Пертунды, то есть обесценивание всякого здесь и теперь, его подчинение Другому, он ре-формирует громоздкую театральность и повторяет расклад, согласно которому зрительный зал игнорируется в пользу сцены, а сцена посвящается представ-

лению оставленного за дверями театра, раз и навсегда сочтенного не театральным Внеположного.

Между тем варроновская народная театрика ни в коей мере не предполагала в своей сценографии подобного распределения функций. Если молодой супруг подстрекает Виргиниенсию развязать пояс юной женщины, которую он собирается лишить девства, неужели за этим можно усмотреть непристойность, шутовство и лживость? Разве не очевидно, что под именем Виргиниенсия выступают и нетерпение *vir desiderans**, и не менее выведенное из себя, но более изумленное ожидание *virgo***, и развязывание распускаемого пояса, и, поверх него, обустройство другого узла, готового завязаться между руками, плечами, животами, бедрами, между *introitus* и *exitus****? Виргиниенсия — это крик, выпускаемый всем этим сразу, крик, складывающийся из нескольких несовозможных криков: пусть она откроется, пусть он возьмет меня, пусть она сопротивляется, пусть он нажмет, пусть она разожмется, пусть он начнет и пусть остановится, пусть она подчиняется и командует, пусть это будет возможно и как бы невозможно, мольба и приказ, о, что может быть могущественнее, делай то, чего желает желание, будь его рабом, включайся, я дам тебе имя.

И для каждого подключения — божественное имя, для каждого крика, интенсивности и подключения, доставляемых жданными и неожиданными случаями, — мелкий бог или богиня, мелкое божество, которое, кажется, если смотреть на него печально выпученными платонико-христианскими глазами, ничему не служит, которое действительно ничему так не служит, но является именем эмоционального пе-

* жаждущего мужа (лат.).

** девы (лат.).

*** проникновением и извлечением (лат.).

рехода. Тем самым в любых обстоятельствах есть место божеству, в любом подключении — половодью аффектов. Но Августин, перейдя в лагерь великого Нуля, во всем этом уже ничего не смыслит, он хочет смирения и призывает к нему, оставьте либидинальную ленту, говорит он, только одно заслуживает аффекта, это мой, только мой Ноль, мой Другой, именно через него к вам приходят все ваши эмоции, вы обязаны ими ему, давайте же, сохраните их за ним, верните их ему, он их у вас, искупитель, выкупит. И чего же хочет наш христианин? Пренебрежения подключением и чуть ли не отключения: *ближний*, что за чудное слово! Другой помещен в атмосферу аффективного отдаления, потом возвращен как можно ближе своеобразным и парадоксальным усилием, называемым *caritas**, потому что оно дорого стоит (мы даем без возврата, раздаем расстояния удаления, собирает же данности и извлекает из них прибыль Ноль). С этим отключением не остается единичностей. У *caritas* есть ответ на все. Вот почему все оказывается обесцененным, расщепленным на свою видимость, ставшую древним богом, Виргиниенсией, Приапом, шутом, и на свою сущность, нового бога, центральный Ноль, постановщика сцены.

По видимости бред или безумие, по сути же божественные намерения. Послушайте отца Церкви, который пытается расщепить интенсивности: «По их мнению, Либер назван так от освобождения (*liberamentum*), потому что по его милости мужчины освобождаются от семени, когда выпускают его при совокуплении (...) Либери, сверх того, предлагают и женщин, и вино для возбуждения похоти. Поэтому вакханалии отправля-

* уважение, почёт, любовь, привязанность (и ее предмет), но также и дороговизна, высокая цена/ недостаток, скудость (лат.).

ются с величайшим безумием. Сам Варрон сознается, что подобные вещи могли твориться совершающими вакханалии не иначе, как при умственном иступлении, *nisi mente commota* (...) Таких вещей не делали и в театре. Там играют, но не безумствуют; хотя, впрочем, считать богами тех, которые услаждаются театральными играми, достойно безумия, *simile furoris*». Вот как милейший Отец (*O grade Божьем*, VI, 9) предуготовляет общее заточение видимостей под именем симптомов. Обесценивание данности функционирует сполна, то есть впустую: движение сил становится потрясением рассудка, а вскоре и *dementia* и *amentia**. Язычники называли его Дионисом и Вакхом, именами не подлежащих оценке единичностей. И отметьте паралогизм Августина, запинаящуюся манеру все же оказать честь силе *их* театрики: вакханки были объаты неистовством; этого не видно в театре, где *всего лишь играют*; хотя театральные игрища таковы, что могут понравиться только богам, в свою очередь охваченным *furor***.

Непосредственное и вполне языческое следствие: *furor* божественен, божественное есть *furor*; как в священных ритуалах, так и в сценических играх нет ничего, что не включалось бы под особым именем в траекторию побуждений, как нет и ничего, что осталось бы подобной траекторией не охваченным. Здесь мы ловим Августина на том, что он, дабы произвести объем и камеру присутствия/отсутствия, загибает либидинальную ленту на самое себя. Для окончательно расчета понадобится, чтобы интенсивности были профильтрованы и занесены в актив великого Нуля. И мы видим, что это ему не удастся, не удастся установить разницу между игрой и неистовством, симулякр и истиной, шутовством и серьезностью.

* помешательством и сумасшествием (лат.).

** неистовство, безумие (лат.).

Сей бандитский бандаж, это утверждение ленты пишется с болью, от которой дрожит рука. Вслушаемся в нее, она, несомненно, куда важнее, чем то, что говорится. Эта боль — отнюдь не уныние и не потеря сил, совсем наоборот. В ней отпечатывается расход существенных порций энергии, затрачиваемых на то, чтобы сделать приемлемым нечто неприемлемое, возможно, само это накопление сил. Плакать, вопиять — все это на расстоянии вытянутой руки. Накапливаются — в то время как рука заводит свое перо все дальше в Дионисовы рощи — фигуры, фигуры жизни и смерти, то есть по сути та же энергия, уловленная на мгновение и навсегда; и они, повелительницы диких зверей, ее пожирают. Египетское лицо, грива из Негева, андрогин цвета бистр, неуступчивая самочка, совсем ребенок.

Вокруг этой боли, возможно, центрируется новое, поистине жуткое стечение обстоятельств: вчера вечером, этой ночью то же самое бесстрастно вглядывающееся невесть куда египетское лицо *почернело*. Лик юной женщины стал посмертной маской молодого мужчины, чье тело надсмотрщики — те самые, которые на протяжении добрых двух лет надзирали за ним и избивали в тюрьме на островке у африканской литорали, — просто предали земле, после того как отец, осмотрев его, отказался признать их версию самоубийства. То же самое лицо, такой же узкий лоб, большой, слегка искривленный нос и массивное окрест него лицо абиссинских пропорций, то же изящество прикуса. И лицо говорило, все время, пока она молчала, изворотливо, ускользя от смерти и разыскивая ее потоками слов, говорило как негр, расставляя все новые и новые ловушки слов, но речи его оставались настолько вкрадчивыми и властными, что вели к зримым последствиям, в точности как физические воздействия. Если бы его смерть могла разразиться,

как раздражались его слова, ощутимыми преобразованиями, когда у него было тело! Сделать из его смерти его вновь деятельное, преобразующее тело. Анаграммами его *потеп** были Рома, Амор**.

И это напряжение, в первую очередь затруднение и нетерпимость, ассоциируется с несовозможностью всех таких синхронных фигур. Нужно быть уж совсем христианином и круглым дураком, чтобы представлять себе этих римлян и негров похотливыми недотепами, впавшими в грязный разврат простачками. Это страдание от избытка — страдание вакханок, оно происходит от *несовозможности* фигур, масок, которые вместе занимают одно и то же пространство и время и потому обнаруживают либидинальную ленту, ибо подобная несовозможность, когда одновременно утверждаются как-никак различные части предполагаемого органического тела, или, если угодно, когда одновременно утверждаются секции психического и социального аппарата, которые вообще-то должны утверждаться только раздельно или последовательно, просто непереносима. Не потому ли, что она является распадом единства, предполагаемого синтеза? Для нас, пришедших много позже, накопивших несколько веков, почти два тысячелетия заживляющих навыков, поставляемых религией, религиями, мета-

* имени (лат.).

** Имеется в виду Омар Блонден Диоп (1946–1973), левый активист, снявшийся, в частности, в фильме Годара «Китайanka» и принимавший деятельное участие в событиях 1968 года в Париже. Вернувшись на родину в Сенегал, активно выступал против профранцузской политики президента страны Леопольда Сенгора; в 1972 году был приговорен специальным трибуналом к трем годам лишения свободы по обвинению в терроризме и шпионаже и заключен в тюрьму на острове Горе. По официальной версии повесился в своей одиночной камере в ночь с 10 на 11 мая 1973 года.

физикой, капиталом, в театральной теологии пошло ко дну не что иное, как самотождественность. Не может ли быть, что всякая интенсивность оборачивается страданием только потому, что мы религиозны, этикие монахи Нуля? Даже сказать себе это уже, возможно, будет утешением.

Что нам, либидинальным экономистам, грозит, так это сфабриковать из сего утешения этакую новую мораль, провозгласить и довести до всеобщего сведения, что либидинальная лента *хороша*, что циркуляция аффектов *радостна*, что анонимность и несовозможность фигур *шикарны и свободны*, что всякая боль реакционна и таит в себе яд вышедшей из великого Нуля формации — как раз это я только что и сказал. Ибо надобность тут не в той или иной этике. Быть может, в некоем *ars vitae**, молодой человек, но уж тогда в искусстве жизни, в коем надлежит подвизаться в качестве художников, а не пропагандистов, авантюристов, а не теоретиков, проводников гипотез, а не цензоров.

Нам даже не нужно говорить: великий Нуль, какая гадость! В конце концов, это фигура желания, и где мы должны обосноваться, чтобы отрицать за ним это качество? В каком другом, не менее террористическом Нуле? На искривленной, наэлектризованной, колеблемой лабиринтной ленте *обосноваться невозможно*. Нужно проникнуться тем, что инстанцирование интенсивностей в исходном Ничто, в Равновесии, как и складывание целых частей мёбиусовой либидинальной ленты в формы театрального объема, проистекает не по ошибке, не от иллюзии, не по злобе, не наперекор принципу, а опять-таки из желания. Что постановка представления есть желание, что на сцену, в застенки, в тюрьму, на завод, в семью, к розыгрышу приводит желание. Что желанны господство и исклю-

* искусстве жизни (лат.).

чение. Что в этих же раскладах способны инстанцироваться и предельные интенсивности. Что черное фараоново лицо претерпело смерть, взыскуемую им метаморфозу, стало той смертью, коей оно и было. Нужно суметь понять это, а не отбрасывать, ибо именно неприятие, вынос наружу и продлевает театральность как тень, отбрасываемую на либидинальную ленту. Но неприятие это с необходимостью сопровождается установкой точки зрения на Нуль, на пустой центр — место, откуда все полагается зримым-умопостигаемым, место знания.

Круговращение черты

ИТАК, имеет место боль несовозможности. Она куда древнее, чем на то указывает слово «несовозможность». Которое стремится уверить, будто исток сей боли логичен, что он в насилии над совозможным, в одновременном утверждении этого и не-этого. Конечно, при занятии пространств, доселе слывших взаимоисключающими и тщательно разьединенными, не обходится, как хорошо известно наиболее проницательным математикам и логикам, без толики страдания: достаточно вспомнить историю с мнимыми числами, нечеткими множествами, логикой индивидов. То же самое и у художников, когда Клее, например, раскрывает на живописной подложке куб в перспективе как одну, как десять разнородных коробок, совместно представленных с пяти или шести точек зрения. Толика страдания, но все же не эта боль, а как бы ее негатив: боль, возведенная *a contrario** в пространствах не-боли. Там, где понятие некогда строго разграничило это и не-это, провело границу, определив тем самым зону точек, каковые суть не это и не не-это, нейтрализованных точек, образующих пограничье и препятствующих смешению, эту серию точек вдруг перемещает, отграничивает и переограничивает по-другому новая «работа» (как они говорят) понятия, провоцируя панику отрицательно-го квадрата, трехзначной логики или, в гипотезе Лесь-

* наоборот (лат.).

невского, истинности высказывания вроде *обрез книги есть книга*.

Краткая паника, потом все вновь налаживается, откладывается по-другому, по крайней мере когда нас неотступно преследует мысль о великом Нуле, когда хочется любой ценой породить дискурс так называемого знания, когда, стало быть, не перестаешь, после всех этих расстройств, заявлять, что теперь-то все в порядке, что теперь в нашем распоряжении истинный аппарат пропозициональной логики, теории чисел, чего угодно. Истинный, то есть тот, который порождается и обеспечивается самим великим Нулем. Быстро отказываешься от кочевничества, занимаешь и возделываешь территорию под поручительством Истинного. Но такие рубцевания происходят, слава богу, редко, сегодняшние ученые тоже начинают двигаться в сторону боли, отбрасывая свои скромные страдания, смирные скандалы, умеренную диалектику и убогую «работу понятия». Они знают, что сия работа — просто-напросто надувательство, что работает отнюдь не понятие, что понятие есть капитал, который притворяется, будто работает, а на самом деле определяет условия труда, разграничивает то, что вне, и то, что внутри, дозволенное и запрещенное, выбирает и расценивает, вкладывает, реализует; что понятие есть торговля, но движение, сила этой торговли отнюдь не в понятии, скромном мелком страдании университетского радикал-социалиста.

Наши великие математики, коих мы нежно любим, наши братья в боли и в радости, отлично знают, что даже не правильно, а тщетно и чуть ли не подло говорить с тонкой улыбочкой: да, все, что мы делаем, всего лишь *игра*; да, мы — комбинаторы; да, мы отлично понимаем, что есть только великий Ноль и только и остается, что кружить вокруг него в таком масштабном спектакле. Они, как и мы, знают, что речь идет *вовсе*

не о какой-то игре, что никто не отбрасывает фальшивую серьезность понятия ради факсимиле игры. Римские, языческие и стоические боль и веселье — отнюдь не игры. Презируемые (и обожаемые) Августинем сценические игры ни в коей мере не являются подобиями иной реальности, сценические маски не могут быть популярной версией серьезного божества (очевидно, божества философов); Ничто, которым философы и жрецы снабдили нас в качестве максимума и оптимума сознания, или знания, или мудрости и благодаря которому пересекающие нас живучие и смертоносные интенсивности можно будет *не принимать в расчет*, это Ничто производится их желанием, а не само производит желание. Эти интенсивности никоим образом не происходят от иллюзорной изменчивости вложений во вроде бы окружающий Ничто неподвижный круг; напротив, они могут породить его как центр механизма заимообращения, называемого также собственным телом, «я», обществом, вселенной, капиталом, господом богом. Мысль об игре, о большой Игре, игре желания и игре мира, это опять же мелкая грустная мысль, просто какая-то мысль. Она целиком инстанцирована в Нуле и оттуда предпринимает высшее — для мысли — усилие, говоря себе: итак, на периферии, по кругу, только и имеет место, что перенос интенсивностей, круговращение и вечное возвращение; она говорит себе: я всего-навсего мысль, то есть Ничто и ничтожество; то, что есть, вращается вокруг, так что мне, чтобы быть, нужно лишь тоже расположиться на окружности и вращаться вместе с интенсивностями, вести себя так, *будто* я, мысль, люблю, страдаю, смеюсь, бегу, сношаюсь, сплю, мочусь и испражняюсь. Это высшее усилие мысли, пусть она от него даже лопнет, — вот наше, либидинальных экономистов, чаяние.

Боль несовозможности не отсылает к ограничивающему, отбирающему, направляющему нулю. Ей

не предшествует мысль. Чаще всего мыслью зовут то, что от этой боли ускользает, что создано, дабы создать от нее лазейку. Механизм заточения, то есть разграничения и понимания, который немедля произведет внешнее и внутреннее, отгородит расширение понятия, определит *места* (искусства, культуры, производства, политики, сексуальности), этот механизм со своим нулем может быть порожден только путем дезинтенсификации.

Оператором дезинтенсификации является исключение: либо это, либо не-это. Не оба. Барьер разделительной черты. Тем самым всякое понятие сопровождается отрицанием, выводом вовне. Именно это выставление наружу не-этого и дает материал театрализации: наружное «понадобится» завоевать, понятие «захочет» расшириться, завладеть тем, что оставило за порогом своей территории; с Гегелем оно пойдет на войну и работу, но уже и с Августином в сторону наружного, дабы его присоединить. На самом деле его подстрекает не только бес смешения, не только синкретизм, наслаждение беспорядком, поиски интенсивностей, но и бегство перед лицом той самой боли несовозможности, о которой мы ведем речь. До чего тоскливо в сих пределах, в этом вытекающем из исключения обесценивании! Как все их любят, эти внеположности! Так приходят путешествия, этнология, психиатрия, педиатрия, педагогика, любовь к инородцам: прекрасные негритянки, очаровательные индейцы, загадочные желтокожие, фантазеры, дети, включайтесь в мою работу, в мои понятийные пространства. Это театр; это белый Запад в экспансии, гнусный, людоедский империализм.

Умеренное страдание — это просто-напросто смещение разделительной черты. Умеренное страдание во второй степени — это сознание того, что смещение является правилом, что всегда имеет место смещение.

Умеренное страдание достигает своего апогея в мысли о метафоре и о зоре. Но боль, о которой мы говорим, ни в коей мере не связана со смещением черты понятия. Эта боль — отнюдь не депрессия, вытекающая из положения одной ногой здесь, другой там, одной внутри, другой снаружи, из *разделенности*. Эта боль не имеет никакого отношения к умеренному страданию кастрации, каковое есть страдание понятия, беспрестанно восстанавливаемые трещина и рубцевание. Вот как скорее стоит ее воображать, душистую Гриву.

Вы берете эту самую черту, которая разделяет это и не-это. То есть какой угодно ее отрезок. Помещаете его в нейтральное, скажем трехмерное, чтобы потрафить примитивной интуиции воображения, пространство. Вы подвергаете его вращательному движению вокруг какой-нибудь принадлежащей сему отрезку точки, так чтобы это движение удовлетворяло трем следующим условиям: вращение осуществляется вокруг всех осей без исключения; центральная точка сама перемещается по отрезку случайным образом; наконец, и он сам перемещается в предполагаемо нейтральном пространстве. Тем самым порождается поверхность, представляющая собой не что иное, как лабиринтную либидинальную ленту, о которой уже шла речь: в ширину эта лента всегда равна длине отрезка и т. п. Но важно не описать свойства этой ленты. Чем быстрее этот отрезок, который «проходит» по всему пейзажу смыкающихся как говорилось выше «телесных» поверхностей (который на самом деле за неуловимое время своего пребывания точка за точкой его *порождает*), вращается вокруг самого себя, тем больше использует и расходует энергии и разогревает пробегаемую зону. Эта проходка может быть совершенно неподвижной (черное солнце так называемых истерических *конверсий* или навязчивых или параноических *торможений*) или же, напротив, молниеносной

или мимолетной (художественные, научные, любовные *идеи*). Пропорционально выплеснутой энергии она оставляет по себе лед предельно холодных интенсивностей. И любая, будь то обжигающая или далекая, интенсивность всегда есть *это и не-это*, причем не из-за эффекта кастрации, подавления, двойственности, обязанной великому Нулю трагедии, а из-за того, что интенсивность относится к асинтетическому движению, движению более или менее сложному, но в любом случае настолько стремительному, что порождаемая им поверхность в каждой из своих точек оказывается сразу и *этим*, и *не-этим*. Ни о какой точке, ни о каком секторе, сколь бы малым он ни был, нельзя сказать, что он или она такое, поскольку этот сектор или точка не только уже исчезли, когда о них вроде бы говорят, но и в единичный и вневременной миг интенсивного через них прохождения сподобились вложений сразу с двух сторон.

Когда говорят *сразу*, имеется в виду не только *оба* (или *n*) *вместе*, но и *за один раз*, в единичности *этого* раза, *della volta**. Единственный оборот несет уйму аффектов. Дело не в отделении, а, напротив, в движении, в переместимости на месте. Следовало бы даже вообразить, что односторонняя лента как бы произведена этим случайным ротатором, этим шальным отрезком, действующим словно матрица, свойства которой непрестанно меняются и которая разворачивает на «выходе» непредвиденную полосу либидинальных меток. Но сам этот воображаемый образ должен быть исправлен, поскольку моделью ему служит некая индустриальная машина, волочительный, например, станок или прокатный стан, и при такой модели он подразумевает категорию накопления, складирования, материальной памяти и, что опять возвращает к тому же,

* за раз (*ит.*).

диахронии. Например, вы, полагаю, можете непрерывным и произвольным образом изменять нормы волочения или проката, что даст металлические бруски или проволоку с необходимо переменными свойствами. В остатке, они *остаются*, отметки вариаций вносятся в эти предметы и превращают их в памятники прошедшей деятельности, в определяющие факторы деятельности грядущей, тем самым открывая в производстве предшествующее и последующее пространство, пространство кумулятивного диахронического времени, капитализируемой истории. Так что поостерегитесь: с инструментом, с машиной, вы уже пребываете в полном нуле. Тогда как завихрения разделительного отрезка в его либидинальном путешествии, будучи единичными, не остаются в памяти, этот отрезок бывает только там, где он пребывает в каком-то неохватном времени, *a tense**, и, стало быть, того, что путешествовало «до этого», не существует: ацефалия, время бессознательного.

* (грамматическое) время (англ.).

Двусмысленность знаков

НУ ЖЕ, присмотритесь, сероглазая Недоброжелательница, с чем мы, либидинальные экономисты, в очередной раз намерены порвать: мы больше не станем говорить (разве что по недосмотру, не рассчитывайте на это) о *поверхностях записи*, об областях вложений и тому подобном. Мы будем остерегаться принятого размежевания между записью и ее местом. Нужно (между этим *нужно* и *ты должен* большая разница, говорит Ницше), нам нужно подстегнуть свое воображение, нашу способность к прощупыванию, пока она — не мыслить же нам, мы же не мыслители — пока она не сфабрикует идею интенсивности, которая вместо того, чтобы опираться на производящее тело, его определяет; идею перехода на ничто, который в мгновение вне исчислимого времени обеспечивает свое собственное *прохождение*, свой заход (как говорят некоторые в совершенно другом значении). Итак, отнюдь не сначала поверхность, а потом письмо или запись на ней. Нет, либидинальная кожа, о которой *задним числом* можно сказать, что она представляет собой лоскутную чересполосицу органов, органических и социальных элементов тела, сначала либидинальная кожа — что-то вроде тянущегося следа интенсивностей, эфемерное творение, бесполезное, как след реактивного двигателя в разреженном на высоте 10000 метров воздухе, за исключением того, что, в отличие от этого следа, она в высшей степени разнородна. Но притом будучи, как и он, од-

новременно и путем прошествия, и самим путешествием. Вы скажете: раз «прошествие» — значит уже в прошлом, кожа поставляет не проход, а его прошлое, не интенсивность, а ее последствие; так что поверхность, либидинальная кожа — лишь воспоминание об интенсивностях, капитализация, локализация их прохождений, одно дело интенсивность, другое — то, что от нее *осталось*, так что ваше сравнение ничего не стоит, ведь оно показывает, что имеет место *caput**, поверхность записи, реестр, тогда как его в его функции входило продемонстрировать ацефалию.

Вижу, как вы, Недоброжелательная, улыбаетесь фарсу, который разыгрывают надо мной слова знания и капитала еще до того, как я начал говорить. Полюбим же сей фарс, не будем его бояться, скажем *да* всякий раз, когда будет *нужно* (и нужно таки будет, и нужно не раз) сказать то, что мы должны сказать как либидинальные экономисты, сей фарс нафарширует наши слова старым фаршем нигилистической печали. Всегда останется возможность смещения либидинальной кожи и реестра записей, как Христа и Антихриста, материи и антиматерии. Не в нашей, слава богу, *власти* их разъединить, изолировать в точности одну область, одну — в точности! — волость, которая бы удачно представляла в точности либидинальную ленту и ускользала от правления понятия, от его жесткого скептицизма и нигилизма. Нет *сферы утверждения*, слова убивают друг друга.

Чудесно сказал Фрейд: в ропоте Эроса безмолвно работает влечение к смерти. Эрос и влечение к смерти невозможны, но неразрывны. При прочих равных так же обстоит дело и с прохождением интенсивностей и поверхностью записи. Поскольку последняя, поддерживая прохождения, действует как память,

* голова, рассудок, сущность, глава, главное, капитал (лат.).

именно ею отмечается и сохраняется возбуждение, она — средство преобразовать единичный знак ничто, каким является интенсивность, в термины присутствия/отсутствия, чье положение и, следовательно, значение будет определяться в зависимости от присутствия/отсутствия других терминов, в зависимости от их регистрации, от их места в форме, или в *Gestalt**, или в композиции. Поверхность записи является тогда средством регистрации. И остается сделать всего один шаг от средства регистрации до средства производства, который, как говорит Делёз, и совершает деспот, который и совершает великий Гештальтист. Мы отлично знаем, что эта поверхность является *сразу*, неотличимо и либидинальной кожей, «порождаемой» шальной чертой, и благоразумной уплотненностью расчетной книги. Сразу соположением единичных эффектов, что зовутся Сара, Биргит, Поль, печень, левый глаз, стразы на воротничке, соположением ни за что не собирающихся в одно тело точечных интенсивностей, только соседствующих в невозможной идее ленты влечений, каковая не может быть *одной* поверхностью записи, а лишь *несколькими*, даже не обязательно последовательными, мимолетными всплесками интенсивности либидо, — итак, сразу и всем этим, и листом, на котором в виде *списков*, спецификаций, гражданских состояний, перечней, указателей, следуя двойному закону парадигмы и синтагмы, столбца и строки, зарегистрировано то, что *остается* от интенсивности, ее след, ее запись.

Этот-то фарс и разыгрывают над нами слова, разыгрывают интенсивности и, с начала и до конца данной книги, разыграет сам наш порыв: позыв сей дойдет до вас, читатель, Недоброжелательница, *изложенным*, отложенным; тот лист, на котором я пишу и кото-

* гештальте, форме (нем.).

рый на мгновение, в помрачении и нетерпении, становится ласкаемой женской кожей или водной гладью, по которой я с любовью плыву кролем, вы получите сей лист напечатанным, повторяющим то же самое, в удвоении, вы получите регистрационный лист. Слова, которые обжигают кончик пера, которые этот кончик подстегивает как безучастное стадо, чтобы заставить их мчаться и поймать на лету самое благородное, самое быстрое, самое могущественное из них, вы получите как лексиколог. И какие бы ни пришли в голову с-равнения, все они исходно никчемны из-за *сит**, которое они содержат и которое превращает их в процедуры взвешивания, размышления, соизмеримости, годные для реестра и бухгалтерии, навсегда неспособные передать интенсивность в ее *происшествии*.

Уж не думаете ли вы, что мрачная констатация подобной *отсроченности* письма нас ошеломляет и угнетает? Она нас живо интересуется и вызывает прилив новых сил. Если в этом и кроется какой-то секрет, то он лишь в том, как невозможное соположение единичных интенсивностей уступает место реестру и регистрации? Как отсрочка-смещение единичности аффекта вне места-времени предоставляет место и время множественности, потом общности, потом универсальности в понятии, в оцелокупливании реестра, предоставляет место и время отсрочке-составлению или совмещению? Как *сила* уступает место *власти*? Как молниеносное утверждение описывается вокруг некоего нуля, который, в него вписываясь, его ликвидирует и предписывает ему смысл?

Вот в чем наш живой интерес (среди прочего политический, поскольку все это сугубо политический вопрос). И те *как*, с которыми мы к нему обращаемся, не имеют ничего общего ни с какими *почему*. Почему

* с- (лат.).

злобно, ностальгично, вероломно, всегда нигилистично. Мы не отрицаем *реальность*, само собой либидинальную, этого нуля, этого реестра, в наши намерения не входит гипотетически обесценить ее, заявив для начала: сей нуль является злобным деспотом, он нас подавляет, он для этого создан и т. д.; мы не разделяем все эти проявления *озлобленности*, которые часто служат движущей силой политического. Еще раз: нас интересует знак в классовско-римском смысле Субига и Пертунды, единичный тензор с беспорядочной множественностью направлений, мы не предполагаем, распутав, извлечь его из «плохого», нигилистического от Платона до Пирса и Соссюра знака, дабы поместить *отдельно* в некоем хорошем месте, где можно будет наконец укрыться от великого семиотического Нуля-семиотика, не предполагаем, стало быть, его отъединить и вынести по отношению к плохому знаку наружу, или наоборот, вынести наружу плохой по отношению к хорошему, их разделить и тем самым стать Праведниками, Блаженными, Мудрыми, Равными, Братьями, Товарищами; нет, из всех этих перекроений нас интересует только одно: стать прямо там, где находимся, достаточно изощренными, чтобы за грубостью обменных знаков почувствовать неповторимо единичные прохождения аффектов, достаточно избирательными и... скажу-ка провокации ради: в достаточной степени *иезуитами*, чтобы уловить за общим движением опущения и записи на Нуле капитала, Нуле Означающего, все *недо* и *по-за* сего движения — застои или брожения, — которые оно затягивает и предает; чтобы любить запись не потому, что она возвращает и включает, а из-за того, что требует ее производства, не потому, что она перенаправляет, а потому, что дрейфует.

Вот наша проблема, политическая и не только, вот, по крайней мере, ее установка: театральность без ссы-

лок; маски, не отсылающие ни к какому лицу, разве что в свою очередь к маске; Имена (осторожно, с большой буквы!) истории, которая не является памятью обществ, имена, скорее являющиеся их амнезией — но и избытком по отношению к всегда неотличимой от нее аполлоновской видимости, тем Дионисом, что неотделим от яркого света не в качестве его противоположности, а как его ядерная ночь, единичность, всегда вмещенная в параноический порядок универсального. И в этом смысле нам надо совершить не просто революцию, а революцию за революцией... если угодно, революцию *перманентную* — при условии, что это слово перестанет указывать на непрерывность и будет означать, что нам не стать достаточно изощренными, мир (либидинальный) всегда будет *слишком прекрасен*, в сущей ерунде или в самой заурядной депрессии всегда будет присутствовать слишком большой избыток немо дрожащего трепета, мы не перестанем ходить в учениках у аффектов, их пути не перестанут снова и снова пролегать по знакам представления и пролагать на них самые неожиданные, самые дерзкие, самые озадачивающие маршруты. И при условии, что *перманентная* означает также, что мы не стремимся произвести какую-то картографию, память, реестр наших усилий по изощрению, организацию, партию изощренных, антиобщество, школу кадров для аффектов, освобожденный аппарат по изощрению; рассматриваемая перманентность вовсе не сохраняется до поры до времени тождественной самой себе, к ней не низвести приобретения, житейский опыт, эксперименты и результаты, знания по части интенсивности; напротив, все будет мало-помалу (по мере чего?) теряться, теряться настолько, что в некотором смысле нам никогда не удастся непрерывно *хотеть* — хотеть в смысле принятия волевого решения — этой изощренности в захвате (изымающем) знаков, поскольку сила

(*Macht*) не может быть произвольно волимой (*Willkür*), поскольку желание не может быть *усмирено*, принято, понято, заблокировано в словах = ословарено, поскольку интенсивности, которых мы желаем, внушают нам ужас, поскольку мы их бежим, их забываем. Именно так, например, в одном либидинальном случае имеет место своя революция, в другом — совершенно иная, несравнимая (и всегда уже сравнимая и к тому же сравнённая, как в самих словах, которыми я только что воспользовался), и нет никакой перманентности: так, убегая от наслаждения-смерти, мы *сталкиваемся* с ним прямо перед собой, с неузнаваемым, сразу узнанным, *unheimlich**, потому что *heimlich***, несхожим, не волимым обдуманном решением, напротив избегаемым, беговым в панике и ностальгическом ужасе, и, стало быть, по-настоящему желанным (*Wille*), неусмиримым. Всякий раз нужно будет о нем забыть, ибо оно непереносимо, и тогда это забвение означает, что оно «волимо» в смысле *Wille*, производит смещение, путешествие интенсивностей, их возвращение вне тождественности. Наша политика — политика прежде всего бегства, как и наш стиль.

* жуткое, зловещее (нем.).

** тайное, негласное (нем.).

Дедукция объемного тела

ЛАСКА направлена на воротник: место, где кончается блузка, где начинается кожа — или наоборот; что тут, граница или трещина? Нет, скорее область преобразования одной кожи в другую. Легкий темный хлопок — это кожа. — Локоть, разместившийся как жидкость в ладони, средний палец, проходящийся, слегка разглаживая, по складке белого с голубым локтевого сгиба. Здесь снова трещина? Нет, переходная зона, вираж поверхностей. Что смущает в этих областях? Бездарно низводит их до символики половой щели. Не воображаемые ли это *входы*, не входы ли в воображаемое? Начало театра, вход в театр, театрализация либидинальной поверхности? — Нет, при входе проходишь перед входом, не входя, длинный палец стирает первичную иллюзию, иллюзию того, что имеется трещина — стало быть, внутренность, если проникнуть. Да, ты не театр, в который входит играть моя пьеса, не предел, член, заключенный во влагалище, есть будет был особым случаем непрерывной, маниакальной и совершенно непредвиденной смычки участков великой односторонней кожи. Сила скапливается на тех линиях соприкосновения, которые благодаря ее обильному вложению распространяются на новые, как говорится, записные поверхности. Ее прилив — не что иное, как *происшествие*. — Пока рука охватывает под рукавом слегка согнутый локоть (действуя сама по себе?), по-прежнему потерянный взгляд темнеет и начинает смотреть

«внутрь». И вот что это за «внутрь»: сила, которая пребывала в глазах, вырывается оттуда и устремляется к сгибу локтя. Для того ли, чтобы нарушить соприкосновение с эпидермой пальцев или чтобы туда ринуться и пройти? Третий, продолжая с ним разговаривать, ничего не видит.

Когда, как начинает лента обретать объем? Уж не язык ли наделяет ее толщиной и, благодаря своей отсылочной функции, присутствием отсутствия? Уж не глаз ли прогибает поверхности с обратной стороны и безумно домогается за ними непрерывности стороны лицевой? Но что такое «язык», что такое «глаз»? Единицы мысли, понятия? Как они могут действовать? Так называемая полиморфная перверсия, то есть версии перверсии, с самого детства без конца перемещается по поверхности без дыр. Дыры там не отыщешь, есть впячивания, инвагинации поверхностей. Вот почему, когда мы открываем, мы утверждаем только то, что есть, полную тайников просторную кожу, где щели — отнюдь не входы, не раны, не надрезы и не прорывы, а все та же поверхность, обретающая после увертки форму кармана, фронт, выгнувшийся почти до самого себя, как в Сталинграде. Разнясь, полиморфизм знает, что нет никакой дыры, никакой внутренности, никакого святилища для почитания. Что есть только кожа. «Ребенок», сей западный фантазм, ребенок, сиречь желание, энергетичен, экономичен, не типичен.

Не отсутствие ли, не разрыв ли, или разлом, или утрата, или отключение бывшего участка либидинальной кожи дает место объемному месту, театру, знаку-заменителю, внутреннему на месте внешнего, чего-то утраченного? Так говорит Фрейд в *Jenseits** по поводу своего внука. Таким могло быть начало театра в плен-

* По ту сторону [принципа удовольствия] (нем.).

ке влечений ребенка, как бы один из фрагментов, присоединение которого делает его малую кожу бесконечной, у него было лоно матери, сосок на языке меж губ, жаркая упругость полной груди под слепыми пальцами, затылок, подключенный к мякоти ее плеча, глаза, утомленные удовольствием разглядывать сверху до низу собственное удовольствие, короче говоря, прекрасное в своей множественности версий перверсии подключение, он испражняется в пеленки, не переставая сосать, — и тут он «теряет» свою мать, или, лучше сказать, это подключение расстраивается, безмерная боль от нехватки, говорит Фрейд, невыносимое отчаяние, массовый прилив влечений к точкам истечения, но повсюду тупики, шлюзы закрыты, переключатели вырублены, неполадки, застой, — вот-вот все взлетит на воздух. Воздвигается театр, мать станет катушкой, будет повторяться ее утрата, *о-о-о* — «уходи»! *да-а* — «вот она»! отчаяние окажется *обуздено*, будет найден выход для тех угрожающих скоплений подвижной энергии, что рокочат у врат тела, которое открывается своему протезу, театру катушки.

Итак, начало театру кладет боль, интенсивность, когда она смертоносна, говорит Фрейд. Но отметьте вот что: сосок, выпуклость груди, плечо и рука, глаза должны быть уже приписаны к *персоне*, к *единству*, матери, чтобы эта присутствующе-отсутствующая катушка могла занять ее место, подменить сию единицу. Тогда ребенок действительно сможет страдать от утраты инстанции, но тогда он уже не будет более носителем интересующей нас, как и Фрейда, полиморфной перверсии. Возможность боли из-за отсутствия, даже возможность отсутствия, имеют место только потому, что изначально предполагалось присутствие матери, *кого-то*. И тем самым допущено *petitio princi-*

*prii**, формальный порок, не слишком тяжкий для людей вроде нас, чей дискурс не претендует на непротиворечивость, но неисправимый, когда речь идет о том, чтобы дать объяснения: как только кто-то, некая инстанция, принимается за место суммирования, унификации нескольких единичностей, нескольких либидинальных интенсивностей, ты уже находишься в великом Нуле, уже в негативе; и уже пребываешь в отчаянии, поскольку инстанция, до которой вскоре будут низведены эти единичные наслаждения-смерти, мать или любой ее эквивалент, с одной стороны, никогда не *дана*, к ней никогда не было подключения, одни только концы, частичные метаморфозы, и, стало быть, ностальгия начинается с производством этой унитарной инстанции; а с другой стороны, подобная инстанция обесценивает, аннулирует, неминуемо расщепляет интенсивные знаки, какими являются либидинальные переключения, сводит на нет стыковки губы-язык-сосок, соединения затылок-плечо, палец-грудь, поскольку *вместо* того, чтобы быть приемлемыми прохождениями интенсивности, эти метаморфозы становятся метафорами невозможного спаривания, эти переключения — намеками на неуловимую способность-наслаждаться, эти беспощадно единичные, несравнимые знаки — общими, универсальными знаками утраченного начала.

Наш вопрос таков: что страдает, когда больно? Ответ Фрейда: ребенок, то есть уже сложившийся субъект, сложившийся параллельно, симметрично объекту-матери, то есть между ними уже имеется зеркальная перегородка, уже есть сторона зала и сторона сцены, уже театр; и театр, который фабрикует ребенок, с краем своей кровати в качестве рампы и прикрепленной к катушке ниткой в качестве занавеса и регулирую-

* предвосхищение основания (лат.).

щей входы и выходы сценографии, это театр-протез того же сорта, что и уже в нем пустотствующий: он является «внешней» репликой пустого объема, в котором два полюса, его собственное тело и тело матери, театральные визави, несуществующие полюса захватывают, удерживают в своем поле, подчиняют все события на либидинальной ленте. Боль как цезура, как трещина, щель и разъединение, мучает только унитарную целокупность. Понимая боль как двигатель театральности, Фрейд сообщает ей метафизическую обоснованность негатива и тем самым становится жертвой этой театральности, ибо разъединение и трещина мучительны только в представлении с унитарным призыванием, утрата воспринимается как агрессия только телом уже собственным, уже собственническим, смерть представляет собой ужас только для уже организованного сознания. Если хочется объяснить рождение театра, нет нужды искать его секрет в боли от утраты, ибо утрата имеет место только для памяти и, поскольку вышеупомянутая полиморфная перверсия ацефальна, либо оказывается, либо не оказывается для нее удобным случаем наслаждаться-страдать, только и всего. Даже и не страдание с одной стороны, удовольствия — с другой: эта дихотомия принадлежит строю органического тела, предполагаемо унифицированной инстанции, она требует работы по разграничению, работы *Verneinung**, которую совершает принцип удовольствия, исторгая то, что мучает, и пропуская только то, что идет на пользу, принцип удовольствия, каковой в то же время является и принципом реальности, поскольку исторгнуть означает отделить болезненное, исторгаемое наружу, от приятного, сохраняемого внутри. Нужно отмести все чудесные побасенки, предполагающие то, что призваны объяс-

* отрицания (нем.).

нить, — формирование двойственности, знака-замениителя, внутреннего театра, удваивающего внешнюю реальность (и наоборот), и, стало быть, также формирование цезуры, раны, трещины, которая провела бы внутрь; все эти басни, в *Jenseits*, в *Die Verneinung**, уже включены в двойственность Нуля (Единого, собственной персоны, объекта или субъекта, Я...) и интенсивности (наслаждения, боли, того и другого вместе). Надо попытаться описать округу некоего театра там, где была ровная кожа, утвердительно, энергетически, не предполагая заранее нехватки, как было бы под именем боли.

Представь теперь вот что, Меховая щелка. Крутящаяся черта замедляет ход; шальное, случайное движение, порождающее либидинальную кожу, затормаживается достаточно, чтобы это и не-это, которых его предельно высокая скорость смешивала во всех точках поля, теперь были различимы, то это, то не-это, вот оно, уже нет, вот оно, *fort, da***.

Черта становится границей, которую нельзя пересекать, иначе смешение, прегрешение против понятия, нарушение, глупость, безумие, примитивная мысль. Черта становится краем, краем сцены: там не-это, здесь это. Конец утаиванию, начало значению и неоднозначности. Ибо для того, чтобы перейти от не-этого к этому, теперь нужно платить: иметь вон то не-это обойдется очень дорого. Платить чтобы войти в *там*, подняться на сцену. Иметь: способ быть тем, чем не являешься, протез, предполагающий отрицание. И с этим замедлением начинается также и *время*: то одно, то другое, повторение и, стало быть, также и ожидание и память, синтез *теперь* с *еще не* и *уже нет*, постоянно нуждающийся в переделке, поскольку «впредь» эти временные по-

* отрицании (нем.).

** прочь, вот (нем.).

люса поддерживаются снаружи друг от друга, будучи в то же время со-положены, составлены по обе стороны от того, что их разделяет. Монтаж и сцены, и нарративного времени.

Что же это за замедление? Остывание? Понижение интенсивности? Отвод вложения? Да-да, все это. Нервные импульсы перемещаются, черта закрутится «где-то дальше», ребенок теряет не мать, а соединение губы-сосок, которое предстает теперь как просто соединение, как впредь парадоксальное сочленение двух зон, некоего «это» и некоего «не-это», притом что тут имелся отнюдь не синтез, а зона либидинальной интенсивности. Ребенок ничего не проигрывает, он выигрывает мать, а мать — ребенка, это и не-это оказываются под этими *дополняющими друг друга* именами на своем месте, когда движение отрезка, замедляясь, их, центробежно разметаив, откладывает. С ослаблением интенсивностей приходят понятие, время, отрицание, неоднозначность. Представление предполагает звезды не мертвыми, а вяло-теплыми: со спадом либидинальной экономики начинается желание-*desiderium*, *de-siderium*, звёзды-*sidera* не звездят* — желание ностальгично, скорее уж пожелание, *Wunsch***.

* французское *желание*, *désir*, происходит от латинского *desiderium*, в свою очередь восходящего к *sidera* — звезда, созвездие, небеса: *de-sidero* — перестать видеть, не находить чего-либо и о нем сожалеть — и следовательно его *желать*, по нему тосковать.

** *желание*, *пожелание* (нем.).

Двусмысленность двух принципов влечения

ПОЧЕМУ ЖЕ замедляется движение черты? Мы ничего об этом не знаем, незачем отвечать на вопрос *почему*, который в точности предполагает нигилизм и мысль. Мы переворачиваем этот вопрос, мы говорим: когда она вращается интенсивно, никаких почему; само ваше *почему* приходит из того, что она вращается не так сильно, оно требовательно и ностальгично. Движение черты замедляется *потому что*, и тогда это *потому что* становится интенсивней... Тогда не-это начинает смягчаться, чтобы учсть это. Тогда открывается нигилистическое пространство доводов. (Например, того, что я только что привел?)

Итак, с театром приходит понятие. Черта перестает вращаться — напротив, очерчивает. Интенсивный знак, порождая либидинальное тело, оставляет всю просторную мёбиусову кожу значащему знаку, единичность прохождения или путешествия аффектов стягивается, замыкается в один доступный передаче след. Доступен ли этот след передаче, относится ли этот знак к некоей системе, уместно ли противопоставление, покрывающее (но в каком пространстве-времени?) неуместное различие, — все это отсылает к уже отмечавшейся двусмысленности знаков. Но и заслуживает куда более изощренного анализа.

Прежде всего, это означает, что нет заметной разницы между либидинальным формообразованием и дискурсивным, ибо и то, и другое являются формированиями, *Gestaltungen*. Либидинальный механизм,

рассмотренный в точности как стабилизация и даже застой, а то и совокупность застоев энергии, с формальной точки зрения представляет собой структуру. Напротив, для структуры, если к ней подходить с экономической точки зрения, существенно, что ее неизменность или устойчивость, позволяющая поддерживать в пространстве-времени тождественными самим себе промежуточные наименования между этим и не-этим, работают с движениями влечений на манер плотин, шлюзов, каналов. Можно, стало быть, дважды — и даже бесчисленное число раз — войти в одну и ту же реку, если ту определяет ее скат, берега, направление, ее режим, как то делает любой благоразумный, избирательный ум-тело; но никогда не войти дважды в одну и ту же реку просто потому, что *никакой реки нет*, вот что говорит безумный любитель единичностей, зовется ли он Пруст, Стерн, Паскаль, Ницше, Джойс, — безумец, дерзнувший счесть, что, *несмотря на* свое родовое название, никакое другое купание *не заменит* именно этого, безумец, готовый захотеть для каждой интенсивности собственного имени, божественного имени, и, стало быть, с каждой из них умереть, потерять даже свою память (каковая зовется руслом и картой реки) и заведомо собственную идентичность. Безумие пафоса; но согласитесь, Недоброжелательная, вровень с этим безумием и безумие структурализма, уже не способного расслышать, как в тишине сетей трещат по всем швам проточные массы, которые в них циркулируют и тем не менее являются «конечной причиной» их работоспособности.

Жертвой этого смешения формирований, *Gestaltungen*, которое в принципе отождествляет либидинальные механизмы с формальными структурами, оказывается Фрейд: оно экранирует его проект или по крайней мере его идею либидинальной экономики.

Если спадающие интенсивности стабилизируются в конфигурациях, если аффекты распределяются согласно пространственным матричным механизмам, согласно тому, что Клоссовски называет фантазмами, в *объемных телах*, в *симулякрах*, и точно так же, стало быть, в неизменяемых организациях элементов «предшествующей» либидинальной кожи, ставшей организмом, психическим аппаратом или еще чем угодно в таком роде, то не приходится сомневаться, что Эрос вполне может поладить с Логосом. И когда я говорю: *Эрос*, это, как мы сейчас увидим, все еще упрощение: это также и влечения к смерти, рассогласование или расстройство которых, ежели их эффектом оказывается блокировка побуждений, производит столько же конфигураций, застоев, экономических затвердений, способных (под шумок...) сойти за формальные структуры. Кто способен различить, что в конверсионном неврозе (если говорить на языке нозографов) болезненно и что лечебно? После Фрейда стало банальностью рассматривать невроз как формирование компромисса, как стабилизацию, которая осуществляет желание в его двойном, эротическом и смертоносном, измерении. Тем самым, стало быть, почти само собой разумеется, что в симптоме эти два измерения неразрешимы. Но не менее достоверна и как бы коммуникативная, логическая функция симптома: всякая конфигурация энергий, поскольку она опирается на дизъюнкции и синтетические возвраты отдельных элементов, есть структура. Симптом, или, по меньшей мере, синдром, сможет быть *прочитан*, проанализирован и восстановлен как структура, как стабильное расположение элементов; интенсивные переходы, тензоры, тогда не являются единичностями, своим значением как элементов они обязаны переносу, противостоянию, не имеющей конца метонимии. Бессознательное структурировано как

язык, так заставим же его говорить, оно на это *напрашивается*. Действительно структурировано, и ничего более, когда интенсивности на спаде, когда белое каление черты уступает место рдению того, что различает, когда сон обменивается на пересказ сна, когда путешественник готов прилечь и продать образы уху, которое его от них избавит.

Разграничивать инстанции Эроса и смерти по специфике их эффектов — значит счесть, что с одной из этих инстанций, влечением к жизни, должна быть связана некая функция, функция собирать и связывать, тогда как другая только и будет, что рассеивать, расходовать, направлять побуждения к полнейшей смерти организмов. Это значит снова пойти на поводу у бинаризма; это значит принять возвращение понятия даже и в движении его распада: если каждой инстанции может быть приписана *одна* и только одна функция, та каждую из инстанций, как жизни, *так и смерти*, можно будет всегда опознать по ее функции, на основе эффектов, которые всегда можно будет соотнести напрямую когда с жизнью, когда со смертью, но всегда однозначным образом. Даже если возразить, что знаки, на основе которых совершаются эти индукции и соотнесения, двусмысленны или по меньшей мере полисемантичны и что в них разыгрывается соперничество, а может статься и сговор, смерти и жизни, все равно останется, что в принципе поступаешься существенным, признавая за каждой инстанцией единичность ее функции, и тем самым идентичность инстанции и ее функции, и тем самым опять же и возможную идентификацию инстанции на основе функции. Но если Фрейд еще до того, что сказано в тексте 1920 года, вводит инстанцию влечения к смерти, то как раз для того, чтобы уберечь от понятия и бинаристского разграничения не только такой знак, но и целиком всю либидинальную экономику. Речь

ни в коей мере не идет о *раздвоении* инстанций, тако-
ва как раз вышеупомянутая «работа» понятия; напро-
тив, речь о том, чтобы сделать их смешение постоянно
возможным и угрожающим, сделать неразрешимым
вопрос, является ли то или иное *Gestaltung* эффектом
скорее смерти, чем жизни, является ли то или иное
половодье, разгул влечений для претерпевающего его
аппарата самоубийственным или лечебным, не отно-
сится ли напротив тот или иной застой, та или иная
блокировка, та или иная кристаллизация стабильно-
го механизма скорее к спасительной ортопедии, чем
к смертоносной энтропии.

Молчание, вот единственная линия, натянутая над
бровями и изгибающаяся с каждой стороны, слов-
но охватывая скулы, как рука любовника охватыва-
ет в скульптурах из Кхаджурахо грудь податливой
любовницы; затем она расширяется в дельтовидную
поверхность и вновь поднимается, образуя узкие бо-
ковины носа. Вокруг Средиземноморья, в Умбрии,
в Провансе, можно увидеть странные, пологие при
всей своей переменчивости *увалы*, иногда, в зависимо-
сти от ориентации, возделанные, иногда пустынные,
всегда гладкие; странные потому, что земля, и не по-
мышляя сложиться в холмы и долины, течет здесь как
жидкое тело, причем не только вниз, но и вверх, те-
чет не так, как стекает вода в умывальнике, скользит
в двух, во всех направлениях сразу, разворачивая на-
клонное, беспредельное, хотя и вполне ограниченное
пространство.

Глаза откровенно улыбаются, система век непо-
движна, все дело в том, как меняется блеск роговицы,
возможно радужки, в диаметре зрачка, и это улавли-
вается за «время», куда меньшее мгновения ока. Само
молчание призывает половодье, пучину. То, что яв-
ляется блокировкой, мощным застоем, обездвижива-
нием и преградой влечениям и, стало быть, могло бы

быть описано как (и сойти за) торможение, невроз, дает место другим траекториям и набирает силу. Вот почему недопустимо претендовать на излечение, на то, что это молчание разродится своим предположительно выразимым словами смыслом. Чрезмерное господство механизма знания над любым молчанием, как будто силу дискурса ученого, или философа, или анализа (а не только дискурса идеолога) составляет не молчание, молчание, оставленное им после капающих как из крана капля за каплей хорошо взвешенных слов, тянущийся за ними след желания! Склони врач над пучиной молчания ухо (третье) — и он, как в безэховой камере, услышит шум и ярость бьющейся о стенки артерий крови, услышит нервный паводок, пробегающий вдоль по волокнам тройничного нерва... его «собственного тела» — чего ему и желаем.

Что же нам нужно лечить? В точности не знаю, но, по меньшей мере и прежде всего, болезненное желание вылечить. И не надо отдавать предпочтение *talking cure** над физико-химическими методами: это ягоды одного поля, и тут и там господство, захват любыми средствами, будь то словами или веществами, слывущих пораженными областей и их оздоровление. «Образование Сверх-Я, — говорит Фрейд, — которое притягивает к себе опасные агрессивные тенденции, так сказать равносильно размещению войск в тех местах, где угрожает бунт»¹.

Смотрит медленным, легким, пристальным глазом, потом внезапно поворачивает голову так, что остается один профиль, чистый Египет. Молчание, воцаряясь вокруг нее, охватывает обширные пласты ли-

1. *Nouvelles Conférences*, tr. fr., Gallimard, pp. 151–152.

* лечение разговором (англ.).

бидинальной ленты, которые, кажется, составляют собственность ее, сугубо ее тела. Эти зоны тоже молчат, имеется в виду, что насыщенные волны половодья бесшумно и непрерывно протекают здесь к «своим» для нее областям или из этих самых областей, как по откосу, приходят. Нет нужды пытаться подступиться. Это молчание не слепо и не требует, чтобы ты удостоверился в том, что происходит, посредством языка, даже языка рук или кожи. Мы любим язык рук и кожи, но здесь ему не достало бы изощренности. Прибегнуть к нему означало бы подчиниться идеологии сексуальности. Предложить: давай перепихнемся, означало бы на самом деле выступить в роли *представителя* движения за сексуальное освобождение. То же верховенство, что и у врача, только на сей раз у активиста. То же грубое замалчивание либидинального лабиринта, в котором, если верно, что язык — ничто, секс — не все. Вот, стало быть, соединение со своего рода болью и весельем, с весельем рушащего уйму преград половодья, с болью этакого сдвига, когда целые области отрываются, направляясь к другим областям, с болью даже от того, что отправляется не все, с нетерпением, что вложения все еще сопротивляются, что пучина зовет недостаточно сильно.

Но тогда зачем и для чего предполагать оба принципа, жизни и смерти, если невозможно разграничить их сообразно двум их функциям, если связанные целостности могут в равной степени принадлежать и жизни (организмы, уставы, организации, всевозможные воспоминания), и смерти (неврозы и психозы, наплывы паранойи, стабильные летальные расстройства органического функционирования), если высвобождение в равной степени ведет как к облегчению тел — оргазм и выброс семени, опьянение и выброс слов, танец и мышечный выброс; так и к их разрушению — неудержимый смех, который сбивает дыхательный ритм

и душит астматика, паника, которая нарушает веселье молодежных манифестаций, центробежное бессилие, которое сводит на нет силу тех, кто не хочет располагать никакой властью, смертельное странствие шизофреника, которое приковывает его к постели? Зачем два принципа, если каждый эффект может быть связан сразу с обоими? Не противоречит ли это правилу экономии гипотез и прорежения понятий, которому подчиняется разработка теоретических систем?

Эти формальные требования были хорошо известны Фрейдю. Если он вводит принцип, который называет принципом нирваны, то для того, чтобы его либидинальная экономика избежала аналогии с термодинамикой и, более общим образом, механикой, а мысль о бессознательном не замыкалась как раз таки в теоретическую систему; в этом он очень близок Ницше. Либидинальная экономика представляет собой, если угодно, чересполосицу машин; но при этом всякие надежды на ее перепись и полное функциональное описание *бесповоротно* отменяются тем, что в противоположность динамике, сиречь теории энергетических систем, из-за неотличимости двух инстанций почти что невозможной во все времена становится мысль — но это еще слишком слабо сказано — сама *идея* о либидинальной экономике. Это «двойственность» отнюдь не диалога, она не запускает никакую диалектику, не сопряжена ни с каким дуализмом, потому что обе инстанции априори неотличимы, и только исследуя тот или иной эффект с настойчивым, почти бесконечным тщанием (так Пруст обходится с поступком, улыбкой, вкусом, прикосновением почвы, светом лампы на лестнице: каждое *происшествие* незаменимо и, стало быть, утрачено для памяти), ты мало-помалу сможешь приписать жизни и сохранению такой организованной совокупности скорее такой *Gestaltung*, скорее смерти от избытка или недо-

статка такое высвобождение и распад. То, что могло бы показаться чрезмерным избытием понятий, не имеет, стало быть, ничего общего с какой-то там ущербностью по отношению к правилам образования теоретической системы: дело не в понятиях, поскольку даже если мы можем *мыслить* инстанции жизни и смерти (к примеру, на манер кибернетиков, когда первая будет памятью, которая в рамках гомеостатической совокупности возвращает разлаженную событием систему к ее эталонному единству, а вторая окажется чем-то вроде утраты такой памяти, амнезии), поскольку, несмотря на эти осмысления, мы не можем уловить, предвидеть, контролировать эффекты, аффекты при помощи мысли об инстанциях — весьма и весьма, стало быть, мало понятийной... Фрейд хочет, мы хотим идей, каковые в своем «порядке» — то есть для куска либидинальной кожи, в который они вложились и который торжественно именуют теоретическим полем! — каковые были бы так же, почти так же невозможны, как невозможен описанный выше эффект прохождения вращающейся черты.

Это эффект не двойственности, а двусмысленности. В результате в «теоретическом порядке» нужно поступить на манер этой самой двусмысленной черты — не из-за заботы о миметизме или *adaequatio**, а потому, что мысль сама не без либидо, что в счет идет ее сила (ее интенсивность) и именно это-то и *нужно* пропустить в слова: это нескончаемое беспокойство, эту раскаленную двусмысленность. Таким образом нужно, чтобы продумываемое все время было сразу и соотносимо с некоей теоретической совокупностью, с некоей системой (семантической, формальной — не столь важно), и заставляло на это соотношение досадовать. Нужно отклониться от судьбы, которая норовит подтолк-

* точном соответствии (лат.).

нуть мысль к понятию, иначе рискуешь сфабриковать либидинальную экономику, весьма схожую с тривиальной политекономией, иначе говоря, с идеологией с претензиями на стройность, неспособной уловить *двусмысленность* так называемых экономических движений. Нужно подвергнуть так называемое теоретическое поле расчистке возбужденными интенсивностями, даже теми, которые труднее всего принять «теоретически». Никто не может сказать, что подобная задача окажется ему по плечу, каждый пытается сбежать от этих интенсивностей и их неразрешимости в направлении системы и ее бинарного идеала. Верно, что за эти *идеи* приходится платить необычайно завышенную цену, что делает все предприятие мало *рентабельным*, если сравнить его с той деятельностью рантье, каковой является работа понятия, которая извлекает смысл из малейшего клочка материала и процесс накопления которой кажется безошибочно эффективным. С гипотезой (но это, очевидно, вовсе не гипотеза, это даже не обсуждается, и нет никакой нужды дожидаться так называемых *фактов*, чтобы они ее исказили или оставили приемлемой), с установлением двух инстанций, погружаешься в ущербность — именно потому, что мыслишь без критерия фальсификации, потому, что критерий истинного и ложного не уместен для идеи, если та — интенсивно запущенная юла. И накатывает величайшая тревога, ибо наконец, господа радикал-социалисты от понятия, мы уже не невинны, мы хорошо знаем, что именно вырисовывается на горизонте мысли как либидо, это тот же жупел, которым вы, вынув его из кармана, помаваете над своими мясистыми ушами всякий раз когда проходит интенсивность и мы, обезумев от радости и страха, подскакиваем в ее водовороте: жупел *фашизма*; тот самый, коим в 1968 году вы помавали во Франции, в Германии, в Италии. Вас не надо особо подталки-

вать, чтобы вы со всей четкостью заявили: идея-сила *есть* фашизм. Вы всегда будете путать *власть* и *силу*, вы всегда будете называть угрожающее вашей власти насилие властью-террором.

Мы знаем об этом, знаем, что для неразборчивых глаз сила и власть по-своему неотличимы... мы ничего на это не ответим, потому что не вступаем в диалог с концепцией радикал-социализма (и «коммунизма» в том числе), уяснив, что начать подобный диалог уже означает поступиться существом дела, то есть положением самого понятия и вытекающими отсюда последствиями «репрессивного» порядка. Вам надо возвыситься душою до следующей идеи: мы уверены, абсолютно уверены в том, что говорим (причем это уверенность вовсе не в том смысле, в каком вы ее обычно понимаете), и в то же время, в то же мгновение, напроць лишены всякой безопасности, — уверены, по-хозяйски уверены в точках, где в момент, когда мы «мыслим», либидо достигает интенсивности, потому что достаточно продвинулись и изощрились в наслаждении и в боли, чтобы обрести чутье *пиромана*; но, раз за разом лишены защиты понятия, выброшенные за санитарный кордон системной мысли, мы тем самым уязвимы как дети или подозреваемые, безумцы, подстерегаемые глупостью, из которой готовы вырваться, бросившись в *ваши* объятия, люди понятия, в те дни, когда огонь чересчур силен, когда нам боязно, что в наших словах и идеях только и осталось всепожирающее влечение к смерти, и когда мы больше не осмеливаемся его раздуть, расчистить с его помощью расчерченные вами на квадраты поверхности.

Лабиринт, крик

ЛАБИРИНТ — это галечная пустыня под ближневосточным солнцем, никаких стен, дверей или окон, меловая поверхность. Познакомимся с его моделью: лабиринтом, который маниакальная страсть к знаниям одного из наших профессоров предуготовила для обучения чешуйницы. Сделанный из безупречного картона, ярко освещенный дуговой лампой: предполагалось, что внушаемый им белый ужас с течением времени должен заставить насекомое пересечь его без рыскания. Так изучают приобретение привычек и по количеству попыток, необходимых, чтобы добиться безошибочности пересечения, оценивают разум животного. Картонная раскройка находилась на водной поверхности, тоже вызывающей у чешуйницы ужас. Насекомое, выгнанное из темного убежища, где его держали, носится из стороны в сторону — серебристая, почти неуловимая, перепуганная ниточка. Ему никогда не выучить этот лабиринт.

Ужас в лабиринте таков, что он не дает заметить и зафиксировать совпадения: вот почему лабиринт отнюдь не является постоянным архитектурным сооружением, а складывается непосредственно в том месте и в тот момент (на какой карте, по какому календарю?), где и когда тебя настиг ужас. Лабиринт, стало быть, не существует, но «в нем» содержится ровно столько лабиринтов, сколько жутких — испытанных или нет — эмоций. Каждая встреча оказывается поводом для панического путешествия к тому, что вне страдания, устранить ко-

торое можно лишь в результате тождественного повторения встречи. Убегаешь, возможно, чтобы научиться, чтобы вновь отыскать встреченную особенность, так как полагаешь, что, повторяя, сможешь ее локализовать, установить ее положение, вписать во время. Но так как этот ужас порождает свой собственный, особый лабиринт, бегство прочерчивает другие коридоры, другие закоулки, и беглец не может этого знать; вот почему насекомое ничему не учится, множит и множит не поддающиеся сравнению лабиринты.

Такое своеобразие оправдывает странное поведение одного моего итальянского друга, о котором он поведал мне, уверяя, что не может найти ему объяснения. Исследователь, он очень поздно ушел из своей лаборатории и, усталый, отправился на вечеринку, организованную его приятелем, культработником большого городского музея. Празднование происходило в нескольких залах этого музея и было посвящено обновлению экспозиции и ее новой организации, призванной воздать должное произведениям современного искусства, а заодно отмечало и завершение контракта, по которому друг моего друга получил от города полномочия организовывать и на протяжении ряда лет представлять художественные, музыкальные, кинематографические мероприятия. Когда мой рассказчик входит в музей, толпа друзей его друга уже рассеялась по открытым залам, которые составляют замкнутое кольцо: повсюду болтают, кричат, смеются, перебрасываются репликами группы; все курят, пьют, едят, окликают друг друга; кто толпится вокруг стоек с закусками, двух поп-групп, открытых бочек вина, кресел, кто уселся прямо на пол. Судя по лицам, все эти люди могли бы быть знакомыми моего друга.

Его усталость и отчужденность по-своему, если можно так выразиться, уравниваются, одновременно облегчаются и отягчаются. Он берет еду, выпивку, об-

ходит, никого не узнавая, по кругу залы, рассматривает представленную в них ретроспективу, годы работы; одни экспонаты выставлены заново, другие представлены лишь на фотоснимках, но и те, и другие, безмолвствуя среди всеобщей суматохи, присутствуют здесь уже лишь для того, чтобы засвидетельствовать былую деятельность, как следы, которые вот-вот сотрутся. Дальние по отношению к стойкам с закусками и поп-группам залы почти пусты, он быстро минует их, вновь ныряет в чрево толпы, встречает и приветствует своего музейного друга, еще выпивает, вновь начинает обход, разглядывая, поддавшись нарастающему возбуждению, уже и лица, но не забывая посматривать и на стены.

При этом втором обходе он замечает на стене лицо, сфотографированное некогда во время выставки Энди Уорхола на фоне его серии, озаглавленной «Мэрилин». Посредственный черно-белый оттиск напоминает контурный рисунок с предельно жесткими перепадами яркости. Перед матрицей, состоящей из серии написанных по трафарету портретов актрисы, его заставляет остановиться лицо — лицо женщины, которая за несколько лет до того была его любовницей; она обернулась к объективу с наигранным изумлением, рот приоткрыт, словно фотограф окликнул ее, когда она рассматривала картину. Прическа, брови, макияж, веки и губы — все здесь угольно-черно; точно передан блеск радужной оболочки и глянец век.

Фотография приколата четырьмя кнопками среди прочих, относящихся к тому же периоду деятельности музея. Стародавнее страдание, которому в свое время поспособствовала эта женщина, не заставляет себя ждать; он спешит затеряться в толпе, надеется отыскать кого-нибудь из знакомых. Но дрейф по ретроспективе вновь выносит его прямо к фотографии. Что делать? Он отправляется на четвертый заход, надолго останавливается в практически пустом зале перед

иллюстрированной Соней Делоне «Прозой о транс-сибирском экспрессе», но скорее порядка ради, чем из настоящего интереса, захваченный угрозой, которая исходит от фотографии. Еще выпивает. Уже очень поздно, приближается закрытие, группы рассеиваются, музыканты складывают аппаратуру, охранники постепенно очищают залы, начиная с противоположной по отношению к большому вестибюлю, где находится снимок, стороны и медленно продвигаясь по двум ведущим туда полукружьям.

Мой друг, по-прежнему никем не узнанный в анонимной толкотне, оказывается перед снимком. Воспользовавшись полной неразберихой, он вытаскивает ногтями кнопки, засовывает фото под пиджак, подмышку, и уходит с украденным оттиском. Он садится в машину, направляется к себе домой, но выбирает дорогу, ведущую к жилищу этой женщины, которую он с момента разрыва ни разу не видел. Ее квартира находится на самом верху большого жилого дома, с последнего этажа туда можно добраться только по висящей над пустотой металлической винтовой лестнице, с нее видно, что происходит в первой комнате. Там горит свет, он видит движущийся силуэт, просовывает фотографию под дверь, бегом спускается по спиральному пролету, вызывает лифт, забирается в машину и ждет, потушив все огни. За ним погнались, он слышит шаги, его ищут на сырой, пустынной улице, это приятель той самой женщины. Мой друг трогает с места, не зная, был ли он узнан. Спустя несколько недель она звонит ему по телефону и говорит, что не поняла, зачем он принес это фото, ждет разъяснений. Он изображает удивление, о каком фото идет речь? ей отлично известно, что у него нет ее фотографий. Ей нечего на это возразить.

По словам героя сей истории, он тогда не знал, что делает, но согласен, что нечто важное, настолько он

почувствовал себя одержимым чем-то, диктующим его поведение. Мы знаем не больше чем он, но постараемся учесть эффект беспомощности. Если его отсеять, можно трактовать эту кражу и «возврат» как многозначительные знаки: например, мой друг хочет устранить вплоть до дубликатов прошлое страдание; или еще: передавая женщине репродукцию, он хочет возобновить отношения с ней. Итак, скажут: сплошная двойственность, вот почему это было так интенсивно. Мы же не ищем никаких «почему» и расцениваем двойственность как мелкую пошлость.

В лабиринте музея мой друг, чешуйница, сподобился встречи. Он возобновлял обход несколько раз; всякий раз он сбивается с пути перед фотографией; он ничему не учится. Он бежит от образа, но в конце концов прихватив его с собой; и тогда образ открывает перед ним второй лабиринт, лабиринт городских улиц, коридоров и лестниц жилых домов. Вторая встреча имеет место в этом другом лабиринте, который головокруглительно раскрылся из встречи в первом. Передача фотографии кладет конец второму лабиринту и страданию, эффектом которого он является и которое было встречено в первом. Ироническое отпирательство по телефону отмечает распад третьего лабиринта, рожденного где-то (быть может, в женщине) из-за нового местоположения фотографии. Четвертый лабиринт мог бы открыться тогда для слушателя, но нет, ничего, кажется, не произошло. Если только тот факт, что мой друг сообщил мне об этом событии, а я о нем оповещаю, не следует рассматривать как третью встречу, открывающую лабиринт, про который мне даже невдомек, из какого материала он может быть сделан; как ни крути, решить об этом не удастся.

Никто не в силах составить карту великой пленки; при виде снаружи (но у нее нет наружи) та обернулась бы своего рода чудовищным животным, состав-

ные части которого меняются согласно непредвиденным модуляциям, появляясь, исчезая с той же страшной легкостью, что и виртуальные образы на экране. К тому же следует представить, что последовательность и природа этих образов не определяются записанными на пленке (в техническом смысле) реальными образами. В более общем плане, представим, что ни их содержание, ни так называемые технические процедуры не позволяют свести прилаженные друг к другу фрагменты пленки в одну историю, в одну доктрину, в один стиль; тогда было бы невозможно сконструировать единственное время, содержащее и организующее из образов чудовище; даже подсказываемые некоторыми планами повторения остались бы без внимания, каждый случай воспринимался бы как невинный эффект настоящего. И в этом соединении, не существующем ни для какого ума и глаза, не было бы ничего чудовищного.

Переходя из одного лабиринта в другой, мой римлянин не совершает перехода в пространственно-временной решетке. Лабиринты, которые я удобства ради (отдавая неизбежную дань рассудочному порядку) называл первым, вторым и так далее, никоим образом не складываются в упорядоченную серию. Они не относятся к структуре переноса; ничто из одного из них не обнаружится в другом, тем паче что каждый, как своего рода циклон, образуется вокруг чрева, каким является встреча, эффект которой он продолжает и которой бежит. Каждое из этих хитросплетений замкнуто и в то же время пребывает в неразрешимом расширении: замкнуто, поскольку не имеет с прочими круговоротами ужаса ни переходных точек, ни общей части; что же до его расширения, оно соразмерно силе эффекта встречи.

Не надо говорить, что встреча происходит в лабиринте,— это лабиринт происходит из встречи. Нет ни-

чего кроме встреч, каждая с предельной скоростью прочерчивает вокруг себя потоки прозрачных стен, секретных порогов, белых полов, пустых небес, в которые эта встреча и бежит, изливается, забывается — или повторяется, переставая тогда быть встречей. Встреча не возвращается, не воспроизводится; ужас чешуйницы уникален, всякий раз нов; ничто не записывается; чтобы возложить на бессознательное ответственность за возвращения того же, нужно отстроить всю его конфигурацию; нужно предположить, что его эффекты подчинены некоей системе, по которой можно определить тождественности или — что сводится к тому же — различия. Влечения глупы точно в той пропорции, в которой они не повторяют те же эффекты, то есть изобретают. Изобретение — глупость времени.

В «Богословах» Борхес измышляет две ереси от не-повторения; одна — детище нескольких сект так называемых гистрионов, о которых он пишет: «Они считали, что миру придет конец, когда исчерпается число его возможностей, и, поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить (то есть совершить) наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова». Другие еретики, принадлежавшие диоцезу Аврелиана, «заявляли, что повторений во времени не бывает (...). Поучения новой ереси („Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели? Посмотри на луну. Хочешь услышать то, что уши не слышали? Послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека? Потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир“) были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа».

Лабиринт, таким образом, непрестанно изобретается и стирается. Первые из цитированных еретиков исповедуют и практикуют нетерпение со всем покон-

чить; но сколько бы они ни утверждали, что ничто не повторяется, они могут надеяться, что приблизят пришествие обетованного выхода, совершая (и, стало быть, исключая) наигнуснейшие дела, только потому, что считают, что количественно зло не неисчислимо и где-то может вестись обратный отсчет, по завершении которого будет достигнута истина; их этика — это алгебра, где первична отрицательность (к этой ереси принадлежит Жуандо). Но можно ли одновременно пестовать ересь единичности и ересь ускорения? Не требует ли последняя своего рода памяти, катамнеза? Ересь же единичности должна исключать даже катамнез, который предполагает, что истории заранее предписан некий конец и что будущее целиком исчерпываемо маневрами, призванными устранить то, что этот конец оттягивает. Эти маневры не извращены, поскольку их гнусность в конце концов заимообращается в негативной форме с непорочным мистическим телом Иисуса. Мы заявляем, что такая теология столь же убога, как и у Гегеля; она остается в рамках диалектики добра и зла, разве что слегка окарикатуренной и посему забавной: «Феноменология духа» на скорости 96 кадров в секунду, 33-х оборотная запись «Федра», проигранная на 78 оборотах.

Зато куда суровее, как заявляет другая ересь, что до земли надо всякий раз дотронуться впервые, впервые увидеть луну, услышать птицу. Мой итальянский друг мог бы быть поборником этой мучительной невинности, как и другой мой друг, чешуйница: великие страхи, великие акты любви не являются записями в пространственно-временном реестре, и преемственность или верность здесь совершенно ни при чем, поскольку нет постоянства от одной встречи к другой, а есть единичная интенсивность, всякий раз открывающая свой собственный лабиринт. Мы всегда потеряны, даже когда полагаем, что разобрались, когда,

например, приписываем ту или иную эмоцию пособику, самим себе, кому-то.

Отсюда не следует, что верность или преемственность способна послужить поводом не для интенсивной встречи, а только для *эфемерной*. Наравне с лабиринтами измены и прерывания имеют место и лабиринты непрерывности. Постараемся ничто ничему не подчинять, ни постоянство прерывистости, ни встречу верности. Нет ничего страннее.

Я вижу в теологии гистрионов, которую назвал убогой, косвенное, порочное подчинение эфемерного постоянному. К этому подчинению принадлежат, похоже, отношения Октава с Робертой в сочинениях Клоссовского. Путем проституирования хозяйки дома ее гостям, законы гостеприимства позволяют определить, какова ее цена в глазах мужа. Даже если эта цена сверх всякой цены, она требует прикидки, учета, сопоставления каждого страдания или всплеска сладострастия с эталонной мерой.

Послушаем, как ведет речь в свою защиту неверный муж: «Крик, — говорит он, — раздирающий сплетения моей жены, которую я не перестая любить каждый раз, когда ей кажется, что она видит, как мои глаза ласкают другое лицо, отчего у нее уходит почва из-под ног, я взыскую сего крика более всего на свете, как смерти, единственной достоверности; именно ему приношу и буду приносить в жертву все лица, все шевелюры, все встреченные и тронутые выемки и складки. Мое желание — желание как раз такой жертвы, оно требует, чтобы за этим криком навсегда, неизменно и осознанно, неслышными оставались все совокупности криков, просто-напросто в одночасье отринутыми — совокупности боли и сладострастия. Это должно подсказать: истинное либидинальное измерение моей измены не в том, что возлюбленная супруга приносится в жертву моим удовольствиям, а, наоборот,

в том, что мои глаза, руки, губы опустились на другие плоскости и стыки плоти лишь для того, чтобы причинить ее сплетению непереносимую боль, ни с чем в моем теле не соотносимую интенсивность; лишь для того, чтобы загнать эти немалые, конечно же, интенсивности в ее сплетение, дабы они сотрясли его несравнимыми ни с каким оргазмом раскатами».

Никчемные, если тяжущийся стоит на своем, разглагольствования; они развивают садовскую установку, установку собственника: неподценность подразумевает сравнительные расчеты. В точности установка еретиков-гистрионов: каждая из моих гнусностей призвана лишь ускорить мое воссоединение с истиной и жизнью, с любовью моих возлюбленного или возлюбленной, Иисуса; я обманываю их, только чтобы их достичь. Но кто может, не ведая стыда (и не вызывая смеха), сказать, что расточаемое им страдание является средством и даже доказательством любви и что он сохраняет власть над направленностью интенсивностей? И далее, раскаты, о которых говорит неверный, если он не мелкий сутенер, которого может успокоить сводничество, негативная этика и политэкономия и который может отыскать в сравнительных оценках сладострастия и боли, чем стабилизировать свое ничтожное я; эти раскаты настигают не только тело жертвы, эксплуатируемое тело, они суть слепое, глухое, неподвижное чрево стремительно расширяющегося, нерешаемого лабиринта. Пораженная зона — не только тело его жены, мучения не только лично ее, не только их с ним вместе, они складываются из множества безымянных фрагментов разогретой до белого каления пленки влечений.

Борхес рассказывает историю смертельной дуэли между двумя пьяными мужчинами, соперниками по карточной игре; они никогда не учились драться; они наугад выбирают оружие в коллекции хо-

зяина дома; один — клинок с полукруглой крестовиной, другой — нож с деревянной ручкой и клеймом в виде куста; к удивлению свидетелей, борьба отличается ученой изощренностью, не какая попало бойня, как ожидалось, а доскональная шахматная партия, разыгрываемая на телах вплоть до завершающего удара. Много позже рассказчик узнаёт, что оружие дуэлянтов некогда принадлежало двум соперникам, двум гаучо, знаменитым своей храбростью и сноровкой в убийстве: он заключает, что в ту ночь сражались не люди, *сражались клинки*.

Обезличенность этих людей не исключает, даже подразумевает их собственные имена. Лишь с точки зрения некоей центральной инстанции, великого Оружейника, ведущего архив всех убийств, совершенных его оружием, Сутенера, включающего в счет все услады предоставляемых им проститулируемых тел, в обезличенность ленты влечений способна проскользнуть другая обезличенность, а на место собственных имен и безумных хитросплетений, о которых они сигнализируют, можно поставить регистрационные номера, позволяющие засечь в дальнейшем действующие субъекты: неощутимое, но безмерное соскальзывание от тензорной обезличенности к обезличенности продуктивной, проститутивной, бюрократической.

Добавьте, «неверный», к своей первой речи еще и это: «Крик моей жены не является следствием какой-то причины: бесчестия, падения в личностном плане, которое я навлекаю на нее своими гнусностями, как обстоит дело в случае садиста, этого Октава. Я не инсценирую, не архивирую, не познаю ее крик. Его не высчитываю. Крик разносится и по моему, и по ее телу, и не только когда я говорю: вот какова в сладострастии другая женщина, не только когда в ответ на ее категорическое воление я позволяю ей представить, как мои глаза и ладони оглаживают

отзывчиво возбужденные зоны, но даже и в застывшее мгновение, когда головка моего члена вбирает далекую пульсацию, пришедшую из глубин другой матки. Даже там разносится крик от жестокости, и в этом насилии присутствует и боль моей жены. Это присутствие достигается не сравнением, коммерцией, играми цены и неподценности, оно не подразумевает монетарно-памятной инстанции, всеобщего эквивалента и возможного погашателя долгов, его невозможно сравнить и сосчитать. Как такое возможно, я не знаю».

Это присутствие, стало быть, не является присутствием того же, инстанцией для отсылки или различения (пусть даже и форсированной преступлениями). Не бывает постоянного крика. Постоянство молчит, потому что себя повторяет; его низость, его мышление полицейского или комиссара состоит в том, что оно повторяется. Крик мучаемой вами не есть *крик*: она кричит из раза в раз, ее *крики* из раза в раз открывают новый лабиринт. Если вы слышите, как она кричит — нет, даже не так: если в лабиринте, в котором вы потерялись, отдается крик, это не значит, что он сулит в конце некий извращенный выход. Надо прекратить ставить проблему ревности в терминах внешнего, треугольных образований, зависти к пенису и гомосексуальной идентификации. *Возможно, надо думать*, куда более простая, более единичная *ревность влечений*, соотносящаяся единственно с либидиновой экономикой, ревность, кроющаяся, например, за крайне закодированной завистью, ведомой романистам, психологам и здравому смыслу, ревность, которая принадлежит все равно какой топике, относится к все равно какой инстанции и, очевидно, вновь обнаруживается в политэкономии, в меркантилизме, например, как и во всяком империализме.

Ревность крика — это не — не только — ревность поруганной инстанции; это отношение любого фрагмен-

та либидинальной ленты с тем, что выбрано желанием, когда эти фрагменты сродственны. Эта ревность есть зов влечений; вкладываясь здесь, сила тут же, по соседству исторгает крик, выделение, она завладевает любой близкой силой, высасывает поблизости любую энергию. Ревность — это свист, вызванный скачком силы, обрушившейся в какой-то момент на какую-то зону (или ее обнаружившей); и ее вытекающими потоками прорисовывается лабиринт (но его центр эфемерен, как чрево урагана). Вульва завидует расцелованному рту, любовница — книге, которую пишет ее любовник, мужчина — будущему юноши, солнце — закрытым ставням, за которыми ваше воображение предается навесным чтением похождениям. Крик, который отдается в вашем, неверный, замешательстве, — не крик вашей жены, не ваш крик, это верно: это шум, который производит на ленте невозможность нескольких совместно представленных интенсивностей. Древние боги ревновали друг к другу; Олимп полнится их криками, сия великая пленка (немного упрощенная) крутится-вертится сообразно своим лабиринтам как чудовище, атакованное сразу в нескольких своих частях.

Не бывает интенсивности без крика и лабиринта. Сила, которая поражает своими перунами ту или иную поверхность великой кожи (то есть ее обнаруживает), истощает окрестность, понуждая ее кричать, и открывает хитросплетение своих истечений. Если неверность заставляет неверного кричать наравне с его или ее супругой или супругом, то дело тут в том, что их тела, фрагменты их тел, не перестают скитаться в окрестностях точек, на которые обрушивается сила. Само ваше, неверный, тело ревнует к интенсивностям, навлекаемым вашей неверностью, оно также кричит об отобранной у него энергии, и если оно кричит одновременно с телом вашей возлюбленной, то потому, что они принадлежат сугубо смежным влечениям.

Нужно услышать крик чешуйницы, брошенной под лампу в 500 ватт и убегаящей по хитросплетению. Любой лабиринт прочерчивается как бегство к выходу. Выхода нет: либо привыкаешь, чего профессор ожидал от насекомого, и привыкание оборачивается депрессией и торможением; либо через встречу, в новом крике открывается другой лабиринт, другое время, но встречаем никто не хозяин. Любовь не в том, чтобы давать то, чего у тебя нет; она в необходимости кричать рядом с пораженными перунами местами.

Я привел примеры страдания; они могли бы быть примерами радости. Есть лабиринты веселья, оно не менее безумно, чем страдание, очень к нему близко. В «Женитьбе Фигаро» Бомарше набрасывает вокруг кресла несколько головокружительных хитросплетений, в которых бегут и теряются куски исторгнутых из своих пристанищ тел — но со смехом. Радость назидательна, заимообращаема; она возвышает к верховному адресату, но недоверчивая и вызывающая веселость есть смех метаморфоз, который не ждет ни от кого признания и наслаждается только своей пластичностью. Это смех горизонтальный, без одобрения. — Но вы говорите, что встреча в веселье не порождает никакой линии убегания, напротив, стремится удержаться, — не производит ли она ненавистное вам постоянство? — Нет, бегство не всегда от испуга, да и кто бежит? — не я, не вы, не пособники, просто прямо в своем расширении теряется интенсивность. Представьте себе расширяющуюся вселенную: она разбегается от страха или взрывается от веселья? Не решить. Так и для эмоций — многофункциональных лабиринтов, которым семиотики и психологи попытаются приписать тот или иной смысл только задним числом.

— И следовательно вы отвергаете этику Спинозы или Ницше, которая отделяет друг от друга движения

прибытка и убытка бытия, действия и противодействия. — Да, мы опасаемся, что под прикрытием этих дихотомий вновь явятся целая мораль и целая политика со своими мудрецами, своими борцами, трибуналами и тюрьмами. Там, где есть интенсивность, есть и лабиринт, и определить, куда направлена траектория, к страданию или радости, — дело верований и их пастырей. Нам достаточно, чтобы вращалась, дабы полыхали непредвиденные спирали, черта; нам достаточно, чтобы она, дабы зародились представление и ясная мысль, замедлялась и останавливалась. Итак, никаких хороших или дурных интенсивностей, только интенсивность или ее сброс. И, как уже было и еще будет сказано, то и другое утаено вместе, смысл скрыт в эмоции, умопомрачение в разуме. Посему никакой морали, скорее уж театра; никакой политики, скорее заговор.

Мы говорим не как освободители желания — маразматиками с их малыми братствами, с их пустыми фурийскими мечтаниями, с их застрахованными надеждами на либидо. Нам не по пути и с заново позолоченным гербом *трагического*. Трагическим все равно обязательно предполагается великий Ноль как держатель судеб, немой слушатель, иудейский бог, или загадочный вещатель, греческий оракул. Что ищет неверный в своих странствованиях? Ту, кому он изменит, или ту, которую встретит? Он обязательно изменит той, кого встретит, он непременно встретит ту, кому изменит. Отсюда запутанность его радости и ужаса, головокружение, которое сметает центры и направления движения, которое разрушает все ориентиры, все я. Это не трагичность судьбы, не комичность характера (хотя, конечно же, может оказаться и так), это и не драматизм подведения итогов — скорее странность фиктивных пространств, тех водопадов Эшера, где точка падения оказывается выше истока.

Тензор



Семиотический знак

ПРИСМОТРИМСЯ еще раз ко всей этой истории со знаками — вы так ничего и не поняли, вы так и остались рационалистами, семиотиками, западниками; побьемся еще, ведь в конце концов нужно проложить путь к *либидинальной валюте*. Семиотики по-прежнему основывают свой дискурс на предположении, что *вещь*, о которой они рассуждают, всегда можно трактовать как знак, а тот в свою очередь вполне осмысляем в сети понятий теории коммуникации: он есть «то, что для кого-то что-то замещает», говорил Пирс, повторяет Леви-Стросс, что означает, что *вещь* полагается как бы сообщением или хотя бы подложкой, обогащенной последовательностью кодированных элементов, а ее получатель при наличии этого кода способен, раскодировав сообщение, выявить предназначенную ему отправителем *информацию*.

Тем самым немедленно — по предположению — вещь выхолащивается и становится *заместителем*: для кого-то, получателя, она замещает «информацию». Это замещение можно, конечно же, понимать двумя путями, сообразно совершенно разным линиям мысли. Можно сказать, что знак замещает то, что он, собственно, означает (сообщение замещает информацию), таков самый грубый смысл, платонизм теории, например, идей: знак одновременно заслоняет и призывает то, что возвещает и скрывает. Про все это уже сказано Пор-Роялем. Или же можно мыслить замену уже

не метафорически, а согласно нескончаемой метонимии, которую понимает под словом «обмен» Соссюр или любой политеконом; знак приходит тогда на смену уже не значению (тому, что закодировано), выделяется следующий фокус: значение тоже состоит только из знаков, и так продолжается без конца, так что кроме передач ничего нет и не будет, значение всегда откладывается, смысл никогда не присутствует как таковой, мы преисполняемся сочувствия к старику Гуссерлю и говорим себе: ну да, есть только зазоры, и если имеется смысл, то потому, что имеется знак, а если имеется знак, то потому, что имеется зазор, не какой, конечно, угодно, от одного элемента к другому не перейти как попало, напротив, от одного термина к другому организовано путешествие, система или структура предельно точна, и затем, если мы по случаю, как Фрейд и Лакан, в душе религиозны, производим образ великого означаемого, ныне и присно полностью отсутствующего, все присутствие коего заключается в насаждении отсутствия, в отводе и смене терминов, выделяющих из него замещающие друг друга знаки, образ великого нуля, который удерживает эти термины *разъединенными* и чье имя, само собой непроизносимое, мы будем переводить в либидинальной экономике как Кастратор.

Взгляните, что вы делаете: прежде всего, уничтожается материал. Там, где есть сообщение, нет материала. Адорно замечательно сказал об этом относительно Шёнберга: материал, объяснил он, в серийной музыке как таковой не важен, он важен лишь как отношение, как соотношенность одного термина с другим. И у Булеза остаются одни отношения — уже не только между высотами звука, но и между громкостями, тембрами, длительностями. Дематериализация. Здесь требуется длительное разбирательство: не является ли эта дематериализация эквивалентом

того, как в делах чувствительности и аффекта ведет себя капитал? Не является ли она также просто-напросто абстрагированием от некоторых участков ленты влечений, ее раскроем на сравнимые и исчислимые части? Или же она *под прикрытием* подобной разливки и как раз таки из-за нее неотличимым образом оказывается и поводом к изощренности и к интенсификации проходящих аффектов? И если так, не является ли эта «дематериализация» в то же время и в том же пространстве картографией вполне *материального* путешествия, новых областей звукового, а к тому же и цветового, скульптурного, политического, эротического, языкового пространства, завоеванных и пересекаемых пробегающими импульсами благодаря *инсценировке в знаках*; предлагающих либидо новые occasions для интенсификации, поскольку «дематериализация», фабрикуя знаки, поставяет материю для распространения тензоров?

Мы в общем-то уверены в правильности этой гипотезы, но для начала продолжим описание некоторых бросающихся в глаза эффектов сей знаковой инсценировки в ее собственном поле.

Не только материал уцелевает в виде термина-знака, но и «вещь», замещенная для кого-то знаком, сама оказывается другим знаком, впредь нет ничего, кроме знаков. Первое следствие: соотнесенность, стало быть, есть бесконечное перенесение, и тем самым в качестве основополагающей черты всей системы устанавливается рекуррентность, повторяемость *означающего переноса*, гарантирующего, что мы никогда не доберемся до присутствия как такового, а для того, чтобы определить те термины, к которым в данном *корпусе* может и должен вести рассматриваемый термин, непременно придется совершить некоторую работу. Другое следствие состоит в том, что вместе со знаком начинаются *изыскания*. Когда преобладала *метафорическая* органи-

зация значимости, это могли быть поиски Бога, значения. Для нас, людей нового времени, в чьей мысли эта метафора отсутствует, для тех, кто обретает свою славу в метонимическом внутрискруктурном замещении, это поиски уже не Бога и не истины, а *просто* поиски, научные изыскания, на самом деле поиски не причин (хорошо известно, что это не слишком удачное понятие), а «эффектов» в научном смысле, поиски дискурса, способного произвести ощутимые, прогнозируемые, контролируемые метаморфозы, то есть поиски дискриминационные. Нет знака и мысли о знаке, которые бы не относились и не вели к власти. Путешествие в этих поисках — отнюдь не дрейф безумцев и зачумленных, не внепространственный исход как у писателей-фантастов, а тщательно подготовленная вылазка первооткрывателя, предвосхищающая предприятие священника, потом военного и торговца, это передовой отряд капитала и сам по себе уже капитал, поскольку представляет собой постоянную деятельность по расширению границ, по включению в свою систему все новых и новых участков ленты — причем в целях прибыли, дохода. Знак продвигается вместе с этой деловой поездкой, а деловая поездка создает знак: что такое африканец для британского первопроходца, что такое японец для иезуита XVIII века? Органы и частичные влечения, которые надлежит вобрать в единое, нормальное органическое тело, называемое Человечеством или Мирозданием. Материалы, которые нужно дематериализовать и *заставить означать*. Вы что, действительно полагаете, говорят про себя белые мыслители, что если актер театра Но передвигается с сомкнутыми ступнями, скользя по полу сцены, словно и не двигаясь, то это ничего не означает? Это знак, он на месте чего-то другого, имеется некий код, и получатели его знают, или во всяком случае, пусть и на бессознательном уровне, он существу-

ет, и мы, семиотики, иезуиты, Стэнли и Ливингстоны, завоеватели, преуспеем в завоевании только в том случае, если овладеем этим кодом и сможем его *воспроизвести*, его *симулировать*, — моделью для всей семиотики служит не «Украденное письмо», а «Золотой жук». Эти африканцы, эти азиаты, пусть и мертвые, оставляют сообщения о сокровищах, мы же имитируем их коды. Леви-Стросс: хочу быть языком, на котором говорят мифы.

И, стало быть, с этим путешествием-завоеванием, на которое не может не вдохновлять инсценировка в знаках (если только не наоборот, на такую инсценировку вдохновляет особого рода путешествие, но нам нет особого дела до бессмысленных притязаний на приоритет, все это — один большой пакет малых схем, касающийся такой-то вещи, такого-то материала, такой-то персоны — расклад, где все на равных), с этим, стало быть, путешествием — исследованием и завоеванием — в неразрывной связке приходит и интенция — устремление к прибыли, стремление к доходу. Восстановить код знаков — *ради власти*, по причине и с целью власти. Пускаясь во все тяжкие, рискуя прозябать среди каннибалов, квартироваться на пограничных постах, под постоянной угрозой микробов, радиации, под гнетом стольких смертей, стольких грехов, вроде иезуита из «Добавления к „Путешествию Бугенвиля“», но целеустремленно и, стало быть, с расщеплением. Не зона и момент тензорных натяжений, а пересекаемая зона, момент движения, откуда и напряжения с их рисками и муками, *оплачиваемыми* надеждой на последующий барыш и воспринимаемыми и переживаемыми как *убытки*, как уступки, на которые нужно пойти ради спасения, прогресса, познания, просвещения, социализма; никому нет дела до оставшихся на шипах ключев загубленной плоти, главное — *конечный доход*, то, что будет на этом добыто; точно

так же, если разобраться, путешествуют сегодня в отпусках наемные работники, да и их начальники, их богачи, их хозяева,— чтобы *добыть* изображения, фотографии, фильмы, слова, престиж: это возвратный туризм, ре-туризм, продолжение разведывательных экспедиций, задействована все та же схема. Здесь обнаруживается проблема выгоды. Ибо туризм (он же завоевание) выгодно-корыстен, поскольку *затраты*, каковые не сводятся к издержкам на оборудование и его обслуживание, при случае (как у Цезаря перед Рубиконом) включая в себя весьма тяжкие *аффективные траты*, оказываются уже всего лишь *авансами*, поскольку желание теряется при этом лишь с тем, чтобы полнее окупиться.

Ну да, и нужно это подчеркнуть, оно не *восстанет*, оно *тут же с лихвой* окупится — где же это? нигде, кроме как в книге учета, кроме как в пространстве-времени, *открытом* (как книга) стремлением представить все в знаках. Оно не восстановится, поскольку нет ничего, кроме переноса и различия, и поскольку в установлении знаков ни в коей мере не поднимается вопрос о желании и свойственной ему модальности: семиотика, будучи преддверием ко всем наукам, оставляет, как и они, без внимания исполняемое ею же желание. И, стало быть, другое следствие: вместе со знаком, при наличии стремления и переноса, открывается и диахрония — не что иное, как протяжение неподвижного и компактного тензора времени в *уже давно* и в *еще не*, в *все же еще* и в *нет еще*, в игру бесприсутствия, то есть игру семиотического нигилизма как таковую. Как же встраивается значение в свои знаки? Их опережая, поскольку они — всего лишь его отпрыски; всегда запаздывая, поскольку их расшифровке нет конца. Но в том на первый взгляд бессмысленном домогательстве, каковым является установление смысла, даже когда какой-нибудь герменевт, какой-

нибудь пессимист заявит вам: посмотрите, у нас никогда его, смысла, *нет*, он от нас ускользает, он нас превосходит, он учит нас, что мы конечны и смертны, — ну да, пока поучающий пастырь вещает вам все это, его солдаты и торговцы запасают впрок органы, влечения, участки мембраны, их складируют, капитализируют. И время, которое мы «отлично знаем», — «вторичное», по Фрейдю, время, априорная, по Канту, форма, бергсоно-гуссерлевско-августиновское развертывание сознания, — фабрикуется в двойной игре сего отчаяния и сего стяжательства — отчаяния отложено-утраченного смысла; сокровищ знаков, каковые не более чем пережитые, пройденные «испытания», одиссея.

С Улиссом зна́ком становится уже сама замененная знаком вещь: посмотрите на Улисса с Навсикаей, и вы увидите, на какого сорта *любовь* в своей жалкой мужественности *завоевателя* способен западный человек, ибо женщины для него, наравне с неграми и китайцами, служат поводом рискнуть, увериться в верховенстве, моментом стяжательства — необходимо внешним в не имеющем конца процессе *инсценировки в знаках*, накопления вещей, ставших включенными в системы знаками. Что до нас, мы-то не хотели, чтобы Улисс вернулся, мы плакали вместе с Навсикаей, говорили ей: ты оказалась слишком уж гречанкой, не надо было ни покорности, ни господства, нужно было просто быть рядом, только это могло бы *сбить его с пути*, он не смог бы получить свой доход и обо всем доложить. Но, отвечала она, разве возможно не вступить в капиталистическую — мужскую, греческую — игру господства? Быть рядом, говорила прекрасная греческая царица, отнюдь не значит быть заодно, это быть внутри и тем не менее неразрывно и в стороне. На кой, к тому же, мне было спасать этого мудака? Желая, чтобы я его спасла, вы поступаете по отношению ко мне так же, как он сам, подчиняете меня

своим планам, конечно, вы уже не хотите возвращения и прибыли, вы хотите его «погибели» — но в ваших глазах она является его спасением, и тем самым я остаюсь его рабыней, моментом для него и трамплином, вы опять навязываете мне этукую диалектику. Желать, чтобы Навсикая «погубила» Улисса, тут она права, это опять-таки по-западному, это опять же знак, пусть и чуть сдвинутый; в конце концов имеются и путешественники, ставшие неграми, языческие священники, полинезийские иезуиты, бунтовщики с «Баунти» — уж не думаете ли вы, что у этих людей стремление к спасению не так настойчиво, как у их господ из Сити, Рима или Королевского военно-морского флота? Не так настойчиво у нашего друга Жолена, как у его главного недруга Леви-Стросса? В этих гибельных маршрутах что-то остается *спасенным*, как и что-то от стремления в этих поисках интенсивности. От *прибыли*, дохода не избавиться путем отъезда и вывоза. Здесь, друзья, будем осторожны с двусмысленностью и поддержим ее.

Еще одно следствие из информационного основания знака: имеется кто-то, для кого сообщение замещает означаемую вещь, имеется субъект (два субъекта), то есть инстанция, с которой соотносятся все предикаты, все перенесения смысла, все проследуемые, туристические события. Сей кто-то будет разбухать по мере накопления *опыта* (опыта — вспомните, что говорит Гегель, — в котором субъект не перестает говорить, что он беспрестанно гибнет: о герой, о Я!), по мере того как события, тензоры, проходящие интенсивности расщепляются на знаки — и тогда уже «приемник», получатель должен быть готов эти знаки присвоить и складировать; он готов сказать: так, мол, и так, я был в Египте, так и так, проплыл между Харибдой и Сциллой, так и так, слышал сирен, так и так, вышел из своего обиталища в пустоту; он готов ска-

зять: все это, эти эмоции — не что иное как сообщения, которые я услышал, принял, мне нужно их понять, мне говорили, мне говорилось, кто же тут отправитель? Мое «Я» устанавливается в этом знаковом соотношении одновременно как получатель (Кант говорит здесь о *Sinnlichkeit**, *Rezeptivität***) и как дешифровщик и изобретатель кодов (интеллект, *Selbsttätigkeit****, самостоятельность). Восприимчивость здесь — всего-навсего необходимый определяющий момент самодеятельности. Мое «Я» — для начала одно из я, но *собой* оно станет, *выстраивая* то, что говорит *оно* или другой (его-то ведь тут нет). Та же «диалектика» интенсивного и интенционального, которая расщепляет пробегаемые вещи, определяющим образом расщепляет и я, его устанавливает; воспринимающее/действующее, чувственное/умственное, одаряемое/дарующее — все это, повторим, имеет значение только в конфигурации знака, расщепление Я собственно и устанавливает расщепленность знака: отчасти пассивность, отчасти активность; отчасти полученное сообщение, отчасти декодирующий разум; отчасти чувство, отчасти рассудок; отчасти эмоциональная неявность, отчасти интенциональная проявленность; и даже Гуссерлю со всей его интенциональностью придется приправить свою медитацию толикой пассивности, пассивного синтеза. И, само собой, она окажется всего лишь моментом в конструкции интенциональности — о, изящное движение подбородка, с коим голова приходит в чувство, его преодолагает; — о, образование капитала, изысканная игра диалектического снятия.

Еще пара пунктов относительно семиотики. Она мыслит понятиями. Ведь сам знак как раз и есть поня-

* чувственность (нем.).

** восприимчивость, восприятие (нем.).

*** самостоятельность (нем.).

тие. Не только в своей стабильно-статичной терминологической установленности, к которой коннотация и денотация приложимы лишь при регламентированном сведении к другим терминам, лишь благодаря совокупностям предложений, в свою очередь считающихся правильно сформулированными в некоей явно заданной формальной системе, но и в своем понятийном динамизме он становится знаком через завоевание, ибо *работает*, будучи понятием, как знак: он беспокоен, он ищет краев, своих границ, он продвигается к тому, что лежит вне, его касается, и, поскольку, как только он его коснулся, оно перестает быть вне, он лежащего вне никогда не достигает, и в то же время это позволяет ему изумляться могуществу отрицания, о, недалекий империализм, переряженный в трагический трудизм, о, забавная «работа понятия»! — Ну ладно, это все та же так называемая работа со знаком, все это отнюдь не так просто, как вы о том говорите, — скажете вы нам, — метонимический переход от термина к термину не только не имеет конца, он постоянно запутывается, пересекается, как сообщил нам Фрейд, с другими цепочками, так что на самом деле каждый термин оказывается перекрестком путей, головокружительным умопомрачением, и это сплетение есть текст или текстура, где сплетаются не один, а много смыслов и каждый тянет термин на себя, — вот она, работа знака. О, изысканная полисемия, благомыслие с надрывцем, ершистый непорядочек, слащенная деконструкция. Не надейтесь завлечь причастное к либидо в эти тенета.

И последнее, понятое уже тысячу раз: семиотика — это нигилизм. Наука в высшей степени религиозная; раскройте викторинцев XII века — и вы увидите, какую может быть настоящая семиотика, попытка прочесть мироздание в его деталях, понять данные как сообщения и построить на этом основании код; вы

уже увидите всю эту изощренность: они — Гуго Сен-Викторский, Ришар Сен-Викторский — знают, что им не дано, им никогда не будет дано *овладеть* сим кодом; итак, при всей своей изощренности им остается любить в вещах то, к чему у них кода нет, любить в сообщении отрицание кода, поднять на щит работу этого отрицания, текст, *несходство* вещей — и найти в этом красоту. Религиозная, поскольку за ней неотступно маячит гипотеза, согласно которой кто-то говорит нам в данностях и при этом его язык, его компетенция или, во всяком случае, дееспособность неизмеримо нас превосходит: как раз определение бессознательно у самых смелых семиотиков, Лакана, Эко. Тем самым знак присвоен нигилизмом, нигилизм действует через знаки; по-прежнему оставаться в рамках семиотической мысли значит пребывать в религиозной меланхолии и подчинять каждую интенсивную эмоцию нехватке, а каждую силу — конечности.

Сокрытие

В АШЕ, семиотики, возражение нам хорошо известно: что бы вы ни делали, ни думали, говорите вы нам, вы превращаете свои действия и размышления в знак, уже просто потому, что смотреть приходится по оси отсчета вашего действия-дискурса, вам не избежать, чтобы он не оказался заглублен в двуликую — осмысленную/бессмысленную, умопостигаемую/чувственную, явленную/сокрытую, спереди/сзади — вещь; стоит вам заговорить, скажете вы нам, как вы раскапываете в вещах некий театр.

Очень хорошо, не станем говорить в ответ «нет», мы через это прошли и все время проходим, речь вовсе не о том, чтобы определить какой-то новый район, другое поле, нечто *по ту сторону представления*, способное избежать эффектов театральности, вовсе нет, мы отлично знаем, что вы от нас этого ждете, ждете «глупости» (но подобное заблуждение недостойно сего имени; мы же скорее отстаиваем право на глупость), которая заключается в том, чтобы сказать: уйдем от знаков, вступим в строй внесемиотических тензоров. Нам отлично известно, что тем самым мы бы пошли на поводу у вашего желания, ибо первому же встречному семиотику было бы легче легкого привычно взяться за рутинную африканско-империалистическую разработку нашего мнимого внеположного: разведка, этнология, миссия, фактория, усмирение и колония. Нам хорошо известно, что вы с улыбкой готовите именно такую судьбу

нашей либидинальной экономике, равно как капитал готовит именно такую судьбу притязаниям трудящихся, белые — *colored people**, взрослые — детям, нормальные — сумасшедшим, «мужчины» — «женщинам». Судьбу весьма и весьма пугающую. Здесь-то теперь *все* и разыгрывается, здесь и нужно сражаться, пролагать наш путь, отнюдь не границы нашей империи, а, как говорит Делёз, линии убегания.

Для начала же надо уяснить: знаки — не только термины, этапы, не только установление связи и разъяснение по ходу завоевания, неразрывным образом они *могут* быть к тому же единичными и тщетными интенсивностями в массовом исходе.

Не идет ли речь о каком-то другом типе знаков? Ни в коей мере, *это те самые*, теорией и текстовой практикой которых занят семиотик. В первую очередь, товарищи, нам надо избегать попыток переместить нас куда-то еще. Мы не сдаем ни пяди, мы остаемся на том же месте, занимаем территорию знаков, мы только говорим: та ритуальная смерть у народа гуаяки, которую вы трактуете как компенсацию за обмен между живыми и мертвыми, призванный не дать нарушить равновесие мира, из которой вы тем самым делаете знак, отсылающий к другим терминам в общей структуре культуры гуаяки, — мы *воспринимаем ее по-другому*. Вам она говорит? Нас же приводит в движение. Отец Марселя поднимается с лампой по лестнице: вы видите в смятии его сына смысловой эффект эдиповой структуры? мы же стремимся продолжить это смятение в фабрикации других вещей, текстов, образов, звуков, политик, ласк, *настолько же*, если возможно, *порождающих движение*, как и текст Пруста. И когда я говорю «порождающих *настолько же*», это очень неудачное выражение, дело не в коли-

* цветным (англ.).

честве, речь о том, что особое качество этого текста приводит к продолжениям, разветвлениям, обнаружению новых фрагментов либидо, каковые не может породить никакой другой объект. Итак, с самого начала другая реакция, другой прием. Мы не предполагаем с самого начала, что знаки, в данном случае текст Пруста, текст Кластра, переносят принципиально доступные передаче сообщения. Мы не начинаем с заявления: тут кто-то или что-то нам *говорит*, я должен это понять. Понять, быть умным — не главная наша страсть. Наше притязание скорее в том, чтобы прийти в движение. И тем самым наша страсть — скорее уж танец, как того хотел Ницше, как того хотят Кейдж с Каннингемом. (И вам сразу же становится понятно, что здесь, в сем методическом пункте, нас ждут самые серьезные трудности, самые серьезные промашки; для начала поджидает уйма мнимых танцоров, готовых назваться нашими друзьями, потом объявятся цензоры, готовые, как будто это и без того не известно, объяснить нам, что для того, чтобы танцевать, нужно слышать; но этим мы скажем, что одно дело — танцевать между делом, а другое — слушать, чтобы понимать; именно в этот момент наконец-то подоспеют мелкотравчатые аналитики, которые заявят: ну да, вы восхваляете *переход к действию**, так они называют танец, вы совершаете *acting out*, чтобы не совершить *working in***; увы, труднее всего ниспровергнуть будет именно их.)

Итак, танец, но не сочиненный и не записанный, танец, в котором, напротив, движение тела вступа-

* фр. *passage à l'acte*, часто (но не всегда) используемое в качестве перевода упомянутого далее психоаналитического термина *acting out* (*отыгрывание*); см. об этом в словаре Лапланша-Понталиса.

** проработку (*англ.*).

ло бы с музыкой — тембром, высотой, интенсивностью, длительностью — и словами (будучи танцорами, мы к тому же еще и поем) во всякий раз своеособое отношение, всякий раз составляя эмоциональное событие, как в «Театральной пьесе» Кейджа, как при исполнении пьесы театра Но актером, вдохновленным *цветком стиля* Дзэами*. Можно долго — в неподвижности, пассивно — дожидаться явления этого цветка, этой встречи, этого *тюхе***, пока нечто не озарит то, что зовется телом, и нужно любить также само почти столь же прекрасное ожидание, сию неподвижность, почти такую же подвижную и движущую, как развертывающаяся всеми гранями игра тонких бледных рук, когда они неистово обрушиваются на барабан в придворном корейском танце Ю Чхо Шин.

Ибо ко всему прочему ищешь что-то на лице в монпарнассской ночи, в телефонном голосе, нечто готовое произойти, гибкость или прямизну интонации, молчание, неизменность, взрывную силу, но она не приходит. И, безо всякой досады или отторжения, с самым жестким нетерпением ее, эту задержанность, любишь.

Танец включает в себя неопределенность, как музыка включает тишину. И важно не то, чтобы это было «хорошо сочинено» (но нужно, чтобы сочинено было хорошо), но чтобы в связи именно с этим семантическим совершенством приходило напряжение. Чтобы структура была только тем, что «покрывает» аффект — в том смысле, что служит ему прикрытием; чтобы она была его *тайником* и почти что сокрытием. Вот почему нужно, чтобы мы горячо любили семиотиков, структуральщиков, наших врагов; они наши со-

* имеется в виду его трактат «*Фуси кадэн*», или «*Кадэнсё*» («Предание о цветке стиля»).

** случай, стечение обстоятельств (*греч.*).

общники, в их свете пребывает наша темнота. К этому, если бы я сочинял, привилась бы похвала сокрытию.

Ограничимся тем, что признаем в сокрытии как раз то, что мы ищем: отличие в тождественности, случайность встречи в предвидении соединения, страстность в рассудке — между одним и другим, пусть и абсолютно чуждыми, имеется самое тесное единство: расподобление. Как Антихрист, изображенный на фреске Синьорелли в Орвиетто проповедующим на площади, совершенно подобен Христу, так же верно, что Христос *скрывает* Антихриста — в том смысле, что он прячет его страшную миссию даже в своих собственных словах, и когда он говорит: да любите друг друга, не хватает совсем немногого, чтобы последовало (и оно таки последует) самое катастрофическое недоразумение; и Антихрист тоже скрывает Христа, поскольку его почти кроет — все отличие заключается в *со-* сокрытия (или *рас-* расподобления)*. Наше приятие знака скрывает семиотическое приятие, а то в свою очередь скрывает приятие наше, хотя и по-другому, так что здесь уже не рассудишь, имеется ли тут Антихрист и кто он из двоих.

Но поймите же наконец, чтобы сменить отсылки, что оба принципа, эрос и смерть, не являются в последней фрейдовской теории влечений (*Jenseits...*, 1920) двумя инстанциями, каждая из которых наделена отдельным принципом функционирования, какой позволил бы их идентифицировать на основании соответствующих им эфффектов или симптомов в «психике» или на теле. Не верно, что эрос — поставщик совокупности, системы, мастер композиции и увязки, что, *с другой стороны*, волны влечения к смерти разрушают системы, мастерицы деконструкции и развязы-

* в оригинале речь идет о приставке *dis-* в двух близких словах: *dissimulation*, *сокрытые*; и *dissimilation*, *расподобление*.

вания. Когда на теле истерички очерчены куски великой ленты, исключены из нормированного обращения аффектов и помещены вне регулярной интенсивности, «обесчувствлены», когда мышцы напрягаются и остаются судорожно сжатыми, когда дыхательные пути перехватывает от тревоги, что приводит к астме, все это складывается в мелкие механизмы влечения (фрагмент органической дыхательной системы, участок органической системы бороздчатой или гладкой мускулатуры), которые образуют вполне взаимосвязанные друг с другом совокупности: следует ли полагать, что в качестве оформителя за это ответственен эрос? или смерть, поскольку эти совокупности неисправны? Но неисправны по отношению к чему, к какой нормальности? Дора неисправна как органическая дыхательная система, как истерическая дыхательная система Дора работает как нельзя лучше, и нет никакой надобности искать в ее расстройстве *вторичную выгоду*. Выгода непосредственна, нет никакой выгоды, есть внедренная машинерия влечений, которая функционирует *для самой себя*, и машинерия эта работает отнюдь не сообразно смерти или эросу, а сообразно им обоим, эротичная, будучи налаженной машиной (разумное подобие которой попытается воспроизвести дискурс в тексте Фрейда или Лакана), и летальная, будучи машиной разлаженной (которую хочет исправить аналитик), — но наряду с этим смертельной, так как налаженной (поскольку она обрекает Дору на бесплодное повторение), и, из-за своей разлаженности, живой (поскольку эта разлаженность свидетельствует, что по органическому телу исполненное непредвиденной подвижности обращается, то и дело вкладываясь, либидо).

Итак, есть два принципа, и инстанции этих принципов никак не опознать по соответствующим им функциями: тут эрос способный развязывать и осво-

бождать, а тут смерть, способная связать до удушения, и сам Фрейд, пусть и не представляя вполне отчетливо, признает тем не менее это в конце *Jenseits*, когда на расстоянии нескольких строк сначала говорит, что принцип удовольствия подчинен влечениям к смерти (тут он понимает эти последние как систему навязчивых повторений, возвращающих *все что угодно*, даже самое мучительное, как в сновидениях при травматических неврозах) и что надо предполагать *связывание* через повторение еще до всякой разрядки, если верно, что оной, чтобы вызвать удовлетворение, требуются определенные подходы и специфические действия; — и, чуть, стало быть, дальше, что принцип Нирваны подчинен принципу удовольствия, понимая при этом под «Нирваной» тот избыток силы, который продолжает разрядку за пределы метаболического правила, коему послушен «психический аппарат» (или тело), и который угрожает последнему распадом. Функции неразрешимы в каждом единичном случае; речь о том, что всякий раз остается возможным не суметь приписать эффект, *то есть как раз таки знак*, одному и только одному из принципов влечения. И ясно, что проблема тогда не в *полисемии*, не в сверхдетерминации, отсюда не выпутаться, заявив: смерть накладывает свои эффекты на эффекты эроса — или наоборот; речь не о том, что знак, кашель Доры, надо воспринимать в *нескольких сетях* или структурах, порождающих смысл.

Речь, очевидно, идет совсем об ином: знак, с одной стороны, действительно включен в эти сети и, следовательно, локализуем в отличающихся друг от друга метонимических (у самого Фрейда еще зачастую метафорических) системах, он гетеросемичен или гетерологичен и, следовательно, подчиняется семиотике — но *кроме того, jenseits...*, он не предназначен специально для такой-то функции и, следовательно, для игры ее

смысловых эффектов, он неотличимым образом одновременно и знак отсылки и по отсылке, и знак без специально предназначенной отсылки. Сразу и знак, порождающий смысл через зазор и противостояние, и знак, порождающий интенсивность силой и единичностью. Возникает чуть ли не искушение отдать приоритет (но мы так не поступим, мы успели стать старыми, слишком ушлыми лисами) либидинальной интенсивности и заявить: но ведь если вам, семиологам, есть из чего плести свои сети смысла, то *прежде всего потому*, что имеется сей позитивный накал, прежде всего потому, что у Доры перехватывает горло, потому, что по сути перед нами данность, данность интенсификации конкретной области тела красавицы Доры, данность того, что эта область стала умственным, умопостигаемым знаком! Но мы даже и не думаем заявлять подобное, безразличные к приоритетам и причинностям, к этим, как говаривали Фрейд и Ницше, формам виновности: не столь важен порядок, куда важнее тот факт, что с неизбежностью возможны одновременно два приятия того же симптома.

Нужно ли говорить, какие радостные перспективы открываются в связи с этой идеей о сокрытии в материи именно теоретического дискурса, а также о сокрытии в сем предприятии (лицемерно принимаемом сегодня под марксо-фрейдовским ярлыком) диалектики теории и практики?

Интенсивность, имя

ЕСЛИ БЫ понадобилось привести пример того, каким образом тензор способен скрываться в семантике и скрывать ее сам, стоило бы обратиться к случаю имени собственного. Это в первую очередь то имя, которое, послушаем Фреге и Рассела, представляет проблему для логиков, поскольку в принципе препровождает к единичной отсылке и вроде бы не подлежит обмену на другие термины логико-лингвистической структуры: у имени собственного нет внутрисистемных эквивалентов, как дейктик оно указывает наружу, у него нет коннотации или же она бесконечна. Небольшая трудность, которую логики, не имея выбора в средствах, разрешают при помощи понятия предиката существования. Об этом знал уже Гегель: *Meinen**, и сведению знаков в систему может противостоять, скажет в свою очередь Гуссерль, такое препятствие, как дарение существования, плоть и кровь. И тому, кто спросит: а Флексиг? ответим: Флексигом можно назвать по меньшей мере одного живого индивида, это был врач Шребера, — отправляясь от этой ссылки как от печки. Но имя того же самого индивида служит поводом для *дивидуации***, когда становится достоянием бреда Шребера. Этот бред готов совместить множество несовместимых суждений об одном и том же «субъекте» высказывания. О пре-

* мнение (нем.).

** разделения (неологизм от *ин-дивида*, *не-делимого*).

дикате *Флексиг* будет одновременно заявлено, что он шпик, что он Бог, что он соблазненный женскими чарами Шребера любовник, что он идет на все, чтобы помешать председателю испражняться, что он из знатной семьи, которая уже давно повязана с семьей Шребера. В чем же бредовость всего этого? Только в том, что все это высказывается.

Таков и бред писателя, разве что он чуточку осторожнее в том, что вставил между собой и текстом субъект высказывания, так называемого Марселя, таков же бред об имени собственном Альбертины.

Таков и бред Октава об имени собственном Роберты, парламентария-распутницы, добродельной сластолюбвицы, о неразрешимо предложенном-отказанном теле, в полном смысле слова теле сокрытия — сокрытия в двух смыслах: с одной стороны, она — гугенотка и жизнелюбка, способная исполнять функции знака в равно осмысленных сетях как респектабельности, так и чувственности; но, с другой стороны, каждое из этих определений что-то скрывает, не просто другое как таковое, в свою очередь принадлежащее по-своему налаженной, параллельно отлаженной и только смещенной сети, ведь парламентарий столь же осмыслен, как и шлюха, каждый в рамках своего строя, — нет, каждое определение скрывает знак как тензор, не другой осмысленный знак, а знак-тензор, состоящий в том, что имя собственное Роберты покрывает зону, где оба «строя» (как минимум, там должны иметься и другие) не составляют двоицы, а неотличимы, где имя *Роберта* служит как бы разделительной чертой, на полной скорости вращающейся вокруг произвольной точки — взгляда, половой щели, большого пальца в перчатке, интонации, — случайным образом перемещаясь по сегменту, который эта черта образует. Роберта — тензор, но вовсе не потому, что она — женщина одновременно и публичная, и рассудочная, а потому, что выходит

за рамки, *jenseits*, *obouh* этих определений в настолько интенсивном умопомрачении, что коли по-за краем юбки обнажается участок ляжки, коли подушечка большого пальца протягивается ко рту соблазнителя, коли затылок уклоняется от его зубов, то, конечно же, из подлинной стеснительности и искренней чувственности, но наряду с этим и без определенного основания, исходя из фигуры влечения, согласно которой располагаются и проистекают токи, не принадлежащие ни Роберте, ни кому-то еще. Роберта — не чье-то имя (предикат существования), будь оно даже двойным, это имя сей неименуемости, имя конкретных «Да и Нет» и «ни Да ни Нет», и того и другого, и имя собственное является удачным примером тензорного знака не потому, что единичность его обозначения вызывает, когда мыслишь понятиями, затруднения, а потому, что оно покрывает область либидинального пространства, предоставленную неразрешимости энергетических токов, область в огне.

То же самое со Шребером. Если придерживаться «Воспоминаний невропатологического больного», отчетливо видно, какое умопомрачение локализуется, если можно так выразиться, в имени Флексига. Надо, думает Шребер, чтобы я был женщиной, тогда Бог меня оплодотворит и через меня, давшего жизнь новым людям, свершится спасение человечества. Эта смелая пола является чудом, но в глазах Шребера чудом является и должно быть приписано некоей единичной силе — во всяком случае единичному решению некоей силы — любое видоизменение тела (в этом религия Шребера близка католицизму, родственна ему проникновением божественных инстанций в самые что ни на есть «повседневные», самые что ни на есть простые действия, этакое обмирщение священного или освящение мирского). То же самое с испражнением: оно поставляет материю для сокрытия, ка-

ковое распространится и на Флексига (скрываемого Богом); и если можно описать эту непрерывную двойственность перипетий влечения, важным остается тем не менее неотличимость в каждый момент невозможного: выдать и удержать дерьмо, Флексиг покровитель и палач, Бог любовник и гонитель, мое тело мужчины и женщины, мое божественное и человеческое я; и еще кое-что *сверх того*.

Испражнение не естественно, а чудесно. И здесь, по поводу сего *чуда испражнения*, чье описание Фрейд цитирует целиком, видно, что может сосредоточить под одним именем *бред*. Чему служит *знаком* то, что для испражнения требуется вмешательство Кого-то, одновременно Флексига и Бога? Знаком любви, испытываемой к Шреберу, оказываемой ему помощи? Нет — или скорее да, но очень и очень косвенно. Сия сочувствующая любовь появляется в речи председателя лишь намеками и появляется навыворот. Если Флексиг-Бог превращают испражнение в чудо и лишают тело Шребера естественного отправления этой функции, то, на самом деле, для того, чтобы *в последний миг* лишить акт испражнения чудесности и тем самым подвергнуть председателя гонениям: они посылают кого-нибудь занять место в туалете до него. Таким образом они пресекают «предельно интенсивный расцвет *душевной улады*», каковым сопровождается успешное испражнение. И если идут на это, то потому, что подобное наслаждение *угрожает* Флексигу-Богу, поскольку подчиняет их телу председателя, как бывает всякий раз при остром наслаждении. Пример: «Бог никогда не отступился бы от меня (...), а напротив без малейшего противления и непрерывным образом поддавался бы притяжению, что толкает его ко мне, если бы я мог без конца брать на себя роль женщины, которую я сам сжимал бы в сексуальных объятиях, если бы я мог *без конца* упираться взглядом

в женские формы, рассматривать *без конца* изображения женщин, и так далее»¹. Таким образом чудо шреберовского испражнения вершат не по любви, а чтобы защититься от соблазна, который от него исходит. Флексиг любовник, но в обороне. Но к тому же и вероломный гонитель, который, спрашивая у Шребера: «Почему вы не испражняетесь?», навязывает ему ответ: «Потому что я глуп или что-то в этом роде»². Флексиг, который унижает свою жертву. Но опять же и туповатый Флексиг-Бог, не способный понять, что человеческому существу, чтобы испражниться, нет необходимости в чудодейственном вмешательстве: «Перо не поворачивается переписать сию вопиющую тупость — что Бог, ослепленный своим неведением людского естества, действительно может дойти до предположения, что существует человек, неспособный на то, что умеет делать любое животное: человек, неспособный по глупости испражняться»³.

Не складываются ли вновь все эти противоречивые свойства просто в полисемию имени Флексига? Посмотрим. Но сначала два предвосхищающих дальнейшее замечания. Во-первых: обратим внимание на эту безмерную глупость, что простирается далеко за пределы животности Батая, — та продолжает знать, что вершит, даже если сознание того уже и не знает, в этом весь *ацефальный* секрет мелкого эротизма, — тогда как Шреберу приходится барахтаться в болоте неуверенности, затрагивающей самое инстинкты, животные стыковки, в подозрении, что не добираешься до того, что умеет животная безголовость, что «тело» не умеет более испражниться, когда в том возникает «нужда», что кал не знает более дорогу к выходу. По-

1. *Mémoires...*, cité par Freud, Schreber, P.U.F., p. 283.

2. *Ibid.*, p. 277.

3. *Ibid.*

трясающая глупость безумного тела, в которое Флексиг погружает Шребера. В противоположность органическому телу, стыковке стыковок, функциональной сборке, эротическому построению, это либидинальное тело не имеет, кажется, устоявшихся каналов для циркуляции и разрядки импульсов. Не глубина глупости, а ее непомерность, отсутствие меры. *Либидинальная глупость* — нечто совсем иное, нежели глупость Буваре и Пекюше, которая заключается в изложении, в переложении почерпнутых из высказываний *общих мест*, и она к ней совсем близка, потому что тоже основана на разрушении субъекта, способного ответить за свои заявления и деяния, на утрате идентичности (о которой у Флобера сигнализирует оказывающийся *дуэтом* глупый герой⁴). Глупость, неотделимая от сокрытия, о котором здесь говорится.

Второе замечание: эта глупость вновь обнаруживается в странном пристрастии к женственности, содержащемся в цитированном выше тексте председателя Шребера; женщиной скорее *«иметься»*, чем женщиной быть, это *«иметься»* переводится как угодно: вести себя как женщина при совокуплении и *к тому же как совокупающийся с нею мужчина* («брать на себя роль женщины, которую я сам сжимал бы в сексуальных объятиях»), видеть женщину, видеть изображение женщины — и к тому же заведомо быть видимым как женщина и т.д. Снова безмерная глупость либидинальной ленты. В высшей степени тензорному имени собственному Флексига соответствует обезличивание тела Шребера: тела без налаженных органических функций, тела без пола или со многими полами. Не сказать ли нам теперь, что само имя Флексига — всего лишь предикат нескольких высказываний,

4. Как показывает неопубликованная работа Сюзанны Лафон о «Буваре и Пекюше».

из которых следует, что под этим именем совместно активизируются несовозможные влечения? *Флексиг любит меня*, поскольку заставляет наслаждаться испражняясь; *Флексиг ненавидит меня*, потому что для спасения будущего человечества необходимо подвергнуть меня гонениям; я ненавижу, что Флексиг меня любит, потому что мне хотелось бы, чтобы испражнение было для меня таким же естественным, как и для всех прочих...

Первым перечисление уже самих по себе упрощенных высказываний. Пренебрежем прочтением отношения Шребера к Флексигу, предложенным Фрейдом: это образцово семиотическое или концептуальное прочтение, поскольку оно превращает все эти и еще множество других высказываний в окончательные фразы, проистекающие из трансформаций единого ядра, каковым является: *Я (мужчина) люблю его (мужчину)*⁵. Трансформаций, обязанных, как в отслаивании фантазма «Ребенка бьют», смещениям влечений из-за вытеснения или регрессии и подразумевающих тем самым применение, конечно же в очень малой степени порождающее, но все же вполне регулируемо-регулирующее, отрицания.

Обсудим лучше следующий пункт: действительно ли наши высказывания (какая разница, четыре их или n , кто осмелится заявить, что исчерпал их потенциальный ряд?) служат поводом тому, чего мы домогаемся под именем сокрытия? Не поддерживают ли они скорее некую полисемию, с одной стороны омонимию, поскольку Флексиг-любовник является омонимом Флексига-палача, с другой — синонимию: Флексиг любовник и палач служит синонимом Бога (к этой группе синонимов Фрейд не упускает добавить Отца), — все эти отношения семиолог отлично зна-

5. *Ibid.*, p. 308 sq.

ет и воспримет вовсе не как возражения, а как вспомоществование своему методу. Несомненно, все увлекает нас в эти трансформации, но они ни на шаг не приближают нас к либидинальной экономике. Если Флексиг, как только что Роберта, является тензорным, а не только «осмысленным» знаком, то не из-за полисемии связанных с этим именем высказываний, а из-за головокружительного умопомрачения от анального эротизма, которое охватило шреберовское либидинальное тело и продолжением которого является имя Флексиг. Головокружительного, поскольку тут, вокруг ануса, вращение разделительной черты снова норовит стать настолько неистовым, что зад председателя достигнет поистине солнечного накала, настолько, главное, что отныне нельзя будет принять решение, поощрить или запретить прохождение материи (кала или божественного члена), поскольку оба движения, совокупно, и заблокированы, и запущены: «Происходит это таким образом: кал проталкивается вперед, иногда и назад по кишке, пока его не останется недостаточно (...)»⁶, и в этих мучительных колебаниях на месте то в сторону запора, то в сторону поноса, в сторону гетеро- или гомосексуальности, в сторону мужественности и женственности, само положение солнца, богов, врачей, мужчин начинает вращаться вокруг самое себя, воспрещая всякую стабильность распределения и любое «мышление». Это умопомрачительно раскаленное головокружение носит имя Флексига, которое тем самым обретает значение тензорного знака.

Оно продолжает раскручивать волчок за пределами органического тела Шребера, в неожиданных областях либидинальной ленты; это имя их улавливает или, скорее, вдруг заставляет существовать в качестве фрагментов пространного *анонимного* эректильно-ма-

6. *Mémoires...*, cité par Freud, *Schreber*, P.U.F., p. 309.

ниакального лабиринта, ага, вы считали себя врачом, стремились свести мой солнечный анус к жалким пропорциям догенитальной эдиповской регрессии; говоря «Флексиг», возводя на Флексиге свой метафизический и исторический роман, полагая Флексига в начале и в конце моей ненависти и любви, я превращаю вас, доктор, не во фрагмент *моей* параноидальной игры, как вы полагаете, а в непредвиденный обрывок безмерной ленты, по которой циркулируют анонимные токи. Ваше имя является гарантией анонимности, гарантией того, что эти влечения *ничейны*, что никто, даже и «доктор», не упасен от их прогонов и вложений. Вот чего вы боитесь и почему меня запираете. Под именем Флексига затевается, стало быть, не только разумная полисемия, которую обнаруживаешь в самом что ни на есть безобидном высказывании; здесь и раскаленность фрагмента тела, который уже не в состоянии откликнуться на определения, поскольку в него совокупно вкладываются «за» и «против»; более того, здесь и передача сего немыслимого ожога в другие либидинальные области, в данном случае в языки истории и религии, их обнаружение и захват в анальном умопомрачении, их, как тогда говорилось, сексуализация, их подсоединение к обезумевшему анусу, его вплоть до них расширение; здесь, стало быть, имя Флексига насилует самую предполагаемую границу тела Шребера (точно так же, как и предполагаемую границу тела Флексига), сам этот предел распылен умопомрачительной круговертью, тело председателя разрушается и его фрагменты разбрасываются по либидинальному пространству, смешиваясь с другими фрагментами в запутанную чересполосицу. Голова теперь уже — просто какой угодно клочок кожи. Флексиг, в задницу. По ту сторону синонимии и омонимии — анонимность.

«Пользуйся мною»

АЧТО, ЕСЛИ БЫ этим именем собственным было *сутенер*? То есть Бог. Перечитаем еще раз Шребера: «В предыдущих главах уже было замечено, что лучи (нервы Бога), которые испытывали влечение, подчинялись ему лишь против своей воли, поскольку оно вело к утрате их собственного существования и тем самым противоречило инстинкту сохранения. Поэтому я постоянно пытался приостановить влечение, другими словами снова избавиться от своих нервов (...). Основной идеей всегда было меня «оставить», то есть меня покинуть, чего, как думалось в то время, о котором сейчас идет речь, можно было достичь холощением и назначением цены за мое тело, как за тело проститутки, подчас умерщвлением и, позднее, разрушением моего разума (сведением меня с ума)»¹. И Шребер добавляет, как настоящая «потаскуха»: «Что же до попыток меня охолостить, вскоре было замечено, что постепенное заполнение моего тела нервами (женскими) сладострастия возымело прямо противоположные последствия, что вытекающее из него в моем теле сладострастие души скорее заметно увеличивало силу влечения»². Как настоящая девка или, скорее, одолеваемый силой зависимости?

1. *Mémoires...*, tr. fr., *Cahiers pour l'analyse* 7, p. 119.

2. *Ibid.*

Но, прежде всего, *кто* хочет сего скандала, сей феминизации? «При этом с человеческой точки зрения, которой я тогда в основном и следовал, было вообще совершенно естественным, что своего подлинного врага я всегда видел только в профессоре Флексиге или в его душе (позднее сюда добавилась ещё душа фон В., о чём еще будет сказано) и что в качестве своего естественного союзника я рассматривал божественное всемогущество, каковое представлялось мне в большой опасности один на один с профессором Флексигом; впредь я считал своим долгом поддерживать его всеми мыслимыми способами вплоть до готовности пожертвовать собою. Что сам Бог был сообщником, а то и самым автором плана, составленного с целью убийства моей души и проституирования моего тела как публичной девки, эта мысль пришла ко мне лишь намного позднее (...)»³.

Проститутка смиряется со своим ремеслом во имя высшего интереса. Она хочет этого и в этом неотличима от мученика: она свидетельствует своим унижением, Магдалина в качестве Иисуса. И начинает со свидетельства против своего сутенера. Разъединение, пока еще наивное, двух инстанций: аффективной — это Бог, глазам которого страдание представлено, а сердцу преподнесено; и политэкономической — это сводник, в конкретном случае Флексиг, Ирод или Пилат, который превращает это страдание в звонкую монету, извлекает из него прибыль и тем самым игнорирует его как таковое. Потом, на втором заходе (заходе, не преминем отметить, письменном: «Это мысль, которая пришла ко мне лишь намного позже и которая со всей ясностью дошла до моего сознания, осмелюсь я сказать, только во время редактирования настоящего сочинения»⁴),

3. *Mémoires...*, *Cahiers pour l'analyse* 7, pp. 149–150.

4. *Ibid.*, p. 150.

оба имени, Флексиг и Бог, сгущаются, апелляционная инстанция оборачивается столь же, если не более, преступной, чем инстанция преступления. Тут-то сутенер-Бог-доктор и обретает весь свой либидинальный размах: мировой порядок, заявляет Шребер, поистине изнасилован проектом моего превращения в женщину (в проститутку), апелляционной инстанции нет, Бог ко всему прочему и мой гонитель, он — не неподкупный судья, который принимает мои страдания, он еще и сутенер, который их требует и извлекает из них выгоду, и поэтому он их выявляет и в двусмысленности страдания-наслаждения ими пользуется.

Далее Шребер протестует, и в его борьбе за то, чтобы выйти из лечебницы, куда его заключили, надо видеть ту же борьбу, какую может вести девица, чтобы вырваться со дна, из борделя или клетки панели, в которую ее загнали. Но его протесты не лишены двойственности. Ибо, как мы уже видели, Шребер желает быть проституткой Бога, испытать по-женски наслаждение и доставить наслаждение ему если не как любовнику, то, по крайней мере, как господину. Именно для этого он хочет быть *всеми женщинами и женщинами все время*, и все его «непрестанно», «постоянно» — которые то и дело возвращаются под его пером, чтобы описать условие, характеризующее, по его мнению, наслаждение Флексига-Бога: *чтобы всегда имелась женщина*, — суть усилие твари соответствовать божественной всевременности: «Даже когда я ютилась в квартире одна, — говорит Ксавьер Лафон, — в любой час дня и ночи звонил телефон, чтобы проконтролировать мое присутствие (...). У них [сутенеров] сколько угодно времени, более чем достаточно, чтобы разыскать вас, если им хочется, даже в Америке». И даже когда она завязала со своим ремеслом, «иногда среди ночи меня будили телефонные звонки (...). На другом кон-

це провода молчание. Лишь чье-то дыхание, потом трубку вешали»⁶.

Определяющим элементом в формировании этой амбивалентности, которая норовит смешать Бога и сутенера, Бога и Флексига, является «наказание»; у Шребера оно названо гонением. При всем этом оно совпадает с тем, которому подверглась Ксавьер: заточение, полная зависимость, клиника как закон преступной среды. Ксавьер говорит об этом самое существенное: «Наказание — еще одно средство заставить принять для человеческого существа неприемлемое. Но также и садо-мазохистская связь, которая в конце концов заставляет вас испытать «что-то» в отношении ваших сутенеров. Это что-то не имеет имени. Оно лежит за пределами любви и ненависти, за пределами чувств, — дикая радость, смешанная со стыдом, радость испытать и выдержать удар, принадлежать и чувствовать себя освобожденной от свободы. Это должно присутствовать у всех женщин, во всех парах, пусть в меньшей степени или неосознанно. Не знаю, как на самом деле это объяснить. Это наркотик, такое впечатление, будто ты проживаешь свою жизнь одновременно несколько раз, с немыслимой интенсивностью. Испытывают это «что-то», налагая наказания, и сами сутенеры, я в этом уверена». Зачем же давать сему безымянному «что-то» имя садо-мазохизма, как предлагает Ксавьер? Здесь мы находим полностью сокрытия. Если Флексиг — имя *умопомрачения*, таковым же окажется и сутенер или сообщество сутенеров. С точки зрения этого умопомрачения наказанию подпадает не что иное, как иллюзия я: «Они преуспели, поскольку теперь я уже существую только через них».

Но само собой разумеется, что, как в доброй старой диалектике господина и раба, «женщина» вполне мо-

6. «Justine 73», *Le Nouvel Observateur*, 19 mars 1973.

жет использовать эту предельную зависимость в качестве оружия против властелина. Возможно, что в любви телá подталкивает к слепому смещению именно женский оргазм; тем самым Шребер хочет быть более женщиной и проституткой — и, стало быть, все более и более безумным, все более и более «мертвым», — чтобы лучше соблазнить Флексига и Бога. Не интенция ли это скорее, нежели интенсивность? И там, где мы, как нам с Ксавьер кажется, обрели *силу*, силу *безвластия* («Я не говорю, что мне жаль эту жизнь. Но ее вам всегда будет недоставать. Это как кокаин. В нормальной жизни никогда не достичь подобной интенсивности»), нужно ли уступать место *власти* и ее сговору с любой слабостью? Конечно. Но это не довод, чтобы стирать главное; интенсивность скрывается в знаках и инстанциях. Если имя собственное есть сутенер или Бог, оно также служит и поводом для этого неименуемого «что-то». Если я впадает в зависимость, то не только из-за омерзительных пощечин в упрочение властных отношений.

Из пупа ночи, в изнеможении ладоней и взглядов, с измочаленными членом и вульвой, на выжженной без всякой тактики земле, в хриплом и интимном горле женщины еще может родиться приказ: «Пользуйся мною», что означает: меня нет. Проституция является политическим аспектом зависимости, но та занимает к тому же и некоторую либидинальную позицию. Как раз ее-то и не хватало Саду. Требование «пассивности» не есть требование рабства, требование зависимости — не мольба, чтобы над тобой властвовали. Тут нет ни гегелевской диалектики раба, ни лакановской диалектики истерии, поскольку и та, и другая предполагают *перестановку ролей внутри пространства господства*. Все это мужская чушь. «Пользуйся мною» устремлено в направлении вставшего над чреслами члена, обманки власти, отношения господ-

ства. Но в этих самых чреслах происходит нечто совсем иное, куда более важное, преподносится упразднение *центра*, упразднение *головы*. Когда мужчина, Флексиг, сутенер, пользуется этим явным «требованием» «пользования», чтобы самому стать головой, властью, он защищается, он не осмеливается воспринять масштаб сего подношения и дать ход его последствиям. Страсть к пассивности, заставляющая сказать это, не является *одной* силой, дополнительной силой в бою, она есть сама мощь, которая устраняет все застои, что блокируют тут и там прохождения интенсивности. Подношение ягодич, открытие складки между ними, ануса и заднего прохода согнувшейся, как сборщица колосьев, женщины — остерегитесь, это отнюдь не вызов в духе потлача, вот, мол, что я тебе даю, покажись-ка и ты. Это — открытие либидинальной ленты, и как раз в этом открытии, в этом немедленном расширении и обнаружении отказывают себе носитель власти, сутенер, политик, мелочно довольствуясь капитализацией либидинальных интенсивностей ради прибавочной стоимости — чрезмерной эксплуатацией силы наслаждения, впаданием в вязкие китайские спекуляции. Ибо этот интерес, это ходатайство третьей стороны несомненно характерны и для умной эротики. По крайней мере не мешает, как и по поводу барочной машинерии, связывающей тело Шребера с телом Флексига, задаться вопросом, состоит ли эротика в том, чтобы придержать, скопить, а то и превратить в капитал силу, как наперебой советуют, как мы увидим далее, китайские тексты или «Опасные связи»; или же, включая в игру рассудок, подпуская в перемещения энергии «холод», то есть обжигающее напряжение расчета, в ее функции напротив входит *интенсифицировать* пренебрегаемые области и переходы; причем интенсифицировать, не привлекая ничего *вторичного* (расчет, другое пространство-вре-

мя, другое тело, контрастирующие или чередующиеся с первичным), а повысив интенсивности, вспрыскивая либидо в мыслительный процесс, *включая голову* в либидинальную ленту, запуская капитальные и капиталистические механизмы в интересах циркуляции влечений, эротизируя рассудок; представьте себе мелкого коммерсанта или бухгалтера, ставящего свое низменное искусство на службу своих желёз.

Итак, в этом-то и состояла глупость Сада, от которой даже в своем «Философе-злодее» не удастся избавиться и Клоссовскому. По крайней мере глупость одного из Садов. Есть и другой, он же — Спиноза и Лукреций: Сад, написавший «Французы, еще одно усилие, чтобы стать республиканцами», либидинальный материалист, которого мы здесь желаем и желаем здесь продолжить.

«Пользуйся мною» — это приказ и мольба, повелительное упрашивание, но оно требует упразднить отношение Я/Ты (оно же обратимое господин/раб), а также, очевидно, отношение *пользования*. Это прошение кажется чисто религиозным, поскольку требует зависимости. Ведь именно так и сказал Иисус на кресте, не правда ли? Но Иисус может требовать зависимости, *потому что* в качестве платы за грех предлагает свою боль: неподценность своих страданий, своей оставленности, чудовищное шреберовское *отъятие чуда*, которое он претерпевает, высвобождение, вершимое и завершаемое тем, кого любишь и кто к тому же всемогущ, — Иисус в качестве цены за искупления грехов предлагает это неподценное. И тем самым Иисус — расчетливая проститутка. Ты заставляешь меня умереть, это больно, но тем самым обрящется весь мир: извращенцы или кретины («они не ведают, что творят») будут возвращены в милостивое тело мироздания, сиречь капитала. И Бог тогда — сутенер, который говорит своей женщине Иисусу, как говорит Шребер-

ру: сделай это мне, сделай это им. Что при этом выигрывает Иисус, спросите вы? И я отвечу: что при этом выигрывает проститутка, продавая самые непредсказуемые части своего тела, свой взгляд, свои таланты портнихи, свою обувь, и что при этом выигрывает Шребер? Вопрос не в этом. Проститутка, как Иисус и Шребер, обретает и полагает себя в качестве *субъекта* путем расчета, пусть и руководствуясь при этом чистым фантазмом, которого достаточно для *обращения извращения*, для его заимообращения. И не забывайте, что, поскольку Иисус к тому же и бог, проститутка заведомо является его клиентом, но к тому же она и его сутенер. Таинство Троицы, оно же таинство Подобия, является той самой машинерией, которая производит осмысленный знак и скрывает знак тензорный. В очередной раз не дадим себя на этом подловить.

«Пользуюсь мною» — высказывание головокружительной простоты, никакой мистики, сплошной материализм. Пусть я буду для тебя пляжем и тканями, ты для меня — отверстиями и ладонями, пленками и оболочками, сгинем, оставим власть и низкое оправдание диалектикой искупления, *умрем*. Нет уж: пусть я умру от вашей руки, как говорит Мазох. Здесь зиждется высшая уловка, сознательная или неосознанная, дабы из сего последнего приказа, отданного уже доведенным до крайности ласками и бессонницей телом, в гвалте сорвавшихся с цепи частичных влечений воспряла функция подданного. Гегелевское толкование прошения: будь моим господином, дабы исполнилась твоя воля. Именно так понимают это и Сад, и Фрейд, и Батай, вводя прямо сюда политику, то есть снова приказ, стратегию, основания для войны, Шодерло де Лакло и Клаузевица.

Но чего же хочет та, которая в бесплодности и ожесточении каждого клочка своего тела этого просит, женщина-оркестр? Вы полагаете, стать хозяйкой сво-

его хозяина — и все такое прочее? Полноте! Она хочет, чтобы вы пострадали вместе с ней, она желает, чтобы пределы исключения были отодвинуты, хочет про-чистки всех тканей, безмерной осязательности, осязания того, что замыкается в самом себе, не становясь камерой, и того, что без конца разворачивается вовне, не пускаясь на завоевания. И это — перед лицом липкой посредственности мужланов! которые ухмыляются, думая, что разоблачают и эксплуатируют истерику или женщину с ее пресловутой ложью; подобной посредственности политиков, нашедшей отражение в записке, посланной с курьером Лениным по коридорам Зимнего дворца Троцкому (мы почти не присочиняем): «А что, если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Свердлов с Бухариным справиться?»⁷, слова человека из криминальной среды, лучший комментарий к ним опять же принадлежит Ксавьер: «На первый взгляд их принимают за „бонвиванов“. Они хорошо одеты, зачастую в них присутствует нечто женоподобное. Они не обязательно гомосексуальны, но чувствуется, что могли бы быть. В любом случае любовники из них невеликие. Они всегда перемещаются группами». Ибо им нужна Организация, этим городским извращенцам, как говорят Делёз и Гваттари (сами...).

Чего хочет женщина? спрашивал Фрейд. Хочет, чтобы мужчина стал ни мужчиной ни женщиной, чтобы ничего более не хотел, чтобы она и он в своем различии были идентичны в безумном соединении всех тканей. «Для реализации желания куда более подобало бы, в потусторонней жизни, наконец избавиться от разницы полов», — пишет Шребер, который цитирует песню Миньоны из «Вильгельма Мейстера»: «*Und jene himm lischen Gestalten / Sie fragen nicht nach Mann und Weib* (Где силам неба все равно, Ты женщи-

7. Trotsky, *Ma vie*, Gallimard, tr. fr., p. 347.

на или мужчина)». И пусть эту волю, чтобы все вышло из себя и запылало, мыслители назовут влечением к смерти,—еще бы! те, кто под именем жизни мыслит только о том, чтобы собрать, объединить, капитализировать, завоевать, расширить, заключить и господствовать. Греки Ленин и Троцкий, перемещающиеся группами педерасты, проституирующие массы как женщин. Но в постыдных собственных именах руководителей заключено безрассудное прошение масс, и оно вовсе не: Да здравствует Социальное (и тем паче не: Да здравствует Организация), а: Да здравствует Либидинальное.

Симулякр и фантазм

С И М Е Н Е М собственным и его скрытностью мы подходим вплотную к одному из узловых пунктов проблематики Клоссовского, присутствующему в его прочтении Ницше, Фурье, Сада, в его философии письма, повествования, политики; к фокусу, названному самим Клоссовским в его тексте «Протазис и аподозис»¹: «Тогда станет лучше виден смысл подобия-симулякра (в том истолковании, которое дал этому термину святой Августин с точки зрения *theologia theatrica** (Варрон), подхваченный мною в «Купании Дианы» и в «Порочном круге» по отношению к фантазму (*Wahnbild* и *Trugbild*)».

Прежде всего, как задействован симулякр** в полемике Августина с римским язычеством? Под этим именем обыгрывается как раз таки только что критиковавшееся нами положение знака, его теологическое основание. Августин в «О граде Божьем» выбирает в качестве противника из стана римского язычества теолога, грамматиста, филолога и ритора Варрона, надеясь обрести в нем соумышленника. Варрон различает три теологии: одна — естественная, дискурсивная, философская, — которую Августин намеревается под-

1. *L'Arc*, n° 43, 1970.

* театральная теология (лат.).

** напомним, что в русском переводе «О граде Божьем» латинское *simulacrum* (буквально *подобие, видимость, образ, изображение*) как правило переводится как *идол*.

хватить и спасти; другая — мифическая, театральная, сценическая, поэтическая (это его слова); ну и, наконец, теология гражданственная или гражданская, политическая. Стратегия Августина состоит в том, чтобы совокупно выделить две последние, представить их как непотребные пародии на первую, единственно почтенную, пародии, которые позволяют не только игрища в цирках, но и политические игры как цирковые. И, перед лицом этой пародийной политики, он намерен установить некую естественную политику, философскую политику, божественное гражданство. Таким образом, на втором этапе ему надо отторгнуть политическое от сценического, показать: все в имперской политике, что опирается на театральность, представление, нужно отбросить под тем предлогом, что «невозможно просить и чаять вечной жизни от богов поэтических, театральных, игровых, сценических» («О граде Божьем» VI, 6). (А почему бы и нет? И почему в теологических и политических вопросах уместен критерий вечной жизни? И разве нет вечности в насыщенном мгновении циркового игрища? Не вложена ли в него вместе с наслаждением и смерть?)

Итак, Августин возводит театр, очерчивает внутреннее ему и внешнее, хотя в общественной жизни римлян они и не были разделены — по крайней мере, мы намерены их так себе представлять — и даже не существовали в качестве противоположных терминов, если верить Варрону, когда он говорит, что театральное — всего лишь зеркальное отражение политического, а то, в свою очередь, естественного; если, таким образом, между ними имеется ничуть не ущербная эквивалентность и если исключено, что трансцендентность божественного естества может быть представлена как таковая. Пойдем далее в нашем фантазийном толковании: естественная теология философична; причем основным местом вложения является здесь

язык. Что такое естественная теология? Либи́до, изобретающее неслыханные высказывания, добавляющее к ленте влечений фразы прошения, мольбы, апологики, рефлексивной метафизики. Странная работа в плоти слов, где со времен стоиков видное место занимает термин естество, *природа*, произвольный термин, если это термин, идея самостоятельности, но все охватывающей и проникающей повсюду, не некоего тамошнего внешнего, к которому можно присоединиться, избавившись здесь от мнимой имманентности, а, напротив, имманентной всем вещам и никогда не отделяемой как таковая силы. И потому сия естественная теология наделяет полномочиями теологию гражданскую и теологию театральную: первая означает, что либи́до вкладывает свои энергии жизни и смерти в пространство полиса, а ранее очерчивает это пространство, а еще ранее *изобретает* добавления к лабиринтной ленте, которые будут «политическими», целиком определяет представление о *civitas** или *политии***, о равенстве людей в ней, о положении женщин, рабов, детей на ее периферии; а к тому же потакает изобретению уже новых — риторических, не философских — высказываний. При этом нет и речи о том, что политическое изобретение менее благородно, не так ценно в сравнении с естественным. Политическое и естественное для стоической и скептической религии поздних римлян не иерархизованы, нет ничего менее неоплатонического, чем эти воины-эротики-банкиры-философы. Точно так же нет речи и о том, чтобы неуважительно относиться к теологии поэзии и мифологии, ибо она свидетельствует, что возможны еще и другие вложения языка — те, что производят высказывания, которые под предлогом, что они не «ис-

* гражданство, граждане, сообщество (лат.).

** государственное устройство (греч.).

тинны», вслед за Платоном и Августином де-классируются как воображаемые или фантастические, предложения, складывающиеся в сказания, эпopeи, драмы, лирику, романы. (И вытеснение искусства и художников в гетто начинается именно здесь, в «Государстве», а не лишь с приходом буржуазии.) И в своей театральной, сценической форме (в которую, в частности, целит Августин) это производство богов есть не только изобретение новых слов и синтаксисов, но и пространственное и звуковое расположение, оно вписывается не только в языки, но и в движения тела, наделяется жестами, одеяниями, масками, музыкальными инструментами, постройками, то есть элементами здесь самыми что ни на есть материально произвольными, самыми либидинально действенными.

Так что этот римский театр, эта театральность цирка и политического собрания, отнюдь не подражая платоновского раскрытия пещеры, каковой есть по существу театральный раскрой на истинное наружное и *симулирующее* (дабы упростить) это наружное внутреннее, напротив покоится на убеждении, что *все есть знак или метка, но ничто не помечено и не означено*, что в этом смысле знаки ничему не являются знаками — не в том смысле, что они отсылают к нулю, который и *заставляет* их означать, но в том точном смысле, в котором мы говорили о знаках-тензорах: с одной стороны, каждая вещь и кусок вещи — термин в сети значений, являющих собой бесперебойные метонимические отсылки; с другой — причем неотличимо — напряженная единичность, мгновенная, мимолетная концентрация силы.

Именно это мудрое утвердительное безумие и хочет разрушить Августин во благо нигилистической мудрости, в рамках которой наличная интенсивность не только обесценена, но и почти забыта, где концепция времени сознания, беспрестанно отсылая собы-

тие от мгновения к мгновению в перекрестных обменах прошлого и будущего обяжет подвесить всю сеть отсутствий к некоему Наличию, ко всевременно живому, но при этом отсутствующему Настоящему, где пользуясь этой тканью отсылок, семиотическая машина готова впредь на месте переработать любую интенсивность в знак, в пригодное для какой-то отсутствующей вещи значение.

Здесь и находит свое место августиновский тезис о симулякре, он же — тезис об общем Подобии, то есть опора любой — или по крайней мере метафорической — метафизики: все вещи суть то, что они есть, потому что они похожи на нечто другое, а если так, то должно иметься некое Сходство, *Similitudo**, через причастность которому похожи все похожие вещи. Августин называет эту *метохе*** *Словом*: сын, в совершенстве подражающий отцу, представляющий то, что его порождает, настолько полно и законченно, что сам *есть* то, чему он подражает, оставаясь от него при этом отличным, таинство двойственности в единстве, то же самое, что и загадка знака. Сын или слово являет собой *Симулякр в себе*, если верно, что отношение образа или симулякра между двумя терминами требует не только *similitudo*, но и порождения: совершенно подобный отцу сын это также то, что из него проистекает. Все вещи оказываются, стало быть, в отношении сходства, если только все и каждая не являются образами друг друга; и, само собой разумеется, выстраивается иерархия вещей, которая зависит от концентрации в отношениях между ними этого самого *similitudo* (и дополнительного *dissimilitudo*). Если отношение отца и сына задает то самое сходство, которому будет сопричастна вся низшая иерархия, то в самом ее низу

* подобие, сходство (лат.).

** сопричастность, общность (греч.).

наоборот должно иметься нечто наименее похожее, наиболее непохожее, со-крытое и рас-подобленное; и так как нет ничего, что не было бы причастно подобию, не было бы симулякром, абсолютно расподобленным будет ничто². Последнее в иерархии бытия, если это не небытие, есть по крайней мере иллюзорный симулякр; тем самым тело: «*Vos quidem, — говорит Августин³, — nisi aliqua unitas contineret (corpus), nihil essetis, sed rursus si vos essetis ipsa veritas, corpora non essetis*»*. Итак, если имеется некое *телесное единство*, то чуть ли не благодаря ложному умозаключению: единство тела может быть лишь *бесконечно ненадежным* и, в плане общей теории симулякра, *ложным*. (Нам нравится его ненадежность, смысл его «ложности» для нас только в том, что она определяет место этого тезиса о симулякрах как убогой теории истины.)

Находит свое место в этой иерархии сходства и театральность нигилистического представления. *Истина*, ибо тогда придется выражаться подобным образом, сущего, принятого в качестве знака, оказывается расположена *вне* его и даже, поскольку Августин относит знак к категории метафор, *над* ним. Это сущее *означает нечто иное*, нежели то, что оно есть: оно означает то, симулякром чего является, но поскольку оно не *есть* то, что оно означает, оно означает также и расстояние, которое удерживает его в стороне, несходство, нехватку бытия, которая их разделяет. (Вот почему викторинцы, а до них герметическая традиция, вправе заявить, что уродство, характеризующее этот зазор, как раз и слу-

2. E. Gilson, *Introduction à l'étude de saint-Augustin*, Paris, Vrin, 1929), p. 268.

3. *De vera religione*, XXXII, 60.

* Вы были бы ничто, если бы вас не обнимало известного рода единство, но если бы вы были само единство, то не были бы и телами (лат.).

жит к вящей чести божественного всемогущества.) Тут целиком содержится весь нигилизм: смысл отложен, и в это откладывание вкрадывается нехватка. Та же конструкция и у Гегеля: между одним образованием (*Gestaltung*) и другим — зазор тождественности-отличия, другие имена для сходства-несходства и сознание их неразрывности в *Aufhebung**. С самого начала в греко-христианской мысли задана тема троицы. В дальнейшем, это уже не более чем вариации на нее. Сравните, например, с августиновскими рассуждениями о троице, какими они представлены в его трактате «О троице» (XI, 8, 14), где говорится: «*Sensus enim accipit speciem ab eo corpore quod sentimus et a sensu memoria, a memoria uero acies cogitantis*»**, размышления молодого Гегеля, которые можно обнаружить в его рукописи 1803–1804 годов, где мэтр диалектики пишет: «Цвет в трех своих Потенциях: в ощущении, как, например, в определенности *синего*, и затем как понятие, в соотнесенности с другими [цветами] как противоположность этим цветам, равная им, [цвет следовательно состоит] в том, что цвета суть цвета и тем самым существуют простым и всеобщим способом как цвета»⁴. И так: 1) *это синее* как единичность = августиновское *sensus****; 2) *синее* как противоположность *красному*, как противопоставительная ссылка на другие имена = *memoria*****; 3) *цвет*, мета-единство синего, красного и т. д. = августиновское *acies******.

4. *La Première Philosophie de l'esprit* (1803–1804), P.U.F., 1969, pp. 87–88.

* снятие (нем.).

** Ведь ощущение воспринимает вид от того тела, которое мы ощущаем, а память — от ощущения, взор же представляющего — от памяти (лат.).

*** ощущение (лат.).

**** память (лат.).

***** взор (лат.).

Одна вещь выступает здесь вместо другой — и она *меньше* того, что представляет. Чтобы она была тем, что она есть, бытие пошло на убыль. И данностью для нас, поскольку это не сходство как таковое, является *дефицит сил*. Театральность представления подразумевает этот дефицит, эту депрессию. Именно в нее организуется фигура отчуждения. Энрико де Негри⁵ прослеживает генеалогию этого термина: Павел пишет о воплощении, что Христос «уничтожил себя самого, приняв образ раба» (Филип., II, 6–7); экеносен, гласит греческий, что «Вульгата» передает как *exinanivit*, «опустошил себя, себя истощил». Гегель принимает эту нигилистическую традицию от Лютера, который перевел: «*hat sich selbs geeussert*» («Иисус вышел из себя»), с тем чтобы передать ее Марксу и политикам под именем отчуждения.

Точно так же обстоит дело и с тем, кому предложен метонимический знак. В том, что мне дано *через* знак, ему тем самым отказано, и оно должно сложиться как свод воспоминаний о знаках, которые надо заставить означать, и предвосхищений значений, которые надо заставить представиться в знаках. Надо сформировать семиологическое бытие на пересечении двух небытий, прошлого и будущего. Тем самым эта именуемая сознанием семиотическая сущность разовьется на основе неотъемлемого от знака нигилизма так называемую темпоральность: «Смерть, которую душе надлежит победить, это не столько единственная смерть, кладущая конец жизни, сколько смерть, которую без конца испытывает душа, когда она живет во времени»⁶.

5. E. de Negri, «L'elaborazione hegeliana di temi agostiniani», *Revue internationale de philosophie*, VI, 1952, I, 19, pp. 62–78.

6. *De immortalitate animae*, cité par P. Landsberg, «Du concept de vérité chez saint Augustin», *Deucalion*, 3, oct. 1950.

Отсутствующий субъект, мертвая жизнь, недостающее значение, знаки как признаки неполноты, негативная темпоральность, смерть-освобождение, перенесение истинной жизни куда-то еще: вот она, метафизическая семиотика со всей своей подноготной; вот она, нигилистическая теология. Именно на этой общей нехватке и вместе с нею конструируется великое Означающее, великий Бог, тоже отсутствующий, но предполагаемый принцип любого присутствия и значения. Господин знаков в их эк-зистенции, аминь. Видно ли вам, каким образом любовь к лингвистике, любовь к психоанализу и их сопряжение могут зафиксировать малейший разрыв по отношению к сей теологии? Или вам скорее видно, в чем они являются отпрысками или отголосками этой теологии? той же теологии? того же уничтожения тела влечений в дискурсе отказа?

Лицом к лицу с этим — фантазм в смысле Клоссовского. Не мелкая инсценировка, *day dream** или *Traum***, не невзрачная история, которую рассказываешь сам себе или которая рассказывается сама собою (например, в приступе истерии), этакий сценарий; но и не инсценирующая матрица, какими их, одно и другое, понимает Фрейд — и каковые вновь подменяют что-то другое, каковые здесь, чтобы заместить *исполнение* запретного желания, чтобы быть в послушании у возмещения невозможного либидинального смысла, и, как и любой семиологический знак, складываются из нехватки. То, что Клоссовски понимает под словом *фантазм*, надо, как он сам подсказывает, воспринимать скорее как объект, *сфабрикованный* силой влечения, отклонившейся от своего «нормального», порождающего употребления; по крайней мере если речь идет о фантазме «извращенном», каким он представлен в сочинении

* греза, сон наяву (англ.).

** сновидение, мечта (нем.).

ях де Сада (а также и самого Клоссовского). Оставим пока что в стороне вопрос, поднимаемый этим «отклонением», в котором, очевидно, вскоре узнаётся все тот же только что избалованный в теории симулякра нигилизм, а вместе с ним и устойчивость у Клоссовского и, несомненно, самого Сада кроющейся под идеей извращения теологии несхожести, каковая с необходимостью принадлежит к теологии августиновского *Similitudo*. Отложим на мгновение эту дискуссию, остановимся прежде всего на том, что предлагаемое положение фантазма, превращающее его в нечто вроде сфабрикованного объекта, продукта, чьим «потреблением» стала бы сама сладострастная эмоция, по крайней мере в этом отношении вполне определено: фрагменты позирующих тел, производимые силой влечения и тщетно истощающиеся в интенсивностях наслаждения, тогда понимаются как *заменяющие ничто*, они — как раз то, что порождают своей интенсификацией и циркуляцией импульсы побуждения: «изобретенные» фрагменты, добавленные вразнобой на чересполосицу либидинальной ленты. И точно так же, как, если придерживаться предложенной в «Живой монетой» *аналогии* между фантазматическим и производством, нужно наравне с производством понимать как непрерывную метаморфозу и фантазм, мы заключим, что в непрерывном преобразовании либидинальных энергий не больше *объектов* и *субъектов*, чем в преобразовании всевозможных энергий в недрах процесса, называемого производством в широком смысле. Мы, конечно же, не присваиваем себе подобный анализ, да и Клоссовски отнюдь не полностью с ним солидарен, но у этого анализа есть по крайней мере то преимущество, что он заставляет современные умы, убежденные в позитивности политической экономии, вообразить себе то, чем могла бы быть позитивность экономики либидинальной. Фантазм здесь — вовсе не ирреаль-

ность или дереальность, это «нечто», за него в шальном возбуждении цепляется либидо, обретает его как раскаленный объект и мгновенно добавляет на прочерчиваемую своим пробегом ленту. Совсем, при прочих равных, как *продукт*. И в этих условиях незаконно — по-прежнему при условии пренебрежения темой Сада-Клоссовского, темой извращения сил — разыскивать истину сего фантазма-«объекта» *вне* его самого, соотносить его значение с великим Означающим. По правде говоря, его значение тогда просто-напросто не вызывает *вопросов*. (Но мы знаем, что на этом не остановиться, мы-то знаем...)

Так как не бывает ни семиотики, ни умственного знака без, пусть и рудиментарной, памяти, та «семиотика» интенсивностей, которую в конце своей книги «Ницше и порочный круг» формулирует Клоссовски, не обходится без амнезии. (Конечно, и здесь тоже нетрудно уловить в самом содержащемся в слове «амнезия» негативе возобновление тайной отсылки к телу, которое помнит, к органическому телу. Наша ли вина, если нам нужно строка за строкой, терпеливо (и бесполезно) отделять то, что принадлежит рассудочности, от того, что принадлежит интенсивности?) Так, говорит Бафомет, «память — вотчина Создателя, моя же — забвение себя теми, кто во мне возрождается». И само имя собственное Бафомета, «как только приходишь в себя, вспомнить его невозможно»⁷. Имя собственное возвращения, каковое отнюдь не в том, чтобы прийти в себя, а являет собой случайный и мгновенный пробег — даже не *по* предшествующему этому пробегу либидинальному телу, а сам формирующий фрагменты этого тела, *утраченного* в тот самый миг, когда оно сформировано. Вот почему Бафомет может ска-

7. Klossowski Pierre, *Le Baphomet*, Mercure de France, 1965, pp. 139 et 138.

зять: «я — не создатель, который подчинил само бытие тому, что он создал, то, что создал, — единственному «я», а это «я» — единственному телу (...). Я — не господин, который пожинает, как Он, то, чего не сеял»⁸.

Примысливая фантазию о взаимопроникновении или непосредственном вторжении одних «намерений» в другие в среде лишенных тела сознаний, Клоссовски свидетельствует о том, что с этой странной «семиотикой» мы вплотную подбираемся к рассеивающейся лабиринтной ленте, которую прочерчивают интенсивности, и уже нетрудно понять, что то *тело*, которого при этом лишены «дыхания», — в точности постылое, грузное, нелепое органическое тело, субъект *habeas corpus**, владения и памяти: «Стоило указать на что бы то ни было, и, хотя бы уже самой возможностью обойтись без тела, ты менялся, навязывая одновременно изменение и «собеседнику»: сам менялся в том смысле, что тот, кто выражается без тела, непосредственно переходит в ту вещь, которую он выражает; и одновременно менял того, кому указывал на выражаемую вещь, в том смысле, что тот, кто получает это выражение вещи, каковую он, однако, уже знает и сам по себе видит, претерпевает в самом акте понимания манеру видеть того, кто о ней заявляет (...). Тела не устанавливают более никакой грани между соответствующими им намерениями, последние вторгаются друг в друга»⁹. Тогда с совершенно новой и своеобразной кротостью ставится вопрос о *насилии*, смещенном при этом в безразличную и мягкую жестокость: «Но что мы тогда скажем, если имело место насилие одного дыхания над другим? Будет ли последнее все еще

8. *Ibid.*, pp. 135 et 136.

9. *Ibid.*, pp. 119 et 120.

* право неприкосновенности личности (лат.).

держат зло на первое за то, что оно разрушило его хрупкое обиталище, коли оно оказалось освобождено от всех поводов остаться прежним? (...) Избавившись от поводов оставаться прежними, дыхания-жертвы, завидев их приближение, готовы смешаться с дыханиями-палачами. Последние же, кажется, при виде того, как те их привечают, сраму не имеют. Ни обвинений, ни сожалений, как с одной стороны, так и с другой, и никаких прощений. (...) Здесь нет места моральному удовлетворению, да и вряд ли оно может быть востребовано. В наших условиях рождается насилие другого порядка: оно вершится полнейшим безразличием. Оно и есть само это безразличие: и поскольку не оставляет никаких следов, это — худшее из насилий!»¹⁰. Упразднение памятных и памятливых тел допускает взаимопроникновение намерений, то есть их упразднение в интересах анонимных интенсивностей, чтобы *ответить* на которые и *положить им предел* больше не существует никаких инстанций.

Ничего общего с холодностью, безразличие это — безразличие пламени, которое сжигает все, что способно воспламениться. Как вращающаяся вокруг самое себя черта, оно не оставляет следа, если верно, что великая пленка никогда не дается во всей своей совокупности и что в этом смысле нет ни мира, ни тела, ни *записи*, ибо нет предназначенного для записи места. Только лишь точечные накаленности, без инстанцирования. И что же мы видим: та же ладонь, что за мгновение до этого ложила украшения на груди, прогуливалась по белому пляжу пронаторов, теперь, чуть не лопааясь от напряжения, рушится хлесткими шлепками меж бедер, на вульву. И видно: более всего удивлен бьющий. И видно: лупцуемые поверхности съеживаются, пальцы, заблудшие было меж бе-

10. *Ibid.*, p. 150.

дер, все еще влажные соками щели, складываются перед глазами в решетку, дабы их предохранить, чтобы они продолжали смотреть. И видно: каждый напуган абсурдностью случившегося. И начинаешь понимать, что между, с одной стороны, этим высшим из-за избытка взаимопроникновения безразличием и, с другой — теорией, скорее садовой, фантазма должно существовать своего рода колебание и, быть может, несовместимость. Насколько безразличное вторжение интенсивностей обязано вписываться в вечный кругооборот, где теряются идентичности и, следовательно, прежде всего собственные телесные объемы, настолько фантазм, совсем как промышленный продукт, напротив требует вселенной присвоения и сдержанности. Эмоция, которую может вызвать фантазм и в которой он истощается, никоим образом не происходит от непосредственного, необузданного, анонимного, эфемерного взаимопроникновения дыханий, то есть из либидинальных побуждений; напротив, она вытекает и вырастает из существования некоего тела, тела «жертвы», наплыв беспорядка к поверхности вызовут раздражающие маневры извращения, а его сумятица и уступка вернутся, чтобы в форме потока сладострастия атаковать поверхности тела «палача».

Как мы уже догадались ранее, если фантазм черпает свою силу из отклонения энергий далеко от слывущих естественными целей, то дело тут в том, что он предполагает и поддерживает отсылку к некому единству, что он интенсифицирует сладострастие не утратой идентичностей, а только их нарушением. Извращение, говорит, комментируя Сада, Клоссовски, как раз и «подходит для разложения того, что в качестве родового понятия охватывается термином «сексуальность», то есть, с одной стороны, сладострастной эмоции, предваряющей акт зачатия, а с другой стороны, специфического инстинкта произведения потомства,

двух естественных склонностей, на смешении которых зиждется целостность способного к воспроизведению индивида»¹¹. Тут очень хорошо понятно, что же могло остаться христианского и нигилистического в сугубо злодейской философии: из того, что интенсивность происходит из разложения сексуальности, принимаемой как естественный или божественный размножитель, нужно будет заключить, что именно ввиду этой естественности или этой божественности, короче — отсутствующего тела означающего, она и существует. В очередной раз надо подшить к делу почти всего Сада, начиная с использования богохульств, которые он рекомендует, чтобы повысить интенсивность наслаждения, и которые в достаточной степени показывают, какую роль продолжает играть в формировании онго Бож. Фантазм Клоссовского хочет — *где-то* — преступить через *хотя бы одно тело*: ведь он состоит как раз в *дробном* использовании тела жертвы, когда поводом для сладострастия послужит активное пренебрежение своим предназначением производителя, когда тот или иной фрагмент поверхности этого тела будет, так сказать, изъят из полного объема. Даже и в отсутствие веры в Бога, все равно это можно было бы назвать святотатством. Всякая трактовка сферического объема, будто он — конечная поверхность, богохульна. Когда вместо того, чтобы помочь мужскому уду обрести свое прибежище во влагище, рука ограничивается тем, что обводит и лощит подмышку, ягодицу, ухо, — это богохульство. Но для Клоссовского именно таков фантазм: не заменитель, конечно же, невозможной «реальности», каким его понимал Фрейд, а вырезание из тела другого частички его поверхностей и ее присоединение к телу фантазирующего субъекта.

11. Pierre Klossowski, *La Monnaie vivante*, Losfeld, 1970, n. p., (pp. 19–20) [здесь и далее: не пагинировано, сс. 19–20].

Синтаксис как кожа

НЕ ТАК-ТО легко, как мы видим, следовать линии разлома между умственным знаком и знаком интенсивным. В самой сердцевине фантазма, пусть и в высшей степени утвердительного, у Клоссовского вновь обнаруживается инстанцирование, отсыл эмоции к некоему целокупному телу, который даст об этом фантазме полное представление. В лексике, так сказать, языческой театрики божественные имена, над которыми насмехается Августин, суть уже имена функциональные, имена функций, и тем самым по сути весомы не как то анонимное имя собственное, до которого мы попытались добраться, например, во *Флексиге*, а скорее как разновидность *актантов* в нарративной структуре. С актантной функцией телесного фрагмента, задействованного в фантазме у Клоссовского, вырисовывается нечто вроде либидинальной валюты, или, скорее, нечто вроде *конвертируемого в валюту либидо*, если верно, что как таковой *не подлежащий обмену* фантазм желания обретает, однако, в ключевой ссылке на предполагаемое Тело (каковое есть нечто «универсальное», как «цвет» у Гегеля) способность стать *доступным для коммерции*. Учрежденная проституция; на подходе Тоска (вы что, думаете, она трахалась с Каварадосси сугубо генитально?).

Августин не дремлет и готов воспользоваться нашим отступлением: вы согласны, что Пертунда и про-

чие уже являются готовыми к передаче и обмену абстракциями? скажет он, так признайте же и что мой Бог сделался плотью, что порождение сына, в соответствии с теорией *Similitudo*, есть движение к единичности и несхожести, к интенсивности боли и сладострастия. Не обнаруживаем ли мы и здесь перевернутый принцип неотличимостей, к которому нас уже подвел Фрейд, когда речь шла об эросе и о влечениях к смерти?

Не будем спешить, разграничим, уточним еще. У Клоссовского имеется своя теория *симулякра*, и она отлична от теории Августина. Она не говорит: все есть симулякр, самая что ни на есть бедная подмена бесконечного богатства, жалкий остаток божественного Тела; она не платоновская; его теория гласит: отдельно от фантазмов и не менее реальные, чем они (Клоссовски никогда не сомневается в реальном), имеются речевые, пластические или письменные переложения этих фантазмов, имеются художественные вещи, которые *могут сойти* за неподлежащие обмену фантазмы. Но вот какое отношение *исключения* допускает Клоссовски между объектом сладострастия и его симулякром: «Если именно фантазм делает случай каждого особым — дабы защититься от *институционального* значения, навязываемого ему стадной группой, особый случай не может не прибегнуть к симулякру: пусть и к *сходящему* за его фантазм, — а также и за мошеннический обмен между *особым случаем* и *стадной общностью* (...). Особый случай *исчезает* как таковой, как только он *означает* то, что он *есть для себя*; все, что есть в индивидууме, — обеспечивающий его разумительность особый случай. Он не только *исчезает* как таковой, едва сформулировав самому себе свой фантазм, ибо он никогда не может сделать это иначе, кроме как через *установленные знаки*, — но он *восстанавливается* по этим знакам, лишь одновременно ис-

ключаясь из того, что *становится* в нем *вразумительным, меновым*»¹.

Симулякр, поскольку он сообщаем (пусть даже и призван сообщить непередаваемость фантазма), вносит обменность: тем самым он оказывается монетой, знаком, он *сходит за нечто иное*, нежели его собственный материал и устройство, он обречен на обращение. Присмотримся теперь к сочетанию фантазма и симулякра: оно предполагает и «прелюбодейную связь», и «мошеннический обмен», таковы слова Клоссовского: прелюбодейную связь, ибо для того, чтобы разум переписал фантазм в сообщаемых знаках, ему нужно выступить в защиту интенсивности против объединенного тела субъекта и общества, в противном случае замысливаемый им симулякр не в состоянии ничего симулировать. Рассудок Сада «изменяет» общественному установлению с непередаваемо страстной единичностью. Но и мошеннический обмен: знаки, используемые при примысливании симулякра, при рассказе историй, при изображении живых картин, не могут не предать и не извратить никчемную интенсивность, которая, впрочем, уже утрачена в тот момент, когда становится явной. Ни в чем не расходясь ни с либидинальной экономикой (из-за прелюбодейной связи, которой он требует от разума), ни с политической экономией (из-за вынужденно мошеннического обмена, который он позволяет с установленными знаками), симулякр повторяет в своей двусмысленности другую, постоянно обнаруживаемую нами у знаков: он одновременно является и бесполезным страстным знаком, и обменным рациональным знаком: сразу и *волеи*ем в смысле *Wille**, и *волеизъявлением* в смысле донесения смысла.

1. Pierre Klossowski, *Nietzsche et le Cercle vicieux*, Mercure de France, 1969, p. 367.

* воля (нем.).

Однако при всей его успокоительности это согласие стоит нарушить. Станем еще более педантичными учениками мастера живых картин, вместе с ним нам нужно продвинуть принцип двусмысленности еще далее. Язык, если речь идет о языковых симулякрах, это не только обмен, пусть даже и мошеннический, фантазма, это к тому же сама неспособность к обмену и интенсивная особенность: «Ибо если мы прибегаем к языку, из-за фиксированности знаков он предлагает также эквивалент нашей упрямой особенности»². Соотношение языкового симулякра с фантазмом — не просто отношение подмены, схождения-за, умственного знака — это к тому же и отношение *покрытия*, присвоения; они одним миром мазаны, одно не скрывает другого, оно ценно не только своей способностью опосредовать обмен (покупку), перенос, но и *реальной способностью* взволновать. Благодаря своему тексту книга напоминает кожу тела. В начале «Законов гостеприимства» Клоссовски пишет: «Эпидерма Роберты, раз уж мой синтаксис составляет ее ткань...» Если текст оказывается фантазмом, то, на взгляд Клоссовского, из-за собственной жесткости. Исключения синтаксических и семантических возможностей, которые складываются в *стиль*, производят на коже языка такие же эффекты интенсификации, нагрузки и выделения, каких может добиться от определенных поверхностей плоти суровая строгость некоего эротического расклада.

Не выйдем ли мы тем самым вновь к свойственному фантазму Клоссовского уделу: этот фантазм ценен как аффект лишь в соотнесенности с некоей сугубо единичностной инстанцией? Нет, тут опять нечто иное, тут отчетливое, совершенно отличное — и полностью смешанное с предыдущим — значение «мошеннического обмена», который мы только что поняли как

2. Pierre Klossowski, op. cit.

предательство интенсивности разумом, а сейчас следует понять как вложение притоков эмоций в самую умственную торговлю. Мошенничество здесь в том, что под предлогом наделения фантазма сообщаемостью и перевода его в знаки и синтаксис, либидинальную нагрузку теперь уже принимают на себя языковые фигуры. Вот что отныне, когда нигилистическая способность к переносу и ее противоположность согласованы, вкладывает желание в симулякр и что придает последнему устойчивость фантазма: ведь теперь языковая фигура, «синтаксис», не только выступает как замена затронутых и захваченных в потреблении фантазма поверхностных участков плоти, но и сама *является* такой поверхностью. Знаки, прочерчиваемые пером на бумаге, не только представляют собой средства сообщения некоей внешней по отношению к ним эмоции, которая, так сказать, оказывается утрачена просто из-за того, что записана (в этом плане письмо понимается строго нигилистически, как это делает Бланшо: «писать: убивать, а как иначе?»), но одновременно эти письменные знаки сами по себе — не вопреки, а по причине и соразмерно своей жесткости и инвариативности — являются продуктами фантазматического потребления.

Заметно, как здесь вырисовывается то, что прежде всего для нас важно: возможность представить себе синтаксис, закон стоимости, коммерцию, наконец, — и, стало быть, ту метакоммерцию, какою является капитал, — как *ин-тенсивные*, а не только де-тенсивные* области, как лоскутья чересполосицы, добавленные шальным вращением разделительной черты. Заметим нечто чудовищное: эта черта, которая разделяет, которая, стало быть, разграничивает свойства (тело, блага, Эго) и регулирует переходы из одного в другое и является тем самым опорой закона обменов как такового.

* от корня *tens*, *напряжение*.

го, как бы его ни называли, законом стоимости или ценой производства, — если она сама является «центром вложений», если сама служит объектом притяжения для влечений, нужно, чтобы она, *в то же время* отделяя и различая, как раз для этого, сжигала и смешивала в своем бессмысленном вращении регулируемые ею обособленности, нужно, чтобы ее «синтаксическая» холодность стала ее раскаленностью. Очевидно, именно ценой такого допущения и с признанием за ним реальной возможности удастся уразуметь, как могут доставлять наслаждение письмо, коммерция и капитал. *Живой монетой*: это подразумевает интенсивность интеллекта, торговлю неподценным, страстный рассудок.

Итак, снова двусмысленность знака, вопрос о которой теперь можно сформулировать в следующих терминах: когда эмоция (фантазм) проговаривается (симулякр), не должны ли при этом присутствовать *прелюбодеяние* или *проституция*? Прелюбодеяние слов с интенсивностями в ущерб понятию, проституция интенсивности в пользу обменов. Если для Клоссовского искусство творить симулякры проходит под рубрикой прелюбодеяния, поскольку по случаю наслаждения и головокружительного умопомрачения оказывается обложен синтаксический закон во всей его строгости, сама разделительная черта, — то для Бодлера художественное действие перевода фантазмов в симулякры следует отождествить с проституцией. Как известно: «Что такое любовь? — потребность выйти за пределы самого себя (...). Так что всякая любовь — проституция». И: «Что такое искусство? Проституция». «В тот день, когда молодой писатель правит свою первую корректуру, он горд, как школяр, только что подхвативший свой первый сифилис»³. В дендиизме наслаждение

3. Соответственно: «Мое обнаженное сердце», «Фейерверки» и «Мое обнаженное сердце».

инстанцировано в универсализации коммерции и сопутствующем уничтожении любой *красноречивой*, как говорил Батай по поводу Мане, эмоции; это холодность системы, воплощенной в новых публичных женщинах, напрочь лишенных всякого романтизма, всякой ностальгии по нездешнему, носительницах «беспощадной мудрости», машинах для наиболее точного расчета цены любого запроса, исходящего от клиента, который имеет в виду незапрограммированный текущим потреблением эротический маневр, холодных машинах, чей бухгалтерский автоматизм, отнюдь не разочаровывая денди, препровождает его к апогею наслаждения.

У Клоссовского, например в «Законах гостеприимства», верх над темой проституции берет тема прелюбодеяния. Если муж становится сводником своей супруги, если толкает ее в объятия собственного племянника, то вовсе не для того, чтобы либидинальная энергия конвертировалась по этому поводу в отходящую ему валюту, вовсе не для того, чтобы тензорные знаки извращенной эмоции уступили место умственным знакам сутенерской коммерции, а для того, чтобы оценить ту невозможную цену, которую он признает за Робертой, то есть для того, чтобы ввести меру, взвешивание и мысль в немыслимую чрезмерность того, что связывает его с частями тела: его жены. В бодлеровской проституции умственный знак (мертвая монета) перехватывает интенсивность и *перемещает* ее на *самое себя*; в прелюбодеянии у Клоссовского интенсивность остается «красноречиво» сконцентрированной на *фантазме*, то есть на расположении фрагментов (задравшийся край панталонов, приподнятая ладонь, наполовину вытянутое предплечье, сочность повернутого затылка, выглянувший из-под расшнурованного корсета сосок), изъятых у носящего имя собственное невозможного тела. И Октав, провоцируя

жену на прелюбодеяние, пытается среди прочего сподобиться своего рода всеобъемлющего взгляда на это тело (страсть, не имеющая ничего общего с вуайеризмом), заставить соответствовать единственному имени единственное предположительно соответствующее ему единое тело. Именно из-за этого Октав не столько сутенер, сколько *политик*, если верно, что каждого настоящего политика донимает фантазм единого тела, но лишь постольку, поскольку оно ускользает-таки от засилья унифицирующих институций: по ту сторону империи, донимаемой призраком «реальной страны»*, по ту сторону буржуазного общества, донимаемого призраком классового тела.

Макиавелли пишет: «Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой: первый способ присущ человеку, второй — зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму. Отсюда следует, что Государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя». И добавляет следующее: «это правило иносказательно внушали Государям античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и кое-каких других великих повелителей древности отдавали на обучение кентавру Хирону, дабы он воспитал их по своему усмотрению. Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что Государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой долго не протянет»⁴. В центре лабиринта, который служит виньеткой в «Ницше и порочный круг», обнаруживается не Минотавр, недалекое в однообразии своих appetitов животное, а Кентавр, чудовище куда более разумное, чем самые

4. «Государь», гл. XVIII.

* моррасовский термин.

разумные из людей, образ чудесного сокрытия знаков друг в друге, высшая мудрость, которая включает в себя скотскую глупость. Такой же кентавр и Октав; прелюбодей — это кентавр, который хочет не только страну, пройти по которой на законном основании дозволено его рукам, губам и члену, но и ту же страну, насколько она в своей «реальности» от него ускользает; вот почему Октав удваивается или прирастает в своей животной задней части Антуаном, как Государь-законник умеет преображаться в стяжателя краденной силы. И коли Цезарю надобно выйти из материнской утробы, раскрыв ее вопреки естеству силой, то дело тут в том, что Цезарь, мастер политики, — чудовище, состоящее из человека и животного.

В проституции идешь от интенсивности к порядку; в прелюбодеянии — от порядка к интенсивности. Но дорога одна и та же: неподвижное сокрытие, путешествие прямо на месте, проходящее через крайности животного влечения и понятийной ясности. Все та же неотличимость знаков, которая отбивает нам, либидинальным экономистам, весь аппетит к вульгарному романтизму и не менее заунывному формализму, к политике стихийных страстей, как и к политике понимания. Мы работаем над изысками сокрытия, структура вздорна, пафос стерилен.

В частности, нам нужно снабдить *экономические* знаки, к коим, очевидно, не могли не подвести уже прелюбодеяние и тем паче проституция, тем же коэффициентом сокрытия, который обнаруживается в иных сферах и лишь поводами для которого они, однако же, наверняка служат. Усвоить, что монета и, более общим образом, любой объект в системе капитала, коли он служит товаром и, стало быть, актуальной или потенциальной валютой, являет собой не только конвертируемую стоимость в универсальном процессе производства, но и, *неотличимо* (а не диалекти-

чески, в противоположность), заряд либидинальной интенсивности. Усвоить, что система капитала — во все не место затемнения так называемой потребительной стоимости, которая бы ей предшествовала — таков как раз романтизм отчуждения, христианство, — что она прежде всего в некотором смысле *больше чем* капитал, древнее, шире и, далее, что эти якобы абстрактные, годные для предварительных измерений и расчетов знаки сами по себе либидинальны. Экономическая теория и даже структурная антропология воспринимают эти знаки исключительно как термины, задействованные в коммуникационной системе, которая регулирует их кругооборот, как ощущаемую в них партнерами обмена потребность, их меновую и потребительную стоимость. Не подойти ли теперь и к ним так же как к именам собственным, как к знакам интенсивности, как к либидинальным стоимостям (отнюдь не меновым и не потребительным), как к пульсациям желания, как к мгновениям эроса и смерти — ну да, ну да...

Проституция обменивает фантазм (каким является клиент) на монетарные знаки экономической системы (валюту), но к тому же вводит в единичную и тщетную «чудовищность» фантазма умственный знак, передаваемую монету, закрепляя тем самым «прелюбодейную связь» мыслимого с немислимым. Цена, *смешиваясь, вмешивается* в неподценное; то, что не подлежит сравнению, оплачивается и, следовательно, оценивается. Это смешение, более чудовищное, чем мог бы быть фантазм сам по себе, одновременно и невозможно, и неизбежно. Почему невозможно — уже понятно; неизбежно же потому, что единичность побуждает сама себя сообщаться, потому что предельный пафос распространяет свое царство на кожу языка, потому что самое что ни на есть багровое половое возбуждение, от которого почти что слепнешь, заставляет

также произрекать слова, каковые не обязательно непристойны, но всегда являются насыщенными и отпущенными умственными знаками, потому что тыл, с которого внедряешься, это и лицо, в которое говоришь. Смещение неизбежно просто потому, что язык не является обособленной сферой, потому что он, обрывками, принадлежит той же ленте, что и чресла из серого золота, что играют под вашими ладонями, что и ягодичы, укачивающие гроздь вашей мошонки. Сообщение криком — это его утверждение, экспансия безумия вращения вплоть до вотчины смысла и порядка, до Логоса, который Запад и прежде всего философ всегда хотели сохранить в укрытии от чудовищности любовников и нечестивых политиков.

Неподценное

У САДА набор отношений между *стоимостью* монетарного знака и его *интенсивностью* совершенно отличен от того, что обнаруживается в проституции. Прежде всего, тело клиента — то же самое, что и тело сводника, Антуан и Октав составляют одно целое (возможно, на этом основан республиканизм Сада). Садовское Общество друзей преступления не есть Общество сводников. Преступная Среда воплощает двусмысленность знаков: прелюбодеяние денег с наслаждением, мошенничество наслаждения, когда оно монетизируется. Знак этих обменов становится пособником непередаваемых фантазмов, потребление единичности влечений достигается ценой повсеместно измеряемых деньгами сумм. Как и гегелевское *Mitte*^{1*}, Среда обеспечивает пронизываемость желания для институции, не слишком отличаясь в этом от Полиции. «Извращенные» влечения отводятся ею к социальному телу, телу обменов, к кругообороту передаваемых обменов и благ. Среда в полном смысле слова двусмысленности и сокрытия, даже если ей нет нужды прятаться, совсем как Полиции, поскольку та тоже не что иное, как выявление и регулирование сливающих социально извращенными частичных влечений. Хотелось бы выпи-

1. G.W.F. Hegel, *Realphilosophie I*, Iena (1803–1804).

* середина, центр, среда (нем.); у Гегеля — средний термин.

сать *речь полицейского*, речь в полном смысле слова скрытую/скрытную, — не столько потому, что ее реальная цель совсем не та, какую она выставляет на показ, что свойственно не только ей, сколько из-за ее *интереса к страстям* допрашиваемого: желание понимающего, все более понимающего комиссара примыкает, льнет, подключается к самым интенсивным, самым неведомым ему зонам желания допрашиваемого, таким как пассивность, претерпеваемые побои, тем самым вписываясь в некие волнующие, эротические, извращенные, детские отношения, — но с тем, чтобы путем *заимообращения* включить все эти частные влечения в коммерческий кругооборот и в полное тело, одним из производителей которого и выступает полицейский. И «заставить говорить» означает здесь просто-напросто вернуть наслаждение на предписанное ему порядком место.

Элементом той же фигуры служит и сутенер, работающий скорее со стороны страстей, чем со стороны интереса, тем самым ее дополняя. В любом случае его обязанность состоит в том, чтобы отточить либидо отдельных частей коммерческого тела проститутки, повысить его концентрацию, постоянно ими поступааясь, так чтобы они в любое мгновение были доступны для прохождения самых что ни на есть сильных энергий. Головокружение в большой проституции вызывает именно эта *доступность в любой момент*: она, как вылепленный сутенером из тела женщины образ, оказывается одновременно и метой ее *значения* как общаемого и коммерческого знака, и безумным признаком ее исчезновения как личности и упразднения в анонимности влечений. Во *властных* отношениях такая готовность к услугам называется рабством или, по меньшей мере, *Knechtschaft**; но она в то же время

* кабала (нем.).

принадлежит к *силовому* ведомству, превышая своей силой и анонимностью масштабы любого господства. Причем между двумя этими позициями нет никакой диалектики, поскольку нет никакого промежутка: так, например, *высокомерие* Жака-фаталиста одновременно выступает, с одной стороны, как выпад против положения хозяина и, следовательно, попытка его перевернуть, а с другой — как анонимное порождение некоего выходящего за рамки любой иерархии либидинального «знания»; это высокомерие во всем неуступчивого — и в этом смысле никогда не агрессивного, никогда не идущего на поводу у социальных мотивов к борьбе — влечения. В истории Ф. Б. или О* все точно так же свидетельствует о головокружении сутенера, хозяина сведенных к своим паспортным инициалам тел, пробегаемой безымянными интенсивностями области. Инициал женщины и регистрационный номер заключенного являются результатом дополнительной работы над именем собственным, посредством которой оно, как и надлежит любой замкнутой на самое себя телесности и любому запасу субъективности, почти что стирается, но при этом самим своим стиранием поддерживается, поскольку именно по приютившейся в имени анонимности становится заметным заблуждение.

Но совсем не так обстоит дело в Обществе друзей преступления. В Обществе, отрезанном от социального тела, а не улавливающим извращенные страсти, заимообращая их на себя. В отличие от сводника и шпики, злодей очень богат — 25000 ливров годового дохода, 10000 франков, выплаченных за каждую при-

* Ф. Б. и О — героини классических эротических/БДСМ романов середины XX века «Ф. Б.» и «История О» (автором «Ф. Б.», скрывшимся за псевдонимом *Ксавьер*, была цитированная выше Ксавьер Лафон).

обретенную с целью наслаждения жертву. И его занятие — отнюдь не заимообращение частичных влечений: они, в изобилии растрачиваясь на тела субъектов, не впишутся, благодаря посредничеству злодея, в социальное тело в форме денег. Напротив, он изымает свои доходы из обращения благ, выделяя их на чисто сладострастное потребление. Да, в наслаждении имеется продажность, но не из-за нищеты, а благодаря величайшей роскоши и как прибавка к сластолюбию. «Эквивалент фантазма (выплачиваемая сумма), — пишет Клоссовски¹, — представляет не только эмоцию как таковую, но еще и *исключение* тысяч человеческих жизней. Со стадной точки зрения, ценность из-за этого скандала еще более возрастает». И он формулирует злодейские уравнения, каковые никак не могут быть уравнениями сводника, следующим образом: «*Исключительное сладострастие = голод = уничтожение = высшая ценность фантазма (...)* Фантазм = *целиком все население*»².

Могут сказать, что подчинить либидинальную силу договоренностей замка в Черном лесу тому факту, что они оплачены ценой жизни тысяч нуждающихся в прокорме ртов, — значит понимать Сада все еще на нигилистический лад. Неужели не достаточно уничтожения купленных жертв внутри Замка, чтобы понять смертоносную бесцельность либидо, не считывая, сколько оно стоит в придачу для тех, кто снаружи? Но функция этой гнусности отнюдь не «дополнительна».

Она с необходимостью связана с особым положением злодея; он одновременно и сутенер, и клиент — или, скорее, ни тот, ни другой. Сутенер вводит частичное влечение клиента в лоно обманного тела общества

1. *La Monnaie vivante*, n. p. (p. 84).

2. *Ibid.*

в форме денежного эквивалента; клиент, растрачивая при содействии проститутки энергию влечения в актуализации своих фантазмов, производит *либидинальный эквивалент денег*. Но для злодея существенно выйти из системы эквивалентности между влечением и деньгами; если деньги по-прежнему присутствуют в его либидинальной «бухгалтерии», то уже не как замена или симулякр, а в качестве *области тела* (и тогда уже оно не может, очевидно, больше быть пресловутым социальным телом, а лишь, непременно, великой либидинальной пленкой), которая наравне с любой другой может и должна быть охвачена либидо и подвергнута его истощающему излучению. Объектом маневров либертенов наравне с телом служит монета, сам язык. Известно, что Дюкло* *День за Днем* «рассказывает историю» своей чудовищной жизни, и история эта — не что иное, как диахроническое разворачивание комбинаторики гнусностей; сей «рассказ» злодейки является для языка тем же самым, чем деньги, потраченные четырем главным либертенами на преступления, являются для политической экономии: не словесной заменой «реальных» комбинаций, каковые, как известно, ими широко практикуются, а *реальностью*, простирающейся далеко за пределы пресловутой «практики» (которую нигилистическая традиция незаконно наделила исключительным правом определять реальность) — вплоть до областей, занимаемых, по все той же традиции, заменителями вещей и личностей, то есть до областей языка и денег. На *коже денег*, как и на коже живых существ и слов, злодей вершит один и тот же преступный замысел беспощадной интенсификации, за исполнением которого не может не следовать обжиг возбужденных поверхностей, именно поэтому знаки обмена здесь, в противополож-

* действующее лицо «120 дней Содома».

ность происходящему в проституции, не только выведены из кругооборота сообщения, но и обречены на уничтожение — до такой степени, что задаешься вопросом, жизнеспособно ли экономически Общество друзей преступления. В любом случае оно не капитализирует; то, что оно копит, — сокровище руин.

Клоссовски, однако, понимает это разорительное использование денежных знаков иным, куда более «прогрессивным» образом: оно составляет, говорит он, протест против проституционной функции находящихся в обращении в обществе денег. Там, где сутенер устанавливает отношения между извращением и социальным телом, между тензорным знаком и знаком умственным и оказывается тем самым единственной истинной сцепкой, устанавливающей само коммерческое тело, злодей вершит *расцепку*: отвод своего достояния и его расточение ради непередаваемого сладострастия суть провокации, призванные породить альтернативу, перед которой политику либидо с необходимостью ставит *сокрытие* или двусмысленность знаков: либо признать, что «непризнание полной чудовищности социальными установлениями на самом деле оборачивается проституцией, материальной и моральной»³, стало быть признать, что общая товарная система — система проституции под прикрытием коммерции предметами и услугами и иного не дано; либо «утверждать, что есть только одно подлинно универсальное общение: *обмен тел на тайном языке телесных знаков*»⁴, которому садовская злодейка поставляет принцип и чей эффект иллюстрирует — эффект восстания или, выражаясь на манер Бланшо, постоянного сотрясения обменного кругооборота страстями⁵.

3. *La Monnaie vivante*, n. p. (p. 79).

4. *Ibid.*

5. «L'Inconvenance majeure», in Sade, *Français, encore un effort...*,

Именно исходя из такой альтернативной постановки политической либидинальной проблемы — либо общение между живыми существами путем обмена телами, именуемое «извращением», либо проституция под знаком мертвых денег, каковые суть капитал, во всяком случае меркантилизм, — формулет Клоссовски свой невозможный вымысел о живой монете: «Давайте представим на мгновение, — пишет он, — невозможную, на первый взгляд, регрессию: пусть на промышленной стадии производители способны затребовать от потребителей в качестве платежа чувственные объекты. Этими объектами являются живые существа. Согласно этому примеру натурального обмена, производители и потребители приходят к тому, чтобы составить собрания «личностей», предназначенных как будто бы для удовольствия, для эмоции, для ощущения. Как человеческая «личность» может выполнять функцию разменной монеты? Как производители, вместо того чтобы «покупать себе» женщин, смогли бы брать за свою работу «женщинами»? Как предприниматели, промышленники будут платить тогда своим инженерам, своим рабочим? «Женщинами». Кто поддержит эту живую валюту? Другие женщины. Что предполагает и обратное: имеющие какую-либо профессию женщины станут оплачиваться «парнями». Кто поддержит, то есть прокормит, эту мужскую валюту? Те, кто располагает валютой женской. То, о чем мы здесь говорим, существует на самом деле. Ибо, не прибегая к буквальному натуральному обмену, вся современная промышленность покоится на натуральном же обмене, опосредованном инертным, нейтрализующим природу обмениваемых объектов знаком, точнее — на симулякре натурального

Pauvert, 1965. Но Бланшо, как и Сад, видит здесь скорее некий принцип.

обмена, симулякре, который кроется под формой трудовых ресурсов, стало быть живой монеты, непризнанной как таковая, но уже существующей»⁶.

Прежде чем удивляться подобной фантазии, оценим, какую в точности направленность придает ей автор: «Как живая валюта, промышленная рабыня одновременно выступает в роли и обеспечивающего богатство знака, и самого этого богатства. В качестве знака она подходит для всех прочих видов материального богатства, в качестве богатства исключает тем не менее любую другую потребность, если это не потребность, удовлетворение которой она представляет. Но ее качество знака в равной степени исключает и само, собственно говоря, удовлетворение. Вот в чем живая валюта существенно отличается от положения промышленной рабыни (знаменитость, звезда, рекламная манекенщица, стюардесса и т. п.). Она не сможет претендовать на звание знака, покуда сама различает то, что готова принять инертной монетой, и то, чего стоит в собственных глазах»⁷.

Ставшее живой монетой существо занимает совсем иное место, нежели женщина, которую Клоссовски называет «промышленной рабыней». Эта последняя не предлагает в конечном счете ничего действительно нового, если сопоставить ее с положением рабочей силы как товара, оплачиваемого в производственной занятости в широком смысле. Модель, чей телесный образ сопровождает предложение товара — колготок, холодильника, эскимо, — просто составной элемент метатовара, устанавливаемого рекламным объектом (афишей, печатным «глянцем», короткометражкой). То же, при прочих равных, и для стюардессы и т. д. Конечно, интерес, который экономическая власть

6. *La Monnaie vivante*, n. p. (p. 89).

7. *La Monnaie vivante*, n. p. (p. 92).

выказывает к этому телу и этому лицу, кажется неотделимым от их либидинальной силы. Но на деле эта последняя по существу игнорируется; функцией предложенных потенциальному потребителю образов является не пробудить фантазматические силы, а побудить купить эскимо или холодильник; они подталкивают, чтобы он тратил не свое либидо, а свои деньги. Здесь нет и речи об интенсивной силе, только о психо-экономической власти, — но либидо не является психо-экономической «мотивацией». И следовательно промышленная рабыня, будучи включена в метатар, претерпевает нейтрализацию либидо, совершенно обязательную в организации всех задействованных в промышленном производстве и обмене объектов. Предлагаемое ею потребление не есть истощение. Это игнорируется использующей женщину в рекламных целях монетарной системой; *цену*, которую можно приписать интенсивному наслаждению ее телом в его не подлежащей обмену единичности, не оценить в рамках монетарной системы, она остается «неподценной», следовало бы сказать «внестоимостной». Промышленная рабыня обречена на самое что ни на есть классическое расщепление между тем, что принадлежит торговцу, и тем, что отходит любовнику.

Напротив, либидинальную *цену* женщины как живой монеты напрямую — Клоссовски говорит: «непосредственно», но мы увидим, что непосредственность тут никак не возможна, — определила бы уже эмоциональная сила ее тела. И стала бы тем самым «богатством»: она же «исключает любую другую потребность» и не годится в качестве замены чего-то другого: это прекращение переноса, разрушение всего остального. Здесь Клоссовски предлагает аналогию с золотом, в коем видит экономико-политическую метафору либидинальной *цены*: ведь, как и она, золото

никчемно и именно из-за этого, далекое любой инструментальности, драгоценно; в сфере пользования его бесполезность может напомнить суетность по части относящегося к страстям. Тем не менее эта никчемная точка отсчета служит, согласно Клоссовскому, стандартом стоимости валют — причем самым что ни на есть произвольным образом: согласно той же непредвиденной встрече либидинальная цена тела-монеты («конкретной валюты») определяла бы коммерческую стоимость товаров, причем проследование от «цены» к «стоимости» остается неразрешимым, а их несоизмеримость неподступной.

Мы вновь обнаруживаем здесь обе черты, объединяющие и смешивающие тензорный знак и знак умственный в одну и ту же «вещь»: неразрывность и невыводимость. Женщина-монета была бы самой скрытностью; она — не только точка пересечения более или менее расходящихся цепочек означаемых, полисемичная и сверхдетерминированная точка пристежки, к *тому же* она и бесконечность тяги к смерти, которую либертен травит как зверя по глазам и ложбинам ее тела. Телесная валюта предлагает двусмысленное, уже встречавшееся отношение несовозможности и неразрывности между своей функцией стоимости и своей тензорной силой. Именно из-за того, что строй интенсивностей не переводим или *конвертируем* в строй стоимостей, валюта, даже и это единичное тело, готовое служить материалом для «извращенных» фантазмов, не может не остаться абстрактной или мертвой, и Клоссовски, *противореча* в этих нескольких словах всему своему замыслу, вдобавок к признанию либидинальной своеособости («она исключает любую другую потребность, если это не потребность, удовлетворение которой она представляет») соглашается, что она нейтрализуется в умственном знаке: «ее качество знака в равной степени исключает и само, собственно го-

вора, удовлетворение». Так что и вопрос о наслаждении ставится сделавшейся живой валютой во вполне апоретическом духе: будучи телом интенсивностей, эта валюта вроде бы готова к наслаждению; но предназначенные для оплаты наличные она может лишь отложить на потом, точь-в-точь как исключено, что кожа проститутки может прийти под лаской клиента в волнение.

В чем же система Клоссовского отличается от проституции? В том, что пользование женщиной не должно покупаться за деньги, поскольку здесь это пользование напротив обеспечивается долговым обязательством со стороны «хозяина» женщины по отношению к «клиенту». Тело проститутки целиком остается в сети рыночных стоимостей, даже если случается, что наслаждение, которое она доставляет клиенту, жульнически «вырывается» оттуда, чтобы растратиться выплеском интенсивности: но тело живой монеты не *отсылает* к монете мертвой, и в этом смысле оно не товар, а именно монета, поскольку, ежели не его приобретение, то, по крайней мере, пользование, стóит возврата долгов и погашения долговых обязательств.

Ну а теперь, есть ли зазор между вообразенной Клоссовским организацией и заведениями, предназначенными в памфлете Сада «Французы, еще одно усилие...», с одной стороны, для распутства мужчин, с другой — для распутства женщин? Зазор кроется в ключевой точке — в республиканизме. В представляющих собой общественную собственность заведениях Сада каждый гражданин, вне зависимости от пола, обладает возможностью вызвать любого другого гражданина или гражданку, дабы насладиться им или ею по своему усмотрению. «Мотив» вызова у Сада ни в коей мере не экономичен, и наслаждение, извлекаемое из объекта, который Клоссовски назвал бы

фантазматическим, доставляется отнюдь не в погашение долга. Единственный признаваемый Садом и весомый в его заведениях долг — долг наслаждения, который политичен и которым, с точки зрения сограждан, потенциально и постоянно обременен каждый гражданин. Именно в этой усиленно поддерживаемой маркизом независимости либидинального по отношению к экономическому и кроется расхождение с фантазией Клоссовского: садовская тема есть тема политическая, производство и обмен товаров в нее не входят. Заведения разврата суть городские учреждения и как таковые наделены косвенной, но существенной функцией заимообращения либидо в круге *политического* тела. Вот два варианта: «Если (...) нет такой страсти, которой было бы нужно больше свободы, чем сластолюбию, нет, несомненно, и столь же деспотичной; (...) стоит только не предоставить человеку тайное средство исторгнуть дозу деспотизма, заложенного природой в глубины его сердца, как он набросится, чтобы все-таки свершить это, на окружающих, порождая в государстве брожения. Дозвольте же, если вы намерены избежать подобной опасности, свободный подъем этих тиранических желаний, беспрестанно терзающих ему наперекор гражданина (...)»⁸. Итак, извращение изливается в периферийных учреждениях, в общем и целом верных в этом греческой модели⁹.

Но Сад наравне с этим говорит и прямо противоположное: единственной моралью окруженного постоянно угрожающими ему деспотами республиканского правительства является его самосохранение любыми доступными средствами; исключено, что-

8. «Français, encore un effort...», in Sade, *La Philosophie dans le boudoir*, J.-J. Pauvert, 1972, p. 211.

9. См. далее главу «Коммерция».

бы все эти средства были нравственными; напротив именно *безнравственные* люди своим вечным стремлением к *восстанию* держат республиканское правительство начеку. Тогда вышеупомянутые заведения, в чьи функции отнюдь не входит смягчать возбуждение, вызываемое влечениями в среде граждан, осуществляют скорее другую — их поддержать. Такова функциональная двойственность очагов сладострастия относительно самой политической сферы, одновременно заряжающих ее энергией и разряжающих: злодейство, эта постоянная изменчивость тех, кого Платон в «Государстве» назвал *трутнями* и кого он хотел устранить, оказывает правительству двойную услугу, наступая на него своими ненасытными бесчинствами, заставляя установить зоны злодейств, которые станут точками разрядки и для нее, и для него. Здесь Сад оживляет великую макиавельскую традицию соучастия политика и зверя, традицию кентавра Хирона, наставника государей, в высшей степени двусмысленного политика.

У Клоссовского нет и речи ни о каком правительстве или гражданстве, это человек нового времени, республика более не существует, единственное тело с претензией на всеохватность — тело капитала; секрет полишинеля, что сегодняшние политики — всего лишь исполнители импульсивных предписаний капитала и им уже нет нужды получать от Хирона в качестве дотации от политического гения изрядный избыток глупости или животности; у них и так все есть, если они заполучили диплом какой-нибудь Высшей административной школы. Именно в экономике ищет на постмарксистский лад Клоссовски сговор влечений на «социальном теле». Но, не довольствуясь, в отличие от Маркса, протестами против окольного, при посредничестве товара, распространения проституции на все виды деятельности, он также продолжает вытекающие из этого факта свидетельства, он видит в ка-

питализме возвращение, но негласное, непризнанное, того, что капитализм отбрасывает, то есть либидинальной интенсивности, прямо в недрах внешне самых что ни на есть обезвреженных обменов. (Анализ, на первый взгляд не лишенный общности с анализом Бодрийяра, для которого фетишизм товара, разоблаченный и во многом недооцененный самим Марксом, является переписанным в строй политической экономии *отвержением*, лежащим в основе этого строя и в то же время его учреждающим.) Соответственно Клоссовски говорит себе: *дело за немногим* («то, о чем мы здесь говорим, существует на самом деле»), чтобы остающееся сегодня непризнанным из-за того, что производство и обмен благ скрывают обмен и потребление фантазмов за экраном мертвой валюты, стало всеобщим достоянием, а производство и обмен предстали непосредственным кругооборотом наслаждений: представление о *живой монете* не имеет иных функций, кроме намерения восстановить интенсивность прямо *на* коммерческом круге и тем самым перестать третировать желание и пользоваться телом капитала как удобным окольным путем, чтобы достичь скандальных в данном случае целей («получать зарплату женщинами»). Но так как у Клоссовского идея интенсивности не носит утвердительного характера (по крайней мере в «Живой монетой», в «Порочном круге» все уже несколько по-иному), так как она упорно старается — как отчетливо проявляется в том, что он, однако, считает важной поправкой в этом отношении, сиречь в «Философе-злodeе» — придерживаться нигилистической традиции нарушения (размножения), извращения (основы), злоупотребления (энергиями) и, по совместительству, если не фантазма как заместителя, то по крайней мере симулякра как удвоения фантазма, — то помещение наслаждения в самый центр коммерческого кругооборота может при-

нять в его глазах только форму некоей *валюты*, пусть даже и живой — чреватой тем самым тысячелетним наследием проституции и субституции, иначе говоря дуализма, который мы, либидинальные экономисты, аннулируем.

Стоит принять, что фантазмы не подлежат обмену, и приходится сделать вывод о необходимости поддерживать политическую экономию и капитал. Ибо из невозможности обмена вытекает, что не миновать подмены фантазмов двойниками или симулякрами и тем самым предательства либидинальных «богатств» экономическими знаками этих богатств, которые будут их представлять, но также и навсегда отложат их потребление. Что монета является живой, не отменяет того, что она остается валютой, совсем наоборот. Распространяясь на эротические тела как таковые, новая политическая экономия превращает *и их* в симулякры, видимости, и составляет из фрагментов плоти, собранных в те, также называемые «живыми», картины, к которым питает расположение Клоссовски, своего рода град земной, являющийся дубликатом другого, никогда не достижимого града. В этом смысле «Живой монетой» продолжает августиновскую религию «Града божьего», и жизнь, которая будоражит эту монету и эти картины, — разновидность смерти, в полном согласии с традицией Отцов церкви.

Тем не менее в тот самый миг, когда от него отходишь, надо воздать этому вымыслу должное. Ибо за фантазией о сих *золотых телах* ищется нечто совершенно противоположное урокам Августина. Непомерные сделки по обмену между зонами влечений (неподценными «фантазмами») в сочинениях самого Клоссовского могут и должны быть поняты — особенно недвусмысленно в «Порочном круге» — не как обмен в том смысле, что два контрагента договариваются друг с другом об обмене двумя объектами равной

(маргинальной) полезности, а как метаморфоза, в которой области вложения (а мы видели, что, согласно Саду, которому здесь следует Клоссовски, это может быть язык *или даже деньги*) существуют лишь постольку, поскольку их непредвиденно и беспрестанно обесгаает интенсивность, величайшее, или тончайшее, или нежнейшее напряжение и боль. Этот «обмен» есть прохождение интенсивностей, которые перебегают от одного имени собственного к другому, от одного инициала к другому, от одного матрикула к другому, не возвращаясь к тому же и, стало быть, исключая капитализацию, исключая возможность какой бы то ни было инстанции, структуры, великого Нуля матриц ввода/вывода, Памяти, способной учесть при расчетах растраченные тут и накопленные там энергии. В таком понимании, сама «жизнь» оказывается сплошь валютой, в том смысле, что нет ничего кроме симулякров, кроме, конечно же, знаков, но без отсылки к *другому строю*, к означаемому; ну да, заведомо политическая экономия, но та, что не только не является предательством или травестией либидинальной экономики, но и *есть* эта самая либидинальная экономика; политическая экономия без преданного или отчужденного «источника», без теории стоимости. Валютой, стало быть, в том смысле, в котором римское язычество и театральная теология допускали только тензорные знаки, только безликие маски, только поверхности без закулисы, только *цены* без *стоимости*.

Несомненно, именно для того, чтобы не порвать со столь же августиновской, сколь и марксистской идеей *отчуждения*, и колеблется Клоссовски в своей оценке капитализма и, следовательно, в том, какую в точности направленность придать либидинальному использованию знаков. Он вполне может настаивать на тесной аналогии, которая царит между полезным («инструментальным») продуктом и фан-

тазмом, между потреблением продукта и сладострастной эмоцией, между «промышленным миром» и извращенным обществом — но скорее для того, чтобы объявить, насколько ее нужно остерегаться: «Не существует какой-либо экономики собственно говоря сладострастия, которая бы извлекала прибыль из средств производства»; и даже чтобы наложить на эту аналогию соотношение ей откровенно «противоречащее»: «отношение чистой аналогии никуда не ведет, если для выявления борьбы аффектов против *их неадекватной формулировки*, низведенной *материально до состояния просьбы о благах*, соответствующей им только внутренне противоречивым образом, отправляться не от точки зрения *объектов и потребностей*»¹⁰. Но разве не очевидно, что это внутренне противоречивое соотношение происходит от возвращения идеи отчуждения в лоно эротики? В другом месте Клоссовски говорит, что влечения всегда борются сами с собой: таким образом, нет никакой нужды в капитализме, чтобы они формулировались «неадекватно». Получается, что эта неадекватность, откуда бы она ни шла, существует только с точки зрения некоей *мысли об истине и посредством истины*. Мы скажем, что отношения между умственным знаком и знаком тензорным, между валютой и влечением — не отношение формулировки, выражения, перевода, предательства*, а отношение сосуществования или сокрытия. И проблема капитала, как и проблема валюты, не может быть проблемой того, как *избавить* желание от его гротескных масок, поскольку маски капитала не хуже и не лучше, не более и не менее «аутентичны», чем другие. И принци-

10. *La Monnaie vivante*, n. p. (p. 26–29).

* ср. знаменитую итальянскую приговорку *traduttore, traditore*, переводчик — предатель.

пиально признать, что уже какое-то время появляются новые «знаки», новые высказывания — в их числе на первом месте детища Клоссовского — новые «практики», новые «сочинения», которые либидинально, *точно так же*, как и экономически, апеллируют к разрушению различия между чувствами и делами, между аффектом и трудом. *Как и знаки капитала*, эти знаки двусмысленны, нет и речи о том, чтобы провозглашать *urbi et orbi**, что с их появлением семиотика и политическая экономия разрушены, а желание избавлено от уз системы стоимостей. Их интенсивность в новинку — по тому, как они вписываются в уже установившиеся области, по далям, которые они отодвигают и намечают. Их отношение к знакам-ценностям, к умственным знакам, пропитано новой двусмысленностью. Следовало бы не столько приветствовать новую зарю, сколько воздать в них должное новому сокрытию. Там, где остались одни лишь поверхности, правят заговор и секрет.

* городу и миру (лат.).

Желание
за именем
Маркс



Либидинальный Маркс

ПОРА уже подойти к Марксу так, будто он был писателем, обуреваемым аффектами автором, словно его текст — безумие, а не теория, нужно постараться расшатать его теоретическую плотину и без пренебрежения и благоговения пригладить его бороду, оставив в стороне к тому же ложную нейтральность, которую некогда рекомендовал Мерло-Понти в отношении того, кто, по его словам, отныне стал классиком и к кому нельзя подходить иначе, чем к Гегелю или Аристотелю, — нет, пора огладить его бороду как сложный либидинальный объем, разбудить его глубоко запрятанное желание, а заодно с ним и наше тоже. Не следует критиковать Маркса, ну а если мы даже его и критикуем, поймите: это ни в коем случае не критика; как уже было сказано и повторено, мы остерегаемся критиковать, ибо это означает все так же пребывать в поле того, что критикуешь, и в догматическом, чтобы не сказать параноическом, отношении знания. Желание Маркса интересует нас не само по себе, а в той степени, в какой оно информирует темы его сочинений, превращающиеся в темы социальных и политических «практик». Нужно нанести Маркса, большого и великого Маркса, как и малого Маркса эпикурейских или лютеровских штудий, весь этот континент, на атлас либидинальной картографии — или, скорее, наоборот: прогнать через этот странный край наши симпатии и антипатии, потакая своим привязанностям, своим разочарованиям,

здесь изошряясь в анализе, там им пренебрегая, поскольку мы не питаем никаких надежд или намерений составить портрет его сочинений, представить их «интерпретацию». Мы не интерпретируем, мы читаем и реагируем тем, что пишем. На протяжении долгого времени мы реагировали на прочтение Маркса практиками (поскольку именно это слово в качестве чреватого бедствиями наследия оставили нам греки). Все это говорится не для того, чтобы сделать более оправданным или менее постыдным то, как мы либидинально попользуемся сейчас Старцем; скорее для того, чтобы поместить эти самые «практики» в сферу как раз таки принадлежащего интерпретации. Марксистская политическая практика — это интерпретация некоего текста, точно так же как интерпретацией некоего текста является и социальная или духовная практика христианства. Так что практики, будучи интерпретациями, и сами являются текстами. И именно этого хочется здесь избежать. Не хочется нам и исправлять Маркса, прочитывать его заново или читать его в том смысле, в котором малые альтюссерианцы хотели заставить нас «прочитать „Капитал“»*: интерпретировать его согласно «его истине». В наши намерения не входит быть подлинными, представить истину Маркса; мы задаемся вопросом, что в Марксе от либидо, причем «в Марксе» означает: в его тексте и в его интерпретациях, по большей части практических. Мы собираемся подойти к этому тексту скорее как к «произведению искусства». Мы собираемся учесть эту неоспоримую частность, которую полагают маловажной и которая действительно является таковой с точки

* аллюзия на получивший широкий резонанс сборник материалов семинара Луи Альтюссера и его «учеников» (Э. Балибар, Ж. Рансьер и др.), оформленный в виде коллективной монографии «Прочитать „Капитал“» (*Lire le Capital*, 1965).

зрения заявленных тем сочинений Маркса, но заведомо не для либидинальной географии сего континента.

Отметим даже вот что, друзья либидинальные экономисты: как вы только что услышали, мы чувствуем себя чуть ли не обязанными сделать на краю этого континента своего рода заявление о намерениях, немного торжественное, несколько эпистемологическое (согласитесь, все же по возможности в минимальной степени). Никакой другой континент не вырвал бы у нас подобные признания — впрочем, довольно вздорные и заведомо бесполезные. Мы могли бы сказать, что это объясняется недоверием и смущением, зная на собственном опыте былого активизма, насколько за попытками наложить руку на Маркса, пусть даже и для того, чтобы с ним посношаться, особенно для этого, вплотную надзирают параноики, называющие себя марксистскими политиками, да и вообще все белые левых убеждений. Так что осмотрительно предупредим: вот в каком состоянии духа, состоянии сердца, состоянии тела подступаем мы к Старцу.

Но либидинальная «истина» нашей преамбулы в другом. Она уже излагает суть, а суть эта в том, что для нас Старец является одновременно и юной женщиной, этакий странный двуполый расклад. Механизмы, канализирующие свои побуждения в теоретические дискурсы, те, что подготовят место для организаций власти, те же самые, что затвердеют в немецкую Партию, в Партию большевиков, механизмы эти очевидно «скомпрометированы», они являются также и попытками стабилизации сил на фронте либидо, посредничествами — о, до чего же, как он любил говорить, «отчужденными» — между потоками желаний и областями, куда они направлены. Это видно не только по некоторым темам или, на худой конец, «второстепенным» мотивам, кое-какие из которых мы еще поднимем, но и обнаруживается прежде всего

в поистине удивительном факте постоянного *переноса* завершения работы над «Капиталом», когда глава становится книгой, раздел — главой, параграф — разделом в процессе разрастания раковой опухоли теоретического дискурса; во всецело зависящем от влечений распространении сети понятий, в первую очередь призванном, напротив, «остановить», «определить» и оправдать политику пролетариата; в, стало быть, увлечении машинерией дискурса с откровенно, однако же, рациональными (теоретико-практическими) притязаниями. Не является ли *нон-финито* чертой рациональности теории? В нашу эпоху постотносительности ничто не мешает так полагать; но для Маркса (и, стало быть, нетерпеливого Энгельса!) это показалось бы смущающе странным.

На наш взгляд, в том откладывании, из-за которого «Экономика» так и осталась незавершенной¹, а выкладки книги III «Капитала» неверны², уже целиком проявляется некий механизм, либидинальное чудовище с огромной головой воинствующего и сварливого мыслителя и нежным телом влюбчивой рейнской барышни — чудовище, которое так и не сможет стать единым, будучи порождено этой неспособностью, и именно этот «провал» проявится в бесконечно затягивающейся заминке теории. Тут перед нами не в точности кентавр, учитель политиков, каким был для Ахиллеса Хирон; скорее уж гермафродит, другое чудовище, в котором неотличимо обмениваются женственность и мужественность и которое тем самым знаменует провал

1. Как показывает М. Рюбель в своем введении ко II тому «Сочинений» Маркса в серии «Плеяда».

2. Так гласит классическая критика Бёма-Баверка. См. P. Staffa, *Production de marchandises par des marchandises*, Dunod, 1970, и обсуждение этих положений в S. Latouche, *Epistémologie et économie*, Anthropos, 1973, pp. 539–551.

успокоительного *полового различия*. Но ведь именно о нем и стоит вопрос в «Экономике», и мы, дорогие товарищи, выдвигаем следующий тезис: малышка Маркс, смущенная извращенностью полиморфного тела капитала, домогается великой любви; великий прокурор Маркс, уполномоченный обвинить извращенцев и «обрести» подходящего любовника (пролетариат), берется изучать дело обвиняемого капиталиста.

Что происходит, когда обвинение поручено тому, кого обвиняемый в равной степени и возмущает, и очаровывает? А вот что: прокурор во все тяжкие пускается на поиск благовидных доводов, чтобы продолжить изучение дела; расследование становится тщательным, все более и более тщательным; законник, погрузившись в Британском музее в скрупулезный анализ аберраций капитала, уже не может от этого отрешиться; органическое единство, которое, как считается, должно (диалектически) производиться этим кишением извращенных потоков, не перестает отдаляться, от него ускользает, откладываясь, так что подача прошений заставляет себя до бесконечности ждать. И что же тогда происходит на протяжении тысяч рукописных страниц? Унифицировать тело Маркса, для чего во исполнение желания генитальной любви требуется умертвить полиморфную извращенность капитала, невозможно. Прокурору не удастся *вывести* возникновение нового и красивого (*не*) *органического тела* (схожего с телом докапиталистических форм), каким бы был социализм, исходя из порнографии капитализма. Если у капитала есть тело, то это тело *бесплодно*, оно ничего не порождает: унифицировать его теоретическому дискурсу не по зубам.

«Я не могу решиться что-нибудь отослать, — пишет Маркс торопящему его Энгельсу (31 июля 1865 года), — пока все в целом не будет лежать предо мной. Какие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них

есть то достоинство, что они представляют собою художественное целое; а этого можно достигнуть только при моем методе — не отдавать их в печать, пока они не будут лежать передо мной *целиком*. Но как раз сочинения никогда не составят то *зримое художественное целое*, моделью которого служит в свою очередь модель (не)органического тела — органического, поскольку это завершенная и плодовитая целостность, неорганического, поскольку оно не биологично, а в данном случае теоретично (та же унитарная модель, которая будет желанна и «признана» в докапиталистических формах или в социализме — на сей раз в социально-экономическом плане).

Юная целочка Маркс говорит: итак, я влюблена в любовь, нужно все это прекратить, все это промышленное, промысловое дерьмо, от этого я тоскую, я хочу вернуться к (не)органическому телу, — и уступает место огромному бородатому эрудиту, дабы тот разработал тезис, что *это не может не прекратиться*, и в качестве адвоката сих обездоленных (к числу которых принадлежит и она, малышка Маркс) представил свои революционные заключения; дабы стал акушером капитала; и в итоге дал ей, именно *ей*, то цельное *тело*, которое ей нужно, того ребенка, по крайней мере того ребенка на словах, который был бы предвещающим дубликатом (родившимся раньше младшим сыном) ребенка во плоти: пролетариата, социализма. Но увы, он ей его не дает. Перед ней так и не ляжет «художественное целое» сочинений «целиком». Перед ней и в ней будет нарастать страдание, потому что в самом своем расследовании, поскольку оно не имеет конца, ее прокурор обнаружит странное наслаждение: наслаждение, которое вытекает из инстанционирования и разрядки влечений в *откладывании*. Наслаждение бесконечностью. Эта «извращенность» знания как раз и называется (научным) исследовани-

ем, и интенсивность здесь, в отличие от «нормального» оргазма, отнюдь не та, что в разрядке, инстанцированной в генитальной паре, это интенсивность торможения, откладывания про запас, переноса и вложения средств. Так что прокурор, которому поручено привести доказательства порнографической подлости капитала, прямо в ходе расследования и подготовки к речи в суде повторяет все ту же «пролонгацию наслаждения» — если так угодно выразиться, — каковая является просто-напросто иной его, наслаждения, модальностью, обнаруживаемой в либидинальном механизме капитала. В то время как со стороны содержания он постоянно пребывает в поиске любезного, желанного ему-ей тела, в самой форме сего поиска уже содержится его опровержение и невозможность.

Вот почему попечение, которого может потребовать это тело и которое оно должно быть вправе получить, приводит парадоксального защитника обездоленных в дурное расположение духа. Когда в Лондон нахлынули беженцы-коммунары и Интернационал оказался всецело ими занят, в то время как в общем и целом на глазах у всего мира (и, похоже, автора Воззвания Генерального Совета Интернационала от 30 мая 1871 года) вдруг проявилось нечто наподобие подрывной «реальности» этого вроде бы взыскуемого пролетарски-социалистического тела, что нашел нужным написать Маркс 9 ноября того же года своему русскому переводчику Даниельсону? «Было бы бесполезно *дожидаться* переработки первой главы, ибо в последние месяцы я так занят (и в ближайшем будущем на этот счет мало надежды на улучшение), что никак не могу приняться за свои теоретические работы. Конечно, в один прекрасный день я положу конец всему этому, но бывают обстоятельства, когда чувство долга обязывает заниматься вещами, несравненно менее привлекательными (*things*

much less attractive), чем теоретические изыскания и исследования». Не очень-то привлекательно, говорит двусмысленный прокурор, это ваше прекрасное пролетарское тело, присмотримся еще немного к гнусной проституции капитала...

Но, скажете вы, это затормаживание теоретической разработки капитала — ни на секунду не удовольствие в смысле безопасности, безответственности, это, напротив, результат либидинального рынка, это цена, которую желание влюбленной в умиротворенное тело девицы Маркс заставляет платить головастого Маркса, обвинителя раздробленности социального тела: а! ты мечтаешь о не знающем господства объединении людей и вещей, людей меж собой, мужчин и женщин! Ну так покажи обоснованность мечты, продемонстрируй, что об этом мечтает и сама реальность. Иными словами: *плати и ты*, плати произведенными словами, взаимосвязями, упорядоченными доказательствами, без конца плати. Разве не сказал он по существу еще на подступах к своим сочинениям, еще в 1844 году: пролетариат это Христос, и его нынешние страдания — цена его искупления, именно поэтому-то и недостаточно, чтобы над ним была учинена какая-то частная несправедливость, со стороны лавочника, из-за плачевного ограничения уровня его прибыли, например, — нет, для его искупления нужна всеобъемлющая боль, всесторонняя, стало быть, несправедливость, и таким будет раз и навсегда пролетариат для Маркса, и таким раз и навсегда будет Маркс для пролетариата, нужного желанию за именем Маркс: Христос-пролетариат и Маркс его мученик-свидетель? А *теоретический* дискурс — его крест, его пытка?

Конечно, можно изложить все и так, при помощи религиозной метафоры. Но она упускает существенное, поскольку предполагает как раз то, что в желании Маркса оказывается под вопросом, она предпола-

гает для жертвы то *стандартное тело* — тело капитала для мученичества пролетариата, тело пролетариата для мученичества Маркса, — за неимением коего жертвоприношение и мученичество развеиваются как дым и остаются всего лишь фантазмами виновности. Иначе говоря, метафора жертвы либидинально не нейтральна, экономически не правильна, она «правильна» топически, она требует некоего принципа (пусть и воображаемого, ей все равно понадобится его «символическая» опора) унификации и регистрации, по отношению к которому страдание и удовольствие, в данном случае — от изысканий Маркса, могли бы быть сочтены, подсчитаны. А если инспекции Маркса в результате недостает именно этой отсылочной инстанции, этого тела Отношения, тела, способного представить отчет? Если нескончаемо затягивало изыскания не, как не преминет заявить «психоаналитическая» или «ницшеанская» пошлость, «мазохистское» желание или «нечистая совесть» Карла Маркса, а головокружение от ужасного (постоянно скрываемого) открытия: вести счета страдания и наслаждения просто *некому* — и в этом тоже господство денег-капитала?

Если мы ограничимся «критикой» (каковая, конечно же, стремится быть *не-критикой*) того, что приходит в расклад желания за именем Маркс, обычно именуемого *воинствующим*³, от *виновности* или от *озлобленности*, то по сути дела останемся в рамках *религиозной метафоры*, просто заменив религиозную метафору *нерелигиозной*, то есть по-прежнему религиозной, в которой вновь задействованы суждения причастности добру и злу по отношению уже к «но-

3. См. текст Ф. Фурке: F. Fourquet «Généalogie du Capital II — L'Idéal historique», *Recherches*, 14, Revue de C.E.R.F.I., janv. 1974, в частности главу IV.

вому» богу, каковым станет желание: благим станет движение, дурным — вложение; благим действие как инновация и потенция события, дурным — противодействие, вновь повторяющее тождественность. И как нам тогда описать либидинальный механизм «Маркс» или «воинствующий»? Мы увидим в нем страсть к искуплению и озлобленность. Всякое переворачивание (не только «первых» в «последние», но и господствующих в равных), которое составляет фигуру революции, включает, скажем мы, намерение (заставить) заплатить некую цену. Если Маркс готов объявить себя адвокатом пролетариев и выступить с обвинительной речью против их эксплуататоров, если может заявить последним: вот почему именно вы заплатите цену, то, добавим, лишь при условии, что он засвидетельствовал страдание, искупление и озлобление на своем собственном теле, что сам страдает и платит. Не таковы ли, в сфере озлобленности, закон, который дает *право на желание революции*: воинствующий активист должен организовать свое собственное тело в чудовищное сочетание, чтобы женщина-пролетариат получила от мужчины-обвинителя самую долгую, самую полную боль, чтобы все революционное озлобление разыгрывалось между малышкой Маркс и Марксом-Старцем на его теле?

Отнюдь не собираясь отместить подобной критикой то, что мы ненавидим, религию, озлобленность, виновность и нравоучения, мы всего-то поменяем знаки; Маркс хочет (не)органическое тело, его желание подчиняет его генитальной модели? Мы хотим шизофреническую модель и ненадежное тело. Маркс хочет заставить платить? Мы хотим общей бесплатности. Маркс обвиняет? Мы снимаем обвинение. Маркс-пролетариат страдает и предъявляет требования? Мы радостно любим все, что случается. И т. д. Новая мораль, новая религия, то есть на самом деле очень старая

этика, сама по себе весьма «противодейственная», поскольку партия движения и существования всегда существовала *в лоне* религий, по крайней мере тех, что черпают свое влияние из откровения, дабы действовать как противоядие в вере и ее *аппаратах* всякий раз, когда ее противница, партия порядка и структуры, приедалась верующим и даже служителям культа. Так хотим ли мы быть просто-напросто спасителями обанкротившегося мира, сердцем бессердечного мира, пророками (жестокими, жестокими, так запрограммировано) бессловесного человечества? Привносим ли мы тем самым новые *ценности*? Изобличая воинствующую озлобленность, мы просто-напросто *подчеркиваем ценность особого рода либидинального механизма*, в самом деле восхитительной вязкости потоков, беспрестанно расправляющих и сглаживающих великую либидинальную пленку; мы утверждаем его *исключительную ценность*: исключительную ценность, называемую истиной. Итак, мы утверждаем: шизовое желание — вот в чем истина! В чем же механизм *нашего утверждения* впредь отличен от того, посредством которого некогда утверждались стародавние формулировки (истина? — это любовь; истина? — это отказ; истина? это — познание; истина? — это социализм)? Не заключалось ли то, что было в них от противодействия, в их *власти исключать*? Не станем ли исключать и мы, мы тоже? Что за убожество!

Нет, не так нужно описывать, *всего-навсего описывать*, либидинальный механизм за именем Маркс; не как *эффект* озлобления. Никогда ничего не описывать как эффект — таким могло бы быть наше правило, — а только как *способное на эффект*. Ну а в нескончаемом перенесении заключительной части революционной обвинительной речи у Маркса присутствует определенная сила эффекта; теоретический дискурс перестает подавать себя согласно своему за-

вершению прямо тогда, когда его *ищет*. То, что Маркс воспринимает как провал, страдание (и при случае переживает с озлобленностью), — это клеймо, оставленное на его сочинении ситуацией, которая в точности совпадает с ситуацией капитала и приводит в равной степени к странному успеху и к ужасной неудаче: сочинение не может *обрести тело*, как не может обрести тело и капитал. И это отсутствие органического «художественного» единства приводит к двум расходящимся и все время складывающимся в единое головокружение движениям: к движению бегства, погружения в бес-телесность, продолжающегося, стало быть, изобретения, экспансивных прибавлений или утверждений новых фрагментов (высказываний, но в ином месте музыки, техники, этики) в безумной чересполосице — движению *напряжения*. И к движению основания организма, организации и органов суммирования и упорядочивания — движению рассудка. Здесь в наличии оба вида движения, потенциальные эффекты *нон-финито* как сочинения, так и капитализма⁴.

Вместо того чтобы видеть в нем эффект мазохизма или виновности, «отставание» Маркса от своей книги (оно же является и «опережением», во всяком случае, временной несостыковкой) следовало бы сравнить с запаздыванием, используемым Стерном в качестве мотива в «Тристраме Шенди». В обоих случаях затронута следующая конфигурация: чтобы сфабриковать некий дискурс, будь то повествовательный или теоретический, который подразумевает новую, неслышанную доселе организацию пространства и времени, писатель (повествователь, теоретик) использует пространство и время. У Стерна такое использование

4. Здесь мы сталкиваемся с находками, сделанными Патрисом Лоро в ходе пока еще не завершенных исследований.

(или такой износ) вписывается прямо в повествование и его пожирает: место и длительность, занимаемые «нарративным актом», исподволь заполняют место и длительность, которые полагалось бы уделить рассказу истории, делая этот рассказ невозможным или, по меньшей мере, превращая его в рассказ об этом захвате и этой невозможности. У Маркса воздействие «акта разработки» на пространство-время теоретического дискурса не отмечено в этом последнем явно, и конечная невозможность укротить в дискурсе (который здесь уже теоретичен, а не повествователен, но тем не менее отсылает к взятой в качестве точки отсчета предполагаемой «истории») длительность и место не приводит к безнадежному юмору Стерна, к какому бы то ни было стилю. У Маркса выражение этой безнадежности остается вытесненным, блокированным и скрытым между его деятельностью по выделке окончательных и неоспоримых высказываний и других, даже не утвердительных, высказываний, которые он публикует в другом тексте, тексте признаний, писем, оставленных или отвергнутых рукописей, читательских заметок, предварительных набросков. Но эта безнадежность как бы там ни было дает место теоретическому торможению, открывает пустоту его «Подождите, пока я не кончу».

Эта пустота — пустота посредника, отчуждающая, если говорить на языке Маркса, субъект (Маркс, Стерн) и объект (книга); это пустота замедления, которое препровождает желание от его первичного объекта к *средствам* его достижения; это пустота капитала, который любит не произведенный продукт, а производство, и для которого продукт — всего лишь средство к производству; это пустота «коммунистической» партии, которая любит не революцию, а средства, *позволяющие* ее совершить, и в руках которой революция — не более чем предлог для аппарата, превра-

щающего в капитал желание революции. Итак, эта пустота — пустота, в которой конструируются аппараты власти; но *она же* и податливая вязкость капитализма как крупниц тела, как подключенных-отключенных единичностей, как амнезия, анаксия и анархия, как клоунада, как метаморфозы без регистрации, как провал целостностей и оцелокупливаний, как сиюминутные соединения непредвиденных утверждений.

Не бывает подрывных областей

ПОВТОРИМ, повторим еще и еще раз, мы не собираемся заниматься критикой Маркса, си-
речь теорией его теории: придерживаться ра-
мок теоретического. Нет, нужно показать, какие ин-
тенсивности обретаются в теоретических знаках, какие
аффекты в серьезном дискурсе; нужно выкрасть у него
его аффекты. Сила Маркса отнюдь не во власти его
дискурса, она ей даже и не обратно пропорциональна,
такая комбинация была бы несколько диалектичной;
нет, его сила прорывается то тут, то там, вне зависимо-
сти от обоснованности аргументации, подчас в забы-
той детали, подчас прямо посреди солидного аппарата
четко артикулированных и состыкованных понятий —
но, очевидно, всегда в умственных знаках. Чем была бы
критика Маркса (не говоря о том, что таковых и без
того уйма)? Ей неизбежно пришлось бы заявить: о, он
не избыл отчуждения, о, он обнародовал символиче-
ское (тут чистый Бодрийяр), о, он все еще религио-
зен (это скорее про нас), о, он так и остался эконо-
мистом (так было у Касториадиса). Ну да, он, очевидно,
остался таким-то, забыл то-то, все еще таков, — а кри-
тик, как полагает, таким *больше не* является, он это *пре-
возмо*. Так вот, мы ничего не превосходим и нам не-
чего превосходить, мы не карабкаемся здесь на спину
Марксу, как «какой-нибудь вооружённый двойными
очками лилипут, взгромоздясь на закорки великана
[в данном случае Аристотеля], с удивлением возвещает
миру, какой поразительно новый горизонт открывает-

ся с его *punctum visum**, и делает смешные усилия доказать, что не в бурных порывах сердца, а в той плотной, массивной основе, на которой он стоит, найдена точка Архимеда, на которой держится мир», — как писала малышка Маркс, Алиса, в примечаниях к своей докторской диссертации¹.

Конечно же, он оставался *религиозным*. Но чего мы изволим желать? Подлинного атеизма? Да нет же! Чего-то по ту сторону религии и атеизма, чего-то вроде римской пародии, и, следовательно, мы не будем ни в коей мере довольны, «показав», что политика и политэкономия Маркса исполнены религиозности, примирения и надежды, — хотя и вынуждены так поступить и просто уклониться от подобного рода ученого дискурса невозможно. Однако мы отлично знаем, что этот дискурс артикулируется так, чтобы не дать проявиться ничему из приводящих к нему эмоций, и, следовательно, по самому своему положению успокаивает — или позволяет выйти наружу разве что толике тревоги, единственному благородному в своем проявлении аффекту, но никак не любви, не гневу, не растерянному изумлению. Мы были бы довольны, если бы смогли перевписать интенсивности, которые неотвязно преследуют мысль Маркса и вообще-то скрыты в серьезном совмещении дискурсов экономики и политики, в некий либидинальный дискурс. И тем самым показать, начать на нем показывать, как политическая экономика *оказывается* экономикой либидинальной.

Итак, очень далеко и совсем близко от того, что делает Бодрийяр², и для нас это замечательная возмож-

1. M. E. W., Ergänzung Band I, *Anmerkungen zur Doktordissertation*, p. 331.

2. В «Зеркале производства» (*Le Miroir de la production*, Casterman, 1973). Но, конечно, уже и в «К критике политэкономии знака» (*Pour une critique de l'économie politique du signe*, Gallimard, 1972).

* точка зрения (лат.).

ность отчасти в этом разобраться, поскольку у Бодрийяра есть *движение*, с которым мы, как нам кажется, синхронизированы и сополяризованы. Совсем близко: вам достаточно его прочесть. Далеко, поскольку, на наш взгляд, подход сего собрата по-прежнему отягчен бременем гипотетичности, теоретичности и критичности. Нет ничего зазорного в разоблачении в формулах, которые мы с удовольствием скрепляем своей подписью, критического как империализма и теоретического как расизма. Но каким бы прекрасным и праведным ни был его гнев, он все еще метит в *истинность*, он упрекает политэкономия, в том числе — и особенно — марксистскую, поскольку от нее ждали в точности обратного, в том, что она остается в сфере производства, стоимости, труда и тем самым кое-что *забывает*, вытесняет или, скорее, в своего рода извращении, ранее охарактеризованном Бодрийяром как фетишистское, отвергает отношение между личностями, которое не подчиняется рассмотрению продукта, а целиком вызвано символическим обменом, целиком направлено на *исчерпание* либидинальных ресурсов любви и смерти в отдаче-получении, стремящемся любой ценой, не заботясь о сохранении благ, не заботясь о власти, оживить *силу*. Таким образом получается, что политэкономия началась некогда в истории человечества, во всяком случае вместе с определенного рода социальным механизмом, отнюдь не будучи универсальной истиной любого общества, не проявляясь — филигранью, в зародыше — в архаических обществах, она в них как бы просто отсутствовала, оказалась ретроактивной проекцией капиталистического распорядка на символические обмены, совершенно не считающиеся ни с выгодой, оценивая лишь в соответствии со страстью, ни с эквивалентностью, демонстрируя только амбивалентность.

На то, чтобы сходу отместить мелкие ухищрения «детерминанты» и «доминанты»³, тот глубоко логоцентрический взгляд, согласно которому греки, само собой, не ведали о труде, но все же сами того не зная, трудились и в конце концов этому выучились, пусть уже под именем не греков, а римлян или англичан, мы говорим: ну и отлично, и мы движемся форсированным маршем в том же направлении, пребывая в уверенности, что вместе с бастионами семиологии надо повсюду разрушить и бастионы пресловутой экономической рациональности. Но, как и в случае семиологии, мы не хотим попасть здесь в ловушку, расставляемую сей рациональностью в тот самый момент, когда ее побеждают. Ловушка состоит просто-напросто в том, чтобы *ответить на просьбу побежденной теории*, а именно: поставьте что-нибудь на мое место. Но важно-то именно место, а не содержание теории. И победить надо *место* теории. А произойти это может лишь путем смещения и уклонения. Не имеет никакого смысла заявлять: нет никакой истории, если ты при этом *замещаешь* линейную историю этапов развития человечества, каким его представляет себе исторический материализм, некоей историей или даже одновременностью прерывистых форм, отражающих социальные формации с их внешними и внутренними различиями. Не имеет никакого смысла заявлять: нет никакой универсальной политической экономии, если ты добавляешь к этому: *истина* социальных отношений — это символический обмен в его двойственности, только такой обмен воздает должное эротической и смертельной мощи желания. Тем паче, что мы

3. По Годелье, или по Пуланзасу (*Pouvoir politique et conscience de classe*), который тоже вполне мог бы навлечь на себя гнев Бодрийяра. Пуланзас был предметом наших штудий пару-другую лет назад.

достаточно изощрены — и некогда Бодрийяр представил прекрасное введение в эти материи в своей статье о фетишизме, — чтобы признать, что *и в основе капитализма тоже лежит* желание, что он, стало быть, в некотором роде имеет на оное право, что он не означает небытия либидо, даже если допускает в своем вложении свойственный обращению в небытие эффект (эффект двойственности). Но стоит признать принадлежность капитала строю желания, стоит оговорить отмечающее его «извращение», как мы снова попадаем в рамки теории и оценки: «И, следуя тому же революционному движению, что и у Маркса, мы говорим, что нужно перейти в радикально отличную плоскость, которая, перешагнув через ее критику, может окончательно разрешить политическую экономию. Таков уровень символического обмена и его теории»⁴.

Вы говорите, что политэкономия покоится на недооценке желания? Нет, на отвержении кастрации, отвечает Бодрийяр. Но что это за кастрация, что за отвержение? отмечено ли желание кастрацией и упорядочивает ли она его, как *негатив* Соссюра, лежащий в основе *языка*? Странная игра в прятки между нами: эта кастрация, этот негатив, то, что мы называем здесь великим Нулем, отнюдь не признавая в нем строй желания, каковое есть движения энергий, для нас это строй капитала в самом широком смысле слова, строй теологии, которая капитализирует аффекты на инстанции Другого, *одной* фигуры желания. И именно о нашей либидинальной экономике Бодрийяр был бы вправе заявить, что она исключает кастрацию и, следовательно, желание. Утверждаем ли мы обратное? Отнюдь. Давайте уточним. Когда Бодрийяр говорит: «В примитивных обществах *нет ни способа производства, ни производства*; в примитивных обществах *нет диалек-*

4. *Le Miroir de la production*, p. 38.

тики; в примитивных обществах *нет бессознательного*⁵, мы скажем: нет самих примитивных обществ.

Для начала, методологически (да уж...) это общество дара и отдаривания играет в мысли Бодрийяра роль отсылки (само собой, утерянной), алиби (необнаружимого) для его критики капитала. Бодрийяр не желает слышать о природе и природности⁶. Как же он не видит, что вся проблематика дара, символического обмена, какою он получил ее от Мосса, приняв или отвергнув добавления и отклонения Батая, Кайуа, Лакана, целиком и полностью принадлежит западному империализму и расизму, — что вместе с этой концепцией он унаследовал у этнологии и представление о добром, разве что чуть-чуть либидинализированном дикаре? Здесь не мешало бы сделать отступление, рассмотреть критику, которой Бодрийяр подвергает представление о природе, опровергнуть предлагаемую им дихотомию между «хорошей природой», той, что позволяет себя «цивилизовать», то есть господствовать и эксплуатировать, и «плохой природой», непокорной бунтовщицей. В свойственной ему запальчивости против материализма производственных сил и отношений, каковой действительно требует такого разграничения, он забывает, что в политической, а значит также и в социологической и этнологической, мысли Запада постоянно, со времен по меньшей мере платоновского «Тимея», отправляющегося на поиски хранителей атлантической утопии к самым что ни на есть древним египетским «дикарям», и заведомо в социально-экономической мысли Маркса присутствует совершенно противоположная отсылка к *хорошей непокорной природе*, к природе, которая хороша из-за своей непокорности, хороша, поскольку остается

5. *Ibid.*, p. 38 (подчеркнуто в тексте).

6. *Ibid.*, chap. II.

ся снаружи, природе *забытой*, исключенной. Целиком вся этнология, как Леви-Стросса, так и Жолена, истекает из этой фантазии (а та, в свою очередь, — всего лишь частный случай в ряду других свойственных Западу *переходов к представлению*, происходящих от его логофилии). Мы покажем это у Маркса, — не для того чтобы кого-то в чем-то убедить, а скорее ради своего рода удовольствия, из симпатии к нему как юной женщине, которая мечтает о примирении и верит, что оно где-то когда-то имело место и что они, она и ее возлюбленный, пролетариат, оказались его лишены. Покажем, что, рассуждая о древнем труженике, этот исполненный женственности Маркс расставляет акценты, в общем и целом весьма близкие Бодрийяру, когда тот обкатывает свой миф о символическом обмене.

Ибо любой, кто не хочет признать, что политэкономия либидинальна, воспроизводит в других словах все ту же фантазию о вынесенной вовне области, где желание способно укрыться от любого предательского переложения в производство, труд и закон стоимости. Фантазию о неотчужденной области. Прodelать заново движение Маркса, даже выводя его на позиции желания, методологически означает возобновить религию; так что есть что-то чуть ли не трагическое в том, как Бодрийяр пародирует знаменитое высказывание от 1843 года: «Для Германии критика религии по существу окончена», когда пишет: «Критика политэкономии по существу окончена». Ибо в тексте 1843 года, который имеет в виду *начать нечто иное*, политику, которая не была бы философской, то есть религиозной, Маркс не может скрыть свою очень даже религиозную любовь к потерянной единственности людей друг с другом и с природой: в частности, именно там обнаруживает себя его столь родственное Руссо желание возврата, сплетая нити абсолютно христианского сценария о муках пролетариата как жертвенническом

эпизоде, предваряющем конечное спасение: «надо образовать класс, скованный радикальными цепями, такой класс гражданского общества, который не есть класс гражданского общества; такого сословия, которое являет собой разложение всех сословий (...), такой сферы, которая представляет собой полную утрату человека и, следовательно, может возродить себя только путем полного возрождения человека»⁷.

Я не говорю, что у Бодрийера присутствует тот же самый сценарий, отнюдь; но непременно присутствует воспроизведение того, что лежит в его основе и чего требовало желание Маркса («надо...»), присутствует область, которая не входит в общество, но в нем пребывает: «Поколения помещены или оставлены вне замкнутой цепи, *off limits**, самым развитием производственных сил»; и об этом формировании сегодняшних маргиналов будет сказано, совсем как Маркс говорил о формировании вчерашних пролетариев: «Из этого рождаются новые противоречия»⁸. В очередной раз в наши намерения не входит сводить одно к другому, и мы ни на мгновение не перестаем любить и раздувать гнев антиэкономиста. Впрочем, он не забывает показать, что эти противоречия ни в коей мере не «диалектичны», и противопоставить претензиям, являющимся всего-навсего элементами игры, в которую капитал играет сам с собою, подрывную деятельность, которая уже не входит в строй политэкономии. У Бодрийера нет диалектики, и все потому, что *подрывная отсылка*, хороший дикарь или хороший хиппи, на его взгляд, в современном обществе присутствует *позитивно*, а не *негативно*, как представлял себе

7. «К критике гегелевской философии права», 1843.

8. *Le Miroir de la production*, p. 113.

* вход воспрещен, без допуска (амер.).

Маркс в случае пролетариата. Маргиналы суть либидинальные утверждения, пролетарии были отрицаниями отрицания в перипле и снятии. Мы просто боимся последствий этого, сей мелкой детали, «методологического» нюанса: утвердительное размечено как *область*. Ибо каждая область служит волостью для власти и правления, для знака и аппарата, а значит, если ты связал с ней свои надежды, то заведомо отчаешься. Быть может, как политики *мы ныне и при-сно желаем отчаяться?*..

Любая политэкономия либидинальна

В ОТ ПЕРВОЕ, что заставляет нас сказать: нет никакого примитивного общества, иначе говоря: нет никакой внешней точки отсчета, пусть даже и имманентной, отправляясь от которой всегда можно было бы четко разграничить, что относится к капиталу (к политической экономии), а что — к подрыву (к либидинальной экономике); где бы четко прочитывалось желание, где бы не была запутанной его *собственная экономика*. И надо четко уяснить: «запутанная» не означает «противоречивая», запятнанная чуждой инстанцией, дурная. Все это просто соотносится с проблематикой отчуждения и, дабы сослаться на другого собрата, все еще принадлежит в «Анти-Эдипе» мысли о заблуждении или о злокозненности. «Запутанная» означает, что экономику желания точно не определить даже как двойственность — не только потому, что она есть Эрос и влечение к смерти, но и потому, что эффекты двух этих инстанций, как уже было сказано, не поддаются точному определению. Запутанная, стало быть, сама по себе и в себе, не пересекаемая другим строем, политической экономией, и от него отчужденная. Стоит только уклониться от критического отношения, и уже *нет никакого отчуждения*. В капиталистическом обмене столько же либидинальной интенсивности, как и в предполагаемом обмене «символическом». И это второе, что уже в более вызывающем или утвердительном стиле надо прогово-

рить в качестве толкования к нашему «нет никакого примитивного общества».

Не только: нет никакой другой «местной» отсылки, но и: капитализм — *это к тому же и* примитивное общество, или: примитивное общество — *это к тому же и* капитализм. Первым делом касательно последнего высказывания: конечно, дикари не превращают блага в капитал; но кому не видно, что по меньшей мере меркантильная инстанция великого Нуля как раз позволяет и даже требует *тщательно уравновесить аффективные приходы и расходы* (в форме родственников и речей, животных, жизней, полов), парит над этими обществами, заставляет их себя поддерживать? Возьмем этнологические описания, которые вы могли бы выдвинуть против нас в качестве озадачивающих контрпримеров; наобум: безумные колдуньи, с которыми Мишель Лейрис общался в Гондэре¹, ужасающее убийство, лук, повешенный Жакуги на протяжении трех ночей на затылок девушки, которая должна погибнуть, возведенное, восславленное неусыпным пением убийство, так замечательно описанное Пьером Кластром². Безусловно, и там и здесь — предельные интенсивности и к тому же двойственность: вот самое малое, что можно сказать. Но существенно даже не это, не сама возможность любви и преступной ненависти индейца-охотника по отношению к своей соотечественнице, не оргазмическая и смертоносная экзальтация женщин, загрязненных кровью жертвенных животных; существенно, что эти неоспоримые интенсивности *прочитываются также* в терминах порядка и даже возвращения к порядку, что напряжения, которые внезапно вписываются на краю или в центре социальной поверхности, составляют ее полновесную

1. *L'Afrique fantôme*, Gallimard, 1934, pp. 342–475.

2. *Chronique des Indiens Guayaki*, Plon, 1972, pp. 252–261.

часть в том смысле, что ни в коей мере ее не подрывают, а буквально составляют и, стало быть, обращаются в ней как меновые, умственные знаки. Ладно, с этим Бодрийяр несомненно примирился бы, если бы речь зашла об обществах дара и, как сказал бы он, отдаривания. Ну хорошо, тогда ему надо принять и то, что «символический обмен» это также и обмен в смысле политической экономии.

Но опробуем теперь и второе предложение и посмотрим, что из него вытекает: подобное *сокрытие* интенсивностей в стоимостях и стоимостей в интенсивностях ничуть не менее распространено и в капиталистическом обществе. Как имеется порядок капитализации дикарей (каковой и *дозволяет* империализм Леви-Стросса, но какой империализм не *дозволяется* поручителем порядка, желанием выравнивания, действующими во, в свою очередь, доминируемом обществе?), точно так же имеются и силы, блуждающие в знаках капитала. Не в его *маргиналиях* и *маргиналах*, а сокрытыми в его самых что ни на есть «ядерных», самых существенных, самых «отчужденных» или «фетишизированных» на взгляд Бодрийяра обменах. Если мы не признаем этого, то лет через десять нам придется взяться за некую новую критику, критику «критики политической экономии знака». Но чрезвычайно трудно распознать *желание капитала*, каким оно может инстанцироваться тут и там; в работе, например, в жутком и обыденном смысле *службы*, для которой у нас, у самого работника не хватает сегодня слов неуважения и презрения; или на *предмете*, том самом предмете, чью *силу* нам помогла уловить через его власть как раз зачарованность им Бодрийяра: не благоприятствует ли фетишизм интенсивностям? Не свидетельствует ли он о восхитительной силе изобретения, добавления к либидинальной ленте, силе самых что ни на есть невероятных обстоя-

тельств? С каких позиций станете вы *критиковать* фетишизм, когда знаете, что невозможно критиковать гомосексуализм или мазохизм, не став в моральном плане заурядным подонком? Или еще вложение капитала во *время*, это странное оставление про запас и наравне с этим совершаемый заранее расход либидинальных интенсивностей, включенный в банковскую и денежную систему; попробуем проанализировать все это позднее. Или, того проще, вложение в *систему* как такая, вообще говоря, черта, из-за которой великий физик вроде Гелл-Мана начинает сотрудничать с каким-нибудь Уэстморлендом, жалким «научным» преступником войны во Вьетнаме, черта решающего и наверняка не исключающего других соответствия между наукой и капиталом. Ну да, вложение в систему, в стоимость, в устройство фрагментов либидинальной ленты в терминах, обретающих значение лишь через «отличие» и отсылку, и в установление *законов* этой отсылки — то есть неистовое вложение в *связь* и ее подругу нехватку («Наркоту же не просишь, чтобы не было ломки: ведь нехватка — меньше не хуже других»³) — в смысле фрейдовской либидинальной экономики, в смысле «Метапсихологии» и «Я и Оно», — разве это не может послужить поводом для головокружительных интенсивностей? Разве самые артистические изобретения Эйнштейна не были движимы *тоже* этим желанием, этим убеждением, что Бог, как он говорил, заведомо не играет в кости? И что же при этом *проигрывается*? Ровным счетом ничего.

Но, собираетесь вы сказать, все это готовит почву для власти и господства, для эксплуатации и даже истребления. Совершенно верно; но то же относит-

3. Sophie Podolski, *Le pays où tout est permis*, 1973, Pierre Belfond, p. 104.

ся и к мазохизму; но странная телесная договоренность подсобного рабочего с его службой и его машиной, которая так часто наводит на мысль о механизме истерии, тоже способна произвести истребление населения: посмотрите на английских пролетариев, на то, что сделал с их телами капитал, то есть *их труд*. Но вы собираетесь сказать мне на это: а что им оставалось? либо так, либо умереть. Но *всегда либо так, либо умереть*, таков закон либидинальной экономики, нет, не закон: таково определение — предварительное, совсем предварительное, в виде крика — интенсивностей желания, так или умереть, то есть так — и от этого умереть, в этом «так» всегда смерть, как его внутренняя корка, тонюсенькая кожа орешка, пока еще не как его *цена*, напротив, как то, что делает это «так» неоплатным. И вы, чего доброго, думаете, что это *альтернатива*, так или умереть. И что если *так* и делают, если становятся рабом своей машины, машиной машины, сношаются с машиной, которая сношает тебя по восемь часов в день, а век тому назад все двенадцать часов, то из-за того, что к этому понуждаемы, потому, что цепляются за жизнь? Смерть не есть альтернатива этому *так*, она составляет его часть, она свидетельствует, что тут не обходится без наслаждения, английские безработные стали рабочими не для того, чтобы выжить, они — покрепче упритесь, чтобы в меня плюнуть, — *наслаждались* истерическим, мазохистским, не знаю, каким еще изнурением, *оставаясь* в шахтах, литейных цехах, в мастерских, в аду, они безумно наслаждались безумным разрушением своего органического тела, каковое было им, конечно же, навязано, они наслаждались тем, что оно им было навязано, они наслаждались распадом своей личной идентичности, идентичности, созданной их крестьянскими традициями, наслаждались распадом семей и деревень, наслаждались новой чудовищ-

ной *анонимностью* пригородов и утренних и вечерних пивных.

И примем, наконец, такое наслаждение, оно подобно, как позже четко увидит малышка Маркс, по всем пунктам подобно наслаждению проституцией, наслаждению анонимностью, наслаждению *повторением того же* на службе, тех же жестов, выхода на рабочее место и ухода с него: сколько палок в час, сколько тонн угля, сколько отлитых слитков, сколько бочек спермы, не «произведены», конечно же, а *претерплены*, *одни и те же части тела* приспособлены, использованы при полном исключении других и, подобно вагине и рту проститутки, из-за использования истерически *обесчувствлены*, как ухо того рабочего, которого описывает и анализирует Томатис: рядом с генератором переменного тока в 20 000 герц он пишет свои письма и слышит самые тихие шумы; сделав же ему аудиограмму, Томатис констатирует, что звуковой диапазон, соответствующий работе генератора переменного тока в 20 000 герц, нейтрализован, *глух*. Итак, истерическая трактовка частицы слухового тела, шлюшьи услуги, либидинальное использование, требуемое, само собой, «условиями труда», — но это условия труда проститутки. Вы, конечно же, поняли, что мы говорим все это безо всякого осуждения, безо всякого сожаления, напротив, открывая, что здесь была заложена, а может и еще остается, необыкновенная, скрыт(н)ая сила труженика, сила сопротивления, сила наслаждения в безумной истерике условий труда, которые социологи окрестили *частичными*, не видя при этом того, что эти частицы *в качестве частиц* могут передавать либидинальные интенсивности.

Как нам и дальше говорить об отчуждении, когда любому, кто «имеет» опыт (а чаще всего он не может собственно *иметь*), поскольку этот опыт слывет постыдным, а главное, им скорее *являешься*, нежели

его *имеешь*) капиталистического, даже самого глупого, труда, совершенно ясно, что он может обрести наслаждение и странную интенсивность, извращенную? как знать... — когда совершенно ясно, что никакая «продуктивная», или «художественная», или «поэтическая» метаморфоза никогда не совершалась и не совершится единым и совокупным органическим телом, но всякий раз становилась возможной только ценой его мнимого распада и, стало быть, определенной глупости; когда ясно, что такого *распада* никогда не было и даже никогда не будет по той простой причине, что никогда не было и не будет такого сосредоточившего в себе свое единство и свою идентичность тела, что это тело — фантазия, сама по себе довольно-таки либидинальная, эротическая и гигиеническая = греческая, или эротическая и сверхъестественная = христианская, и что именно по отношению к этой фантазии любое отчуждение осмыслено и *прочувствовано* в смысле горького припоминания — чувства, которое в форме желания возврата вызывает великий Нуль. Но тело примитивных дикарей ничуть не цельнее тела шотландских шахтеров прошлого века, цельного тела не бывает.

Поймем наконец также, что такое наслаждение — я говорю о наслаждении пролетариев — ни в коем случае не исключает самых что ни на есть суровых и интенсивных *восстаний*. Наслаждение *невыносимо*. Рабочие будут восставать, ломать машины, запирают начальников, гнать в шею посредников, в колониях будут сжигать дворцы наместников и перерезать глотки стражникам отнюдь не для того, чтобы отвоевать свое достоинство, нет, тут совсем другое, достоинство тут ни при чем; обо всем этом в отношении Алжира замечательно написал Гийота⁴. Какие-то

4. *Tombeau pour 500000 soldats*, Gallimard, 1967.

либидинальные позиции можно удержать, какие-то нет, какие-то обложенные со всех сторон позиции враз лишаются всех приложений, и энергии переходят на другие фрагменты великого пазла, обнаруживают новые фрагменты и новые модальности наслаждения, то есть интенсификации. Нет ни либидинального достоинства, ни либидинальной свободы, ни либидинального братства, есть либидинальные контакты без сообщения (за отсутствием «послания»). Вот почему между индивидами, участвующими в одной и той же борьбе, даже если они занимают одно и то же место в обществе и экономике, может существовать самое глубокое непонимание. Если один алжирец сражался четыре года среди партизан или несколько месяцев в городском подполье, то потому, что его желание стало желанием убить, не убить вообще, убить некую обложенную, не сомневайтесь, *все еще обложенную* часть областей своего восприятия. Убить своего французского господина? Куда больше: убить себя как услужливого лакея этого господина, высвободить область своего проституированного согласия, искать *другие* наслаждения, избрав моделью, то есть в качестве преобладающей модальности вложения, уже не проституцию. Однако инстанцируясь в убийстве, его желание, быть может, все еще оставалось включенным в *карательные* отношения, от которых он хотел отказаться, быть может, это убийство было еще и самоубийством, карой, запрошенной сутенером ценой и раболопием. Но по случаю той же самой борьбы за независимость, другой алжирец, «умеренный», а то и центрист, решившись на компромисс и переговоры, изыскивал совершенно иные установки к наслаждению, исключал подобную смерть из своих исходных посылок, включал расчет, питая уже презрение к телам и словесную экзальтацию, которой требуют переговоры, то есть опять же его собственная

смерть, но как плоти вообще, а не как проституируемого тела, очень даже приемлемая для говорливого Запада смерть. И т. д.

Но эти расхождения, определяемые неоднородностями вложения эротических и смертоносных потоков, мы, очевидно, вновь обнаружим в рамках какого угодно социального «движения», даже самого незначительного, на уровне мастерской, или широкого, охватывающего целую страну или континент. Но заметим, что вне моментов открытого восстания эти единичные наслаждения, истерическое, например, или то, которое мы назвали бы «потенциальным», такое родственное современной научности, или еще то, посредством которого «тело» оказывается помещено в место расширенного воспроизводства капитала, где оно целиком подчиняется подсчету удерживаемого и авансируемого времени — так вот все эти инстанцирования (здесь лишь грубо намеченные), даже когда капиталистическая машина урчит себе среди очевидной всеобщей скуки и каждый, похоже, без особых историй тянет свою лямку, все эти инстанцирования либидо, эти малые механизмы удержания и проистечения токов желания *никогда не однозначны* и не могут послужить основой для недвусмысленного социологического или политического прочтения, для расшифровки в разрешимых лексике и синтаксисе; наказание вызывает сразу и подчинение, и восстание, власть — и ослепление гордыни, и самоуничижительную депрессию, всякое «ремесло» требует от того, кто его практикует, страсти и ненависти, будь они даже в смысле Маркса и *безразличием*. Итак, двойственность, сказал бы Бодрийяр. А мы говорим: много больше того, к тому же нечто иное, нежели сей емкий дом любви и отвращения или боязни, который в общем и целом может пасть под ударом семиологического или герменевти-

ческого анализа аффектов; полисемия не вызывает страха у толкователей; но, одновременно и неотличимо, и нечто являющееся функционирующим — или *дисфункционирующим* — термом в системе, и нечто внезапно оборачивающееся непримиримыми весельем и мукой; одновременно двойственное значение и тензорное напряжение, скрытые друг в друге. Не только *и/или*, но и безмолвная запятая: «,».

Любая политэкономия либидинальна (бис)

СКОЛЬКО стального проката, тонн спермы, децибелов скрипа кровати и лязга цехов, больше и еще больше: это *больше* может вкладываться как таковое, оно и вложено в капитал, и нужно признать, что все это не только совершенно никчемно, это-то мы в полной мере принимаем, не менее и не более тщетно, нежели политическая дискуссия на агоре и Пелопонесская война, но и сверх того даже не относится к производству. Эти «продукты» не произведены; здесь, в капитале, в счет идет то, что они испытаны и испытаны *в количестве*, мотивом интенсивности является уже отнюдь не качественное изменение количества, а количество само по себе, установленное число: у Сада — страшное число полученных ударов, число требуемых поз и манипуляций, число надлежащих жертв, у Мины Бумедин — гнусное количество членов, проникающих через разные отверстия в женщину, которая трудится, лежа на застеленном клеенкой столе в заднем зале бара: «Она сосет и дрожит в мареве испарины засасывает протянутые ей в лицо херы вздрагивает когда ранят ширинки в глазах у нее все плывет входы и притворные выходы больничное пробуждение скрипит дверь бара Мина и есть эта дверь диастола и систола у нее вот-вот разорвется сердце пытается сосчитать сколько раз открывается дверь думает что ей кидают столько же палок сбивается со счета и цепляется за скрип ей дают глотнуть кока-колы у нее в глубине глот-

ки странный вкус она птица подранок дрожащая скомканная птица лежит на обочине попала в несчастный случай (...). Ты правильно сосчитала не все время осталась вплотную ко мне да все время не покидая тебя ни на мгновение сорок только в манду Мина в отказе ты мне противна скажи мне что ты мне противна ради тебя я стану шлюхой приму свою сотню в день на клеенке в мелкую синюю клетку запах ацетиленовой лампы сипение лампы хрипы ее страдания она мертва убита в свете бедных она мертва здесь месяцы годы сотня в день на клеенке в задней комнате и ведро с водой чтобы привести в себя когда она отключалась ведро ледяной воды и снова внезапно сипение лампы тогда она не была мертва мертва недостаточно ей придется снова начать (...)»¹.

*Use erogenous zone numbers*² все больше и больше, не это ли решающее инстанцирование интенсивности в капитализме? Ну а мы сами, монсиньоры интеллектуалы, разве не активничаем мы и не пассивничаем, «производя» больше слов, еще больше, больше книг, больше статей, непрерывно наполняя котелок речи, набрасываясь на книги и на «опыты», чтобы как можно быстрее превратить их в другие слова, подключаясь здесь, уже подключенные там, как Мина на своей синей клеенке, распространяя, конечно, *рынок* и коммерцию слов, но к тому же приумножая возможности для наслаждения, расчищая повсюду, где только возможно, интенсивности, всегда недостаточно мертвые, потому что и нам тоже надо перейти от сорока за день к сотне, и мы тоже, никогда не станем достаточно шлюхой, достаточно покойницей.

1. Mina Boumédine, *L'Oiseau dans la main*, Belfond, 1973, pp. 152–155.

2. *Ibid.*, p. 61. [Используй числа эрогенной зоны (англ.)].

Отсюда вопрос: С какой стати вы, политические интеллектуалы, *склоняетесь* к пролетариату? из сострадания к чему? Понимаю, что на месте пролетария ненавидел бы вас, вас стоит ненавидеть, но не потому, что вы — буржуа, привилегированные белоручки, а потому, что вы не осмеливаетесь сказать то единственное, что сказать важно: можно таки наслаждаться, сглатывая сперму капитала, материи капитала, металлопрокат, полистиролы, книжонки, макароны с сосисками, глотая их тоннами, пока не лопнешь, — и что вместо того, чтобы сказать об этом, а ведь *к тому же* именно это и происходит в желании превращенных в капитал, пролетариев рук, задов и голов, ну да, вы становитесь во главе *мужчин*, во главе *сутенеров*, вы *склоняетесь*, вы говорите: ах, но это же отчуждение, как некрасиво, подождите, и вас освободят, мы намерены работать над вашим освобождением от этой скверной привязанности к рабству, мы вернем вам достоинство. И вот так-то вы, моралисты, становитесь на преотвратительную сторону, ту, где желаешь, чтобы наше, превращенное в капитал, желание целиком и полностью не принималось в расчет, было запрещено, поправно, вы совсем как священники с грешниками, наши рабские интенсивности вызывают у вас страх, вы должны сказать себе: как они, должно быть, страдают, перенося все это! И конечно же, мы, превращенные в капитал, страдаем, но это не означает, что мы не наслаждаемся, не исключает, что то, что вы собираетесь предложить нам в качестве лекарства — от чего? от чего? — противно нам в еще большей степени, мы испытываем ужас перед терапией с ее вазелином, мы предпочитаем надорваться от количественных излишеств, которые вы относите к самым глупым. И не ожидайте к тому же, что восстанет наша спонтанность.

Здесь, в злобных скобках, ограничимся разве что словом в пику бездонному отстойнику утешений, что

зовется *спонтанностью* и *креативностью*, который кое-кто дерзает направить по, конечно же, блуждающим, но до поры до времени никогда не тривиальным маршрутам, прочерченным в поле политической практики и теории побуждениями группы «Социализм или варварство». В 1964 году, по вопросам, на первый взгляд, теоретических установок, мы порвали с Касториадисом, который, не без основания устав от перепевов исторического, диалектического и вконец опостылевшего материализма, предлагал тем не менее поставить на его место омерзительную сверхсамцовую штуку — общую креативность: в современном капитализме, объяснял он (но почитайте, он издает полное собрание своих сочинений³), центральной проблемой является уже не эксплуатация, а разрушение всякого подлинного человеческого со-общения, уничтожение способности людей созидать — непрерывно, самостийно, *sponte sua** — новые формы отношений с миром и с другими. В противовес приватизации он требовал активной социализации; в противовес отчуждению — постоянно деятельного креатива. Повсюду и все время креативности. От чего же в обществе «изобилия» страдают люди (женщины, дети, не оставим в стороне никого)? От своего одиночества и нарастающей пассивности; но почему? Потому что их возможность общаться и любить, их способность изобрести и испробовать новые ответы на свои самые радикальные проблемы, оказывается, говорил он, сведена к нулю бюрократической организацией не только трудового, но и всех остальных аспектов их жизни. Бюрократия — вовсе не мелкий дефект на теле в остальном доброкачественного

3. Carlos Castoriadis, *La Société bureaucratique*, t. 1, 2: *L'Expérience du mouvement ouvrier*, t. 1, 2, U. G. E., coll. 10/18, 1973 sq.

* по собственному почину (лат.).

общества, например в том смысле, в котором пужади-сты говорят об административной бюрократии, Крозье гениально провидит в бюрократии пережиток застарелого королевского и якобинского централизма в административных органах (*sic*), а Троцкий изобличает ее как раковую опухоль, пожирающую в остальном пролетарское государство. Нет: имеет место, как говорил Бруно Рицци, бюрократизация мира⁴.

Но, конечно же, мы были в полном согласии, что под именем (все же очень неуклюже унаследованным от троцкизма) бюрократии следует понимать не новое политическое явление, не экспансию аппаратов на новые сектора общественной жизни, не простую консолидацию нового господствующего социального класса, но, помимо всего этого, производство некоей иной человечности, для которой *готовое* революционное мышление, худо-бедно, пусть даже при посредничестве всевозможных левых оппозиционеров, унаследованное нами от Маркса, было уже не по мерке. И мы пребывали в полном согласии, что нужно в некотором смысле «возобновить революцию»⁵, как гласило заглавие представленного Касториадисом и его группой установочного текста. Тем не менее мы выступили в качестве противоположного лагеря, который некоторое время продолжал «Рабочую власть», лагерь, классифицируемый в отношении диамата и истмата как традиционалистский и который напротив следовало бы назвать лагерем беженцев или перемещенных лиц, настолько различными были интересы тех, кто в нем оказался, как покажут разногласия, вспыхнувшие после первых же попыток теоретических и практических исследований и повлекшие в дальнейшем выходы из группы.

4. Bruno Rizzi, *La Bureaucratization du monde*, Paris, 1939.

5. *Socialisme ou barbarie*, 35, janvier 1964.

Я упоминаю об этом в паре слов, причем слов намеренно легковесных, потому что 1) бесполезно окружать это дело торжественным полумраком, который обычно обволакивает Большую Политику и тем самым способствует поддержанию уже устоявшегося мифа о «Социализме или варварстве», мифа, который нужно проклясть более, чем все остальные мифы; 2) надо предупредить читателей, что наши весомые предшественники столь же легковесны, как и наши последователи; 3) они должны принимать наше бегство в либидинальную экономику за то, чем она и является, — за разрешение от долгой боли и прорыв из жесткого тупика; 4) они должны воспринять эти злобные строки как смех, стоящий за гневом по поводу бреши, которую Касториадис верил и заставлял верить, будто проделал в стене, что блокировала все — нашу мысль, нашу жизнь, наши действия «воинствующих» активистов (и это была не мелочь, речь шла не о том, чтобы иметь в кармане партийный билет, не о том, чтобы приторговывать воскресным утром на рынках своей газетенкой); смех по поводу той бреши, которая не вывела нас ни к чему, чего бы мы уже не знали, не заставила устремиться наши головы и тела к совершенно неслыханным раскладам, а мудро отводила их к «новому» *мировоззрению*, к «новому» *мышлению*, к гуманизму креативщиков, по сути близкому гуманизму эдакого большого американского *босса-филантропа*, опять же к *теории*, к теории всеобщего отчуждения, с необходимостью предполагающей в качестве своего дубликата теорию всеобщей креативности, — ведь единственное известное со времен Гегеля и, несомненно, Иисуса средство избежать отчуждения — быть богом. Отсюда «новая» религия, человек обожествляется, фаустовская религия, которая снова и снова обнаруживает свою обветшалость, — даже, как в один прекрасный день заставил нас заметить один невин-

ный друг, в самой несостоятельности выражения «рабочая власть».

Раз «рабочая», значит должна была бы принять во внимание саму *силу* того, кто находится в подчинении, и тогда бесполезно предлагать ему в качестве возможного утешения и исцеления низость власти: не только потому, что *никто* не вправе об этом судить (и я даже не говорю: разве что сами заинтересованные — ибо они, несомненно, вправе ничуть не больше других); но еще и потому, что именно нам, политикам, надлежало спустить перед ней, этой силой, свой флаг, полностью принять ее во внимание, и тогда нужно было отказаться от точки зрения власти, не нужно было, едва ее заметив, причем в развитии, начинать понимать ее негативно, как нигилисты, отказываясь называть ее *силой*, силой выносить невыносимое, а *также* силой его не выносить, все, включая самое себя, подорвать, — напротив, торопясь назвать ее приватизацией, переходом к пассивности, отчуждением, утратой креативности, то есть торопясь утвердить ее как нехватку и представить полноту как то, что нужно проявить или вернуть. В конечном счете не было нужды говорить: возобновим революцию, нужно было — и это и стало бы брешью — сказать: исключим к тому же и идею революции, которая стала и, быть может, всегда была мелкой, никчемной идеей, идеей о переворачивании позиций в сфере экономико-политической власти и тем самым поддержкой сей сферы, или даже, чтобы быть более справедливым в отношении Касториадиса, идеей о переворачивании позиций во *всех* сферах; даже через эту мысль о всеобщем переворачивании надо было в свою очередь пробиться, ибо она снова оказывалась стеной, все той же стеной все того же тупика, поскольку там, где есть место мысли о переворачивании, есть место и теории отчуждения, нигилизму и избавителям-теоретикам, хранящим знание умам. «Умы всегда связаны

невидимыми нитями с телом народа», — пишет очарованный Маркс Мейеру (21 января 1871 года).

Вот что мне ненавистно: мы по-прежнему знали, полагали, что обладаем добротным знанием — о, очень изощренным знанием, знающим, что оно не знает, знанием, откровенно подающим себя как не знающее, знанием, которое надлежит отстроить, открытым, не ментором, а инициатором, знанием, на худой конец, аналитика; — и благодаря своей изощренности надеялись уклониться от адюльтера — не от вполне себе законной и дозволенной свадьбы — сего знания с властью, мы говорили: мы как активисты уже вовсе не активисты, не несем более благую весть, мы поступаем на службу к людям, когда они хотят предпринять что-либо — забастовку, бойкот, захват и т. п., — чья *форма* не установлена, мы будем их агентами, их *go-between**, изготовим листовки, их распространим, нам можно будет почти отказать в существовании — и должен сказать, что это было достаточно прекрасно: желание стать лакеем у сих прирожденных господ, поиски истерии, сказал бы Лакан, у сих по сути параноических активистов. Но мы длили и длили это знание, так как абсолютный дух вполне может пойти в лакеи, он *должен* стать диалектическим лакеем всех пересекаемых им формаций, слова, которые он произносит, не говорят того, что говорят, они двусмысленны, но отнюдь не в смысле сокрытия, напротив, двусмысленны, поскольку взаимозаменяемы, — грязное мелкое двурушничество, господин, идущий в лакеи, тем самым становясь или восстанавливаясь истинным господином, активист, устраняющий себя в качестве командира (или даже рядового революции), тем самым оставаясь настоящим лидером, слова смиренно обращенных долгу уст уже были запущенными с три-

* посредниками, сводниками (англ.).

буны словами грядущей власти, поскольку они — слова знания, новая, возобновленная революция, долженствующая обернуться такою же, как все предыдущие, если ее глашатаями станут новоиспеченные слуги.

Такое факсимиле ненавистно. Какая важность, что именно говоришь, когда ничуть не меняется позиция дискурса? (Из всей группы только Филипп Гийом понял это достаточно рано.) Возобновить революцию не означает начать ее заново, это означает перестать видеть отчужденный мир и людей, нуждающихся в спасении, или в помощи, или даже в *услуге*, это означает отбросить мужественную позицию, прислушаться к женственности, к глупости не как ко злу. Ненависть к сутенеру, который *переряжается* девицей, не испытывая никакого желания ею быть, к зловещей мужской карикатуре на благородного травести.

Скобка закрывается. Итак, отказаться критиковать и утешать. Можно вложить количество как таковое, и *это не будет* отчуждением (а кроме того, так уже было в «престижном» потреблении так называемых докапиталистических обществ — ну да Бодрийяр знает об этом куда лучше нас). Можно вложить просто саму частичность, и *это не будет* отчуждением. Верить в то, что существовали общества, где тело не было раздроблено на частицы, — не просто реакционная, но и основополагающая для западной театральности фантазия. Для либидинальной экономики нет никакого органического тела; более того, нет никакого либидинального тела, странного компромисса между пришедшим из медицины и западной психологии понятием и представлением о либидо как об энергии, послушной двум неотличимым режимам, эроса и смерти. В своей комментарии к четвертому отделу первой книги «Капитала» Франсуа Гери⁶ показыва-

6. Didier Deleule et François Guery, *Le Corps productif*, Mame, 1972,

ет, что подобные протестам Фридмана или Маркузе гуманистические протесты против раздробленности труда основываются на ошибке локализации *раскола тела*: конечно, говорит он, тело капитала, овладевая производственным телом в мануфактуре, какую ее описал Маркс, и *a fortiori* в крупной полуавтоматической промышленности, разбивает органическое тело на независимые части, требуя от той или иной из них «почти нечеловеческой изворотливости», которая «идет нога в ногу со все более и более далеко заходящей механизацией виртуозного жеста»; но, добавляет он, это лишь «анахроническое явление, затрагивающее старинную смесь органического тела и тела производственного. Настоящий большой раскол тела не в этом». Он «опирается на другой, осуществляемый прямо в лоне биологического тела: раскол между телом, сведенным *тогда* к машинерии, и интеллектуальными производственными силами, головой, мозгом, нынешнее состояние которых оказывается *софтвером* компьютерщиков»⁷. Как понять, что по-настоящему существенна для Гери именно эта, вторая, линия разреза, а не первая? Дело в том, что он признает определенный образ средневековой корпорации или, скорее, корпорации вечной, эффективной «*во всей античности*», вплоть до Средних веков, образ, который как раз создает Маркс, — образ «тела, механизующего силы», являющиеся «органическими силами человеческого тела, *включая сюда и голову*». И Гери настаивает: «Это по-своему важно: корпорация обращает голову человека в машину, но в качестве органической части тела. Тогда не может быть и речи о какой-либо внутренней иерархии, где голова была бы простран-

особенно вторая часть, «L'Individualisation du corps productif», написанная Франсуа Гери.

7. *Ibid.*, p. 37–39.

ственно и качественно водружена на вершину, выше, нежели сила рук, легких, локтей, пальцев, голеней, ступней»⁸.

Не будем спорить: в поле производительного труда этим неиерархическим телом-корпусом как раз и является корпорация; как бы то ни было, такая характеристика имеет смысл только при условии изоляции этого поля, его отделения от политической организации, в которую корпорация включена, будь то восточная деспотия, или европейский город, или полис, или империя, и — чтобы не удаляться от Греции — без учета появления речи как *политического техне*, процесса, эквивалентного при прочих равных цефализации и даже капитализации, низводящей каждое ручное ремесло до подчиненной частицы политического тела. Скажем иначе: *голова* вполне себе существует в век корпораций, может быть не в самой корпорации, но наверняка в «социальном теле». Социальное тело, возможно, не является в эту эпоху телом политической экономии, а продуктивное тело, возможно, не облекается в форму заимообращения частичных влечений (ибо именно о них идет речь), это заимообращение вершит тело политическое, но оно тем не менее существует, и наложение на центральный нуль, какой не обязательно оказывается деньгами (в Спарте, например), но всегда центром речи и меча, тем не менее вызывает иерархизацию этих влечений и социальных единиц, в которой они разворачиваются привилегированным образом.

Отнесем все это к неполитическому, «примитивному», стало быть, или дикому обществу, если, само собой, заимообращение не — или, по крайней мере, не систематически — производится при этом на войне и дискурсе. За «ошибкой», касавшейся, похоже, толь-

8. Didier Deleule et François Guery, op. cit., p. 23–24.

ко мелочей, мы должны здесь засечь фантазию, такую могущественную и постоянную в лучшем из марксистского наследия, о счастливом состоянии трудящегося тела, причем это счастье (в чисто западной традиции) осмысляется как единение с самим собой во всех его частях. Но стоит присмотреться, и мы увидим, что сия фантазия — не что иное, как, в ином облики, фантазия Бодрийяра о примитивном обществе. «Символический» обмен — обмен также и политико-экономический, как закон о гражданской речи в Афинах и о тетралогосе⁹ — также и закон о меркантилизации дискурса и, ко всему прочему, как дотошное членение на части задач в регламентированных профессиях влечет за собой их подчинение некоему центральному Нулю, который, не будучи (быть может) профессиональным, тем не менее поставляет *caput** пресловутому социальному телу.

9. Jacqueline de Romilly, *Histoire et raison chez Thucydide*, Les Belles Lettres, 1956, pp. 180–240.

* голова (лат.).

Не бывает примитивных обществ

ЕЩЕ ПАРА СЛОВ о символическом обмене. Отведем, отступив от своих принципов, несколько страниц его *критике*. В представлении о нем смешались воедино две концепции символического: московское понятие обремененного двойственными эффектами дара и лакановское понятие порядка, прерывистой разметки, *вынуждающей* материалы (например, остатки дневных впечатлений в работе сновидения) *означать*, просто и произвольно включая их в цепочки. Но оставим этой слегка академической критике со стороны смешения понятий высвободить свою интенсивность в той форме, в какой она представилась нам однажды вечером, когда между сочинениями Кагеля и Булеза мы зашли отлить в пустынный писсуар Концертхалле в Донаушингене. К чему это ведет? спросили мы себя. И сложилось представление, что страх бессилия заключен в вопросе: а что если это ни к чему не ведет? Речь о неподключенных фрагментах тела, не входящих в кругооборот метаморфоз. Они что, теряются? Нет, скорее наоборот: *остаются*. Бессилие (а оно отнюдь не безвластность, оно, *напротив, возможно есть власть*) окажется тогда вот чем: все так и остается, больше не подвергается метаморфозам. Речь ни в коей мере не о кастрации, а об отстоянии от метаморфических потоков, о неподключенности к проходящим интенсивностям, депрессии.

Самое место для вопроса о символическом обмене: этот страх не является, как мы считали, боязнью

не суметь больше *дать*. Категория дара — театральная идея, она принадлежит семиологии, она предполагает субъект, пределы его собственного тела и его владений и щедрое этих владений нарушение. Когда Лакан говорит: любить — это давать то, чего не имеешь, для него это означает: забыть, что ты кастрирован. Что должно было бы означать: у тебя никогда ничего нет, нет никакого субъекта, так что только и есть, что любовь; не только всегда нечего дать, потому что у тебя ничего нет, но к тому же нет никого ни чтобы дать, ни чтобы получить. Только в теории *знаков* дарующий обмен (или дар как *первичная форма* обмена) может быть представлен как предоставление или передача нагруженного аффектами объекта кому-то, кто в начале цикла его не *имел*: ибо знак — и в самом деле некая вещь, которая *для кого-то*, для получателя (а также и отправителя), замещает другую вещь, прячет и проявляет другую вещь. Эта проблематика, пришедшая к Лакану от Якобсона, то есть из теории коммуникации, привносит с собой целую философию субъекта, философию тела, донимаемого присвоением самого себя и собственностью, поскольку теория коммуникации, очевидно, является ко всему прочему частью экономической теории. Мосса надо читать не как открытие некоей «пред-капиталистической (или по меньшей мере меркантильной) экономики», а как изобретение и доработку в недрах этой экономики ее обязательного дополнения со стороны предшествования-внеположности. Замените дар символическим обменом, вы останетесь в той же сфере, ибо обмен тоже вершится между двумя едиными или склонными к единству телами, даже если им так и не дадут (барьером «черты означающего») это единство осуществить и даже если собственное раздвоение, *Entzweiung**, как говорил Гегель,

* раздвоение, расщепление (нем.).

всегда будет подталкивать их чем-то обменяться, пусть хотя бы и фрагментами самих себя; участники обмена остаются лишь слегка намеченными, скорее как полюсы или идеи (меркантильного) разума, чем как существующие: выходит, что обмен требует этой поляризации, этой энцефализации — и движения туда и обратно, приливного цикла потоков, централизованно уравновешенного рыночного круга. Что в обмен идут аффекты, ничуть не видоизменяет эту конфигурацию, а просто ее драматизирует.

Тем самым видно, что мы не преуспеем в подгонке к великой пленке новых высказываний, что, дескать, «так надо», заменяя меркантильно-торговый обмен на обмен символический. Критиковать производство — значит с неизбежностью критиковать и обмен, *любой* обмен, само его понятие. Обмен не менее «человечен», чем производство. Если нужно уйти от производства, а это нужно, обойдемся и без обмена, инстанцирования потоков и аффектов в задействованных в обмене единицах. Оборот не менее подозрителен, чем производство, он, как знал Маркс, представляет собой всего лишь частный случай производства, взятого в самом общем смысле. Встанем, скорее, на позицию приятия этого самого *производства в широком смысле*, которое есть общая метаморфоза всего того, что происходит с телами и вписывается в социальное тело, и, преследуемые представлением о всеобщей, без остатка, метаморфозе или *всеобщем производстве без записи*, то есть опять же о великой пленке, спросим, скорее, себя, каковы черты фигуры, заставляющей перейти от этого производства к производству записанному, черты механизма записи, составляющего социальную объемность.

Мораль Донаушингенского писсуара загодя появилась в подобном же месте: в мужском туалете кафедры математики и информатики университета в Аархусе маленький фотоэлектрический механизм

запускает смыв раковины, стоит поднести высвобожденный из ширинки пенис. Вот оно, «новое высказывание», и уверенность, что нет никакого бессилия; разве что из-за депрессии.

Теперь можно продолжить эту «критику» символического обмена, по-прежнему ради удовольствия, а кроме того может случиться, что здесь произойдет несколько немаловажных встреч. В самом представлении об этом обмене присутствует некое *сгущение*, поэтому это очень либидинальное представление (и мы любим его не меньше, чем его может любить Бодрийяр, но есть и более сильное, чем мы, желание, латентное в капиталистическом обществе желание, которое не любит этого сгущения и которое надо выслушать): уплотнение, мы уже говорили об этом, между Моссом с его феноменологическим описанием межчеловеческих отношений и Лаканом с его структуралистской теорией расчленения элементов «реальности» и производства смысла. Таким образом, в символическом обмене подразумеваются сразу и отношение субъекта к субъектам при посредничестве объектов, имеющих значение только как символы двойственных аффектов, любви и смерти (моделью в этом отношении может служить потлач), и *структурное* отношение, которое определяет (произвольно, сообразно каждой культуре) качества и количества способных стать такими символами объектов. Когда Бодрийяр заявляет: у дикарей нет бессознательного, разве не выражает он просто вызывающим образом вышеупомянутое сгущение — то есть утверждает, что в примитивных обществах все сознательное (обмен между индивидами) вбирает и усваивает все бессознательное (организацию, очерчивающую символы и их обмен) без какого бы то ни было непрозрачного остатка?

Это сгущение весьма интересно и само по себе: подержанное лакановским прочтением Фрейда, оно от-

сылает к общему «источнику» Лакана и Мосса, а именно к четвертой главе «Феноменологии духа». Борьба за признание, очевидно послужившая стихийной или контролируемой моделью, позволившей Моссу расшифровать потлач и расширить его охват, в свою очередь не оставляет в покое и тот образ, который составил себе о бессознательном Лакан. А в этом образе уже присутствует первичное сгущение, уплотнение между *смертью* в гегелевской диалектике и кастрацией во фрейдовской драматике. Если сознание имеет в виду выйти из простой достоверности самого себя, нужно, чтобы оно *выпрыгнуло вне* частных своей «естественной жизни», объясняет Гегель, и этот прыжок может стать таковым только при условии, что эти частности будут отвергнуты. Поскольку это «моя жизнь», ее отрицанием является моя смерть, и сознание, таким образом, может получить доступ к универсальности лишь при условии, что пойдет на риск сей *невозполнимой траты*, то есть отдаст свою жизнь. Что же тогда такое Другой? — спрашивает Лакан, — как не господин, который достаточно потрясает «сознание», чтобы оно оставило заботу о своем «признании» и свернулось в двусмысленности своих рискованных-сохраняемых частных или чаемой-недостающей универсальности. Расщепление субъекта, которое дает место бессознательному, требует такой заторможенной смерти, ужаса перед «кастрацией», угрозы закона, то есть меча. Тем самым в основе установления субъекта лежит уступление.

Очевидно, что у Гегеля в теме абсолютного знания или субстанции-субъекта, в конечном счете присутствует *Vergebung*, *Versöhnung*, прощение, примирение, хотя, конечно же, вполне законно показать, насколько сама категория *Aufhebung*'а*, этого исполненного

* снятия (нем.).

сдержанности уничтожения, менее отлажена, чем может показаться, и способна таить за пустотой предельный риск безумия¹. Наоборот, можно было бы ожидать, что у читателя Фрейда Лакана непримиримость, невозможность для *Я* прийти «туда, где было Оно», окажется непреодолимой. Но ничего подобного даже на привилегированном тематическом уровне, уровне эффективности лечения², целиком осмысленного в терминах диалектики; но еще более *Vergebung* присутствует в мысли в качестве схемы; что бессознательное задумано (и практикуется) не как другое по отношению к дискурсу, а как *дискурс Другого*, проистекает из простого переворачивания, которое обеспечивает все же расщепленному субъекту единство второго ранга, некое мета-единство, и оно, конечно же, является единством не самого сознания, а заведомо единством языка (то есть единством философа или мыслителя). Ибо если бессознательное структурировано наподобие языка, пусть даже сознание уже не может сказать все вследствие своего расщепления в результате встречи со смертью-кастрацией, самый несказанностью, «часть» субъекта, которая погружается в этот первичный страх, все еще «говорит»; она, конечно же, говорит совсем не то, что говорит сознание, и, бессознательная, не ведает, что именно говорит; диалог или диалектика той и другой половин могут тем не менее вершиться на практике: Лакан называет это лечением. Принципиальное прощение тем самым обусловлено молчанием господина; несмотря на то, что он отвергает признание и с ним не вступают

1. J.-L. Nancy, *La Remarque spéculative*, Galilée, 1973, в особенности комментарий на с. 152 sq. к добавлению к § 462 гегелевской «Энциклопедии».

2. Jacques Lacan, «La direction de la cure et les principes de son pouvoir», *Ecrits*, Seuil, 1966), pp. 585 sq.

в диалог, несмотря на то, что он не отвечает, а убивает или угрожает — или довольствуется, как поступает с Иовом его холерический господин, напоминанием своему *Knecht*'у*, что без него он был бы ничем, Безымянным, — так вот, у Лакана несмотря ни на что присутствует надежда, что молчание будет отложено — по той простой причине, что смерть смешана с жизнью духа, с речью³.

Говоря: бессознательное это дискурс Другого, мы внедряем в Гегеля Фрейда, восстанавливаем иудейство, к которому тот, впрочем, испытывал такую неприязнь, в эллинском или христианском усреднении. Давайте просто вспомним: иудеи для Гегеля — это провал диалектики, то есть провал любви; это воплощенный в истории Авраама разрыв всех связей с родиной, с родными, одиночество перед лицом враждебной природы и бессилие с ней примириться, как сделали Нимрод, Девкалион и Пирра. «Иудеи не могли, как позже делали фанатики, пойти под топор или на голодную смерть, потому что были привязаны не к Идее, а к животному существованию; и они верили в своего бога, потому что, совершенно отделенные от природы, обретали в нем воссоединение с нею благодаря его владычеству»⁴.

Иудеи привязаны не к Идее, а к животному существованию; они, получается, сама скотскость, вид больной — противоестественной или бесчеловечной — животности, который может существовать, лишь прибегая к бесконечному, безмерному владычеству Гос-

3. Об этой диалектической функции отрицания в бессознательном см. J. Lacan, *Le Mythe individuel du névrosé*, C. D. U.

4. *Hegels theologische Jugendschriften*, Nohl éd., Tübingen, 1907, p. 258; цитируется Бернаром Буржуа: B. Bourgeois, *Hegel à Francfort*, P. U. F., 1970, p. 39.

* слуге (нем.).

подина; тот же обеспечит животное выживание, удовлетворение потребностей, но на условии, что его владычество будет принято, будет приниматься беспрестанно, без диалога, без любви к словам и без любви к делам, как раз таки *без*, в смысле Гегеля, *символического обмена*, а только в дар без отдаривания, каковым, кажется, были иудейские молитва и жертвоприношение. Так что Авраам и его народ не являются настоящими слугами, а Иегова настоящим господином, раз этот господин не заставляет своего раба работать, и тем самым сей раб не может благодаря труду порвать с ужасом разрыва с природой, с ужасом смерти. Существование Авраама — «это бессилие диалектики господина и раба или, скорее, бессилие быть, отсутствие этой диалектики, сознательное закрепление в той естественной жизни, из которой сей диалектике следовало бы выйти»⁵. Разве не видно, что в этой бесчеловечной природе, в этой скотскости, которая утратила средства удовлетворять свои потребности, в этой подвластной животности, которая поддерживается своим рабством, вырисовывается одна из основных, согласно Фрейду, фигур бессознательного, фигур *Оно*, — фигура *непрозрачности тела*? Диалектизировать, как делает Лакан, бессознательное — значит обратить иудеев в культ Сына, растворить их тело, изборозженное абсурдными ритуальными метками принадлежности, в просвечивании бесцветной просфоры, объявить вне закона черное скотство и глупость, внести туда, где пребывают влечения, дух. Ну да, полагать «примитивных» людей существами без бессознательного означает проделывать над меланезийцами или индейцами ту же западную операцию по растворению глупого, животно глупого тела, поистине классически-романтическую операцию, которую Гёльдер-

5. B. Bourgeois, *Hegel à Francfort*, p. 43.

лин и молодой Гегель проделывали над древними греками, каковых тогда тоже было принято полагать не имеющими бессознательного и жившими в примирении и прозрачности.

Резюмируем генеалогию «критики» символического у Бодрийяра: заимствовать положение бессознательного у феноменологии сознания означает заявить: субъекту не дано и его устанавливает как раз то, чем устанавливается, не прекращая от него ускользать, дискурс-диалог, как раз *смерть*, которая для Гегеля есть стихия, омывающая жизнь духа, та самая смерть, которой Фрейд посвятит свой, без сомнения, самый безумный, самый взволнованный текст, «По ту сторону принципа удовольствия», где под именем влечения к смерти все же попытается тематизировать ее как то, что, отнюдь не входя в диалектические отношения с Эросом-Логосом, толкает к повторению расстройства вплоть до разрушения тела, вплоть до превращения анализа в «бесконечный». Заявить, что у дикарей нет бессознательного, значит в очередной раз распространить на любое молчание империализм поднятого эросом ропота, про который сегодня каждый знает, что это просто язык структуры. Нет, нужно со всей ясностью, решительно заявить: просто *не бывает* примитивных или диких обществ, мы все дикари, все дикари — это обращенные в капитал капиталисты.

Итак, не следует думать, что сия проблематика символического обмена — чуждая желанию за именем Маркс фантазия, она — одно из основных его образований.

Неорганическое тело

ПОСКОЛЬКУ речь идет о поистине оглушающем ропоте эроса-логоса, потянем на мгновение у молодого и старого Маркса, но в любом возрасте женщины, за ниточку второстепенной темы *языка*. Моделью для этой тематики служит, очевидно, Фейербах, как можно понять по следующему юношескому тексту: «Единственно понятный язык, на котором мы говорим друг с другом, — пишет Маркс¹, — это наши предметы в их отношениях друг к другу. Человеческого языка мы не поняли бы, и он остался бы недейственным; одной стороной он ощущался бы и создавался бы как просьба, как мольба и потому как *унижение* и вследствие этого применялся бы с чувством стыда и отверженности (*Wegwerfung*), а другой стороной он воспринимался бы и отвергался бы как бесстыдство или сумасбродство (*als Unverschämtheit oder Wahnwitz*). Мы взаимно до такой степени отчуждены (*entfremdet*) от человеческой сущности, что непосредственный язык этой сущности представляется нам оскорблением человеческого достоинства и, наоборот, отчужденный язык вещных стоимостей представляется чем-то таким, что вполне соответствует законному, уверенному в себе и признающему само себя человеческому достоинству».

Чего же недостает языку вещных стоимостей (*sachliche Werte*), стоимостей, ставших вещами? Аффекта,

1. Karl Marx, *Auszüge aus James Mills, 'Eléments d'économie politique'*, M. E. W., *Ergänzungsband I*, p. 461.

того, что Руссо называл интонацией*. В этом языке, языке меркантильно-торгового обмена и, добавим, языке *понятий*, каковой представляет собой также обмен информационным товаром, всякая страсть предстает сумасбродством; неловкость, непосредственность просьбы (мольбы, прошения) кажется непристойностью. Проблематика Фейербаха, наполовину лютеровская, наполовину руссоистская. Маркс отметил это весной 1844 года, когда начинал свои чтения по политэкономии — мы видим, в русле какой сугубо религиозной проблематики. Примерно в это же время он публикует в «Немецко-французском ежегоднике» выдержки из текста Фейербаха «Сущность веры по Лютеру», где без труда обнаруживает ту же тему — тему доведенной до своего конца *непосредственности*: завершим труды Лютера; разрушив папство, он устранил отчужденное посредничество; показав, что Господь Бог есть не что иное, как исполнение моего желания, мы избавим высшее существо от участи *Entfremdung*'а**; итак, скажем, что Бог — это *мой* бог, то есть я сам, насколько он составляет мое наслаждение, и что «сущность веры — не что иное как сущность любви к себе»².

Непосредственность как упразднение *Mitte****, того, что вмешивается, становится между, принадлежит реформационной традиции, проходящей, не слишком меняясь, через Фейербаха к левым гегельянцам и Марксу, в том числе и к его экономическому ана-

2. Feuerbach, *Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers. Ein Beitrag zum «Wesen des Christentums»*, in *Gesammelte Werke*, Berlin, 1970), Bd. 9, p. 411.

* в русском переводе хрестоматийного пассажа из «Эмиля» французское *l'accent* неудачно переведено как *ударение*.

** отчуждения (нем.).

*** среднего члена (нем.).

лизу: сравните с тем, что только что прочли по поводу языка, то, что Маркс пишет в то же время о деньгах: «Деньги — это сводник (*der Kuppler*) между потребностью и предметом, между жизнью и жизненными средствами человека. Но *то, что* опосредствует мне мою жизнь, *опосредствует* мне и существование другого человека для меня»³. Мы видим, что для него деньги — это язык, на котором разговаривают меновые стоимости. И он приписывает им, этим деньгам, черту, весьма близкую *эквивалентности* по Бодрийяру: *безразличие*. «В *деньгах*, в этом полнейшем безразличии как к природе материала, то есть к специфической материи частной собственности, так и к личности частного собственника, обнаруживается всеобъемлющее господство отчужденной вещи *над* человеком. То, что выступало как господство личности над личностью, есть теперь всеобщее господство *вещи* над *личностью*, продукта над производителем. Если уже в эквиваленте, в стоимости заключено определение отчуждения частной собственности, то в деньгах это отчуждение получает чувственное, даже предметное существование»⁴.

Откуда видно, что противопоставление *эквивалентности* не столько *амбивалентности* (хотя мольба, прошение, унижение, стыд, господство представляют собой — будем настороже — образчик довольно-таки «амбивалентных» аффектов), а, скорее, личности, причем личности как *производителю*, вполне Фейербахово и христианское. Эти тексты — запутанная комбинация феьербахства, то есть светского лютеранства, с политэкономией. Расщепление объекта и субъекта согласно оппозиции потребительная стоимость/меновая стоимость или рабочая сила/рабочее время, расщепление,

3. *Manuscrits de 1844*, Éditions Sociales, pp. 119–120.

4. *Auszüge...*, p. 455.

постоянно тематизируемое в «Критике»*, в *Grundrisse***⁵, в «Капитале», находит свой принцип в разрыве или удвоении непосредственности, предстающей в фантазиях как идущий от сердца язык. Этот страстный язык утерян, и восстановить его не смогут ни папский бог в своей «прямоте», как говорил в ту пору Энгельс, ни даже лицемерный бог Реформации⁵. Как не сможет и политическая экономия, иначе говоря капитал, каковой только и делает, что продолжает это расщепление, перенося его с сердец на вещи и тем самым его подмалевывая. Ибо вещь-товар всегда отмечена чертой, но черта эта заглажена. Таково «лицемерие» политэкономии, которое Маркс называет ее фетишизмом и которое вполне соотносится с тем, что Бодрийяр трактует как затемнение в капиталистическом «объекте» кастрации или амбивалентности. Утерянная непосредственность может только *симулировать* свое возвращение в кажущейся простоте вещи: в статусе *фетиша*.

Анализ объекта как таящего свойственное желанию расщепление неразрывно и несомненно связан с ностальгией Маркса: там, где он противопоставляет непосредственность отчужденному посредничеству, мысль о кастрирующем означающем противопоставляет признание расщепления и амбивалентности их

5. «На смену католической прямоте пришло протестантское лицемерие»: таково, пишет автор «Набросков к критике национальной экономики», также опубликованных в «Ежегоднике» в конце февраля 1844 года, изменение, внесенное в эту «науку» Адамом Смитом, «Лютером политической экономики». Маркс развивает эту точку зрения в «Рукописях 1844 года» (*Manuscripts de 1844*, p. 80).

* имеется в виду работа «К критике политической экономики».

** «Очерк [критики политической экономики]», известный на русском языке как «Экономические рукописи 1857–1859 годов».

фетишистскому отвержению. В этих двух случаях говорится, конечно же, не одно и то же, и не так просто приступить в поле, где безраздельно царят дискурс философа и дискурс экономиста, к рассмотрению желания, по меньшей мере подразумевающего, что сама деятельность перестанет осмысляться исключительно в терминах производства и воспроизводства и в принципе можно будет допустить, что она наделена *непроизводительной силой*. Вот только не вызывает доверия, что для поддержки подобного противостояния, называется ли оно непосредственность/отчуждение или расщепление/отвержение, приходится обосноваться в поле истины, приходится сравнивать капиталистическое состояние вещей и желания, в конечном счете сочтенное ложным или, по меньшей мере, обманчивым, с неким подлинным состоянием, приходится ликвидировать то, что мы имеем, то есть по существу капитализм и задействованные в нем либидинальные образования, ради того, чего не имеем, — прекрасной дикости.

Так снова проявляется сговор между философией отчуждения и психоанализом означающего, двумя нигилистическими религиями; с той разницей, что Бодрийяр, используя второй из них, заставляет его скользить в сторону оптимизма, к надежде на восстановление подлинного состояния желания, в то время как строго лакановская версия, если она в самом деле включает некую диалектику лечения, тем не менее исключает, что приманка объекта *a* в его функции фиксации амбивалентности и удержания неозначенного может быть когда-либо рассеяна: бесконечный анализ, перманентная революция. Но все это — нюансы в рамках одной и той же теологии, одного и того же нигилизма утраты: иудеи не ждут более примирения и воздвигают свой либидинальный механизм на избранности, уступчивости и юморе раздавленных, то-

гда как христиане диалектически питают надежды на прощение; однако же в том, что касается нигилизма, они дадут друг другу сто очков вперед. У Маркса вопреки тому, что он думает, отчуждение посредника все еще движимо христианской схемой: посредник должен быть уничтожен, принесен в жертву, чтобы отчуждение, с которым он борется и которое *носит в себе*, было снято, — что скажет об этом лучше, чем рассказ о воплощении и страстях Иисуса?

Теперь вы собираетесь сказать, что таков, возможно, молодой Маркс, но что когда он постарел, оглядка на непосредственность и отсылка к осмысленному сосуществованию без отчуждения исчезли. Ничуть не бывало, они только сместились: фейербаховский аспект исчезает, руссоистский главенствует. Местом опоры для критического взгляда и революционного проекта по-прежнему остается этаким рай. Теперь это рай «неорганического тела»: тот самый рай, который в образе корпоративного производства «всей античности» фантазирует Ф. Гери, который Бодрийяр воображает как обуреваемое интенсивными амбивалентностями тело, предшествующее любой политэкономии, и до которого — хотя он и пришел к нему с другой стороны, как раз со стороны политэкономии — добирается тем не менее и Маркс, поскольку со своей критической колокольни испытывает в нем потребность как в чем-то квазивнешнем, на что опирается, чтобы критиковать свой объект, любая критика; неорганическое тело, которое Маркс в явном виде тематизирует в таком сравнительно «позднем» тексте, как *Grundrisse*, в следующих выражениях: «То, что г-н Прудон именует *внеэкономическим* происхождением собственности, подразумевая под собственностью именно земельную собственность, это — *добуржуазное* отношение индивида к объективным условиям труда и прежде всего к природным объективным условиям труда; ибо,

подобно тому как трудящийся субъект есть индивид, данный природой, природное бытие, так первым объективным условием его труда является природа, земля, как его неорганическое тело; сам индивид, данный природой, представляет собой не только органическое тело, но он есть эта неорганическая природа как субъект. Это условие не является его продуктом, а заранее имеется налицо; в качестве природного бытия, находящегося вне его, оно является его заранее данной предпосылкой»⁶.

Если теперь нам не вполне ясно выражение: «Он есть эта неорганическая природа как субъект», *функцию осуществления*, которую в воображении Маркса выполняет неорганическое тело, можно прояснить следующим образом: во всех докапиталистических формах производства, относящихся к *общине*, «земля (есть) самое первоначальное орудие труда, лаборатория и хранилище сырья... Индивид просто относится к объективным условиям труда как к своим собственным, относится к ним как к неорганической природе своей субъективности, в которой эта субъективность сама себя реализует»⁷. Вот она, непосредственность? Да, но эта непосредственность включает коммуно-общинную (коммунистическую) коллективность, которая, стало быть, тоже составляет часть природы: «Это отношение к земле как к собственности трудящегося индивида сразу же опосредствовано естественно сложившимся, в той или иной мере исторически развитым и видоизмененным существованием индивида как члена какой-либо общины, его естественно сложившимся существованием как члена племени и т. д.». И в качестве пояснения к этому месту следующее за-

6. *Grundrisse*, «Formes précapitalistes...», tr. fr., Pléiade II, p. 328.

Текст относится к 1857–1858 годам.

7. *Ibid.*, p. 324.

мечание: «Трудящийся индивид поэтому с самого начала выступает не просто как трудящийся индивид в этой абстрактности, а имеет в собственности на землю объективный способ существования, являющийся заранее данной предпосылкой его деятельности, а не всего лишь ее результатом, т.е. являющийся такой же предпосылкой его деятельности, как его кожа, его органы чувств, которые он, правда, тоже воспроизводит и развивает и т.д. в процессе жизни, но которые как предпосылка предшествуют самому этому процессу воспроизводства»⁸.

Итак: 1) тело земли называется *неорганическим* только для того, чтобы его можно было отличить от органического тела самого труженика; на самом деле это тело органически связано с органическим телом и полностью ему тождественно в том, что и оно тоже *дано*, а не произведено; 2) сама община также представляет собой часть этого великого (не)органического тела, ибо именно как член этой общины «трудящееся» тело (которое, впрочем, не появляется как таковое) может вступить в производственные отношения с землей. И принадлежность к общине, и она тоже *дана*, а не произведена. Все три инстанции, собственное тело, социальное тело и тело земли, сочленены вместе как три составные части единой машинерии, каковой является *природа*. Именно в недрах этой природы и осуществляется «производство» или, скорее, это «производство» — просто воспроизводящаяся природа.

Это представление неизменно. Откройте «Немецкую идеологию», и вы обнаружите этот длинный совершенно недвусмысленный текст: «Таким образом, здесь выступает различие между естественно возникшими орудиями производства и орудиями производства, созданными цивилизацией. Пашню (воду и т.д.)

8. *Ibid.*

можно рассматривать как естественно возникшее орудие производства. В первом случае, т. е. при естественно возникших орудиях производства, индивиды подчиняются природе; во втором случае они подчиняются некоторому продукту труда. Поэтому и собственность в первом случае (земельная собственность) выступает как непосредственное, естественно возникшее господство, а во втором — как господство труда, в особенности накопленного труда, капитала. Первый случай предполагает, что индивиды объединены между собой какой-нибудь связью — семейной, племенной или хотя бы территориальной и т. д.; второй случай предполагает, что они независимы друг от друга и связаны только посредством обмена. В первом случае обмен представляет собой главным образом обмен между человеком и природой, при котором труд человека обменивается на продукты природы; во втором случае — это преимущественно обмен, совершаемый людьми между собой. В первом случае достаточно обычного здравого смысла, физическая и умственная деятельность еще совершенно не отделены друг от друга; во втором случае должно уже практически совершиться разделение между умственным и физическим трудом. В первом случае господство собственника над несобственниками может основываться на личных отношениях, на том или ином виде сообщества; во втором случае это господство должно уже принять вещную форму, выражаясь в чем-то третьем, в деньгах. В первом случае существует мелкая промышленность, но она подчинена использованию естественно возникшего орудия производства и поэтому здесь отсутствует распределение труда между различными индивидами; во втором случае промышленность покоится на разделении труда и существует лишь благодаря ему»⁹. Зазор между дву-

9. *L'Idéologie allemande* I, tr. fr., Éditions Sociales, 1968, pp. 79–80.

мя разделенными промежутком в двенадцать лет текстами совсем мал; а если он и имеется, то не в пользу более раннего из них, который говорит о докапиталистической собственности как о «господстве», тогда как в 1857 году полностью торжествует великая фигура (не)органического Тела, которая исключает любое отношение господства внутри самой себя и знает лишь эффекты непосредственного осуществления частичной функции другими частями.

И мы не сможем отделаться от этой темы утраченной природности, говоря, что Маркс всего лишь воспользовался докапиталистическими формами производства, чтобы заострить их противоположность капиталистической форме и явить эту последнюю в ее своеобразии, пусть даже и ценой настоящей мифологизации этих ранних форм¹⁰. Эта так называемая противоположность вовсе таковой не является; для Маркса имеет место мутация, революция, как говорит «Манифест», между всеми докапиталистическими формами и капитализмом, различие в том смысле, что только при этом последнем существует непрозрачность, только при этом последнем общество составляет о себе ложное представление, только при этом последнем труд, который как раз появляется в качестве повседневной реальности, может появиться лишь при условии, что станет вполне бесчеловечной абстракцией, в том смысле, наконец, что только при капитализме для этого обезчеловечивания требуется *Spaltung*, раскол не только объектов (на товары и на предметы длительного пользования; на стоимости и на потребности), но также субъектов на конкретные тела и на учитываемые рабочие силы. В противоположность «докапиталистической» непосредственности,

10. Так считает Пуланзас (Poulantzas, *Pouvoir politique et conscience de classe*, Maspéro, pp. 25–26, 134.

этот раскол для Маркса *нужно объяснить*: «В объяснении нуждается не единство живых и деятельных людей с природными, неорганическими условиями их обмена веществ с природой и в силу этого присвоение ими природы, это единство не является результатом некоторого исторического процесса. В объяснении нуждается разрыв между этими неорганическими условиями человеческого существования и самим этим деятельным существованием, разрыв, впервые полностью развившийся лишь в форме отношения наемного труда и капитала»¹¹. Более того: этот раскол не просто надо объяснить, именно из-за него что-то и нужно объяснять, так как дискурс политэкономии порождается исходя из пропуска и зияния, открытых им в социальном субъекте: именно это Маркс (на сей раз скорее прокурор) пытается разъяснить во «Введении» (датируемом 1857 годом) к «К критике политической экономии», говоря, что, конечно, труд имел место *раньше* наемного труда, а деньги *раньше* капитала, но необходима практика «труда вообще», «труда без оговорок», практика, говорит Маркс, американского рабочего, практика безразличия к определенному виду труда, каковой «стал средством создания богатства вообще и утратил свою специфическую связь с определенным индивидуумом»,¹² — что, стало быть, необходима эта практика характерного для капитализма *раскола*, чтобы в качестве категорий политэкономии сами по себе появились заведомо «предшествующие» этому расколу практики. Именно раскол

11. *Grundrisse*, «Formes précapitalistes», p. 329.

12. *Critique de l'économie politique*, tr. fr., Éditions Sociales, 1957, p. 168.

Эта тема безразличия широко развита в рукописи, озаглавленной «Глава шестая. Результаты непосредственного процесса производства», которая должна была войти в первую книгу «Капитала»; эта рукопись датируется 1863–1866 гг.

должен быть объяснен и одновременно с этим именно из раскола и в расколе рождается потребность в объяснении. Поостережемся говорить, что ссылка на антипода нерасколотого общества у Маркса вызвана лишь удобством изложения, она управляет его методологией (невозможной, но это другой вопрос) и она же управляет его политикой, которая недвусмысленно и постоянно заключается в *ликвидации раскола* и установлении великого и полного общего тела естественного воспроизводства: коммунизма*.

Это как нельзя более ясно сказано в первой книге «Капитала», хотя и под слегка стыдливой личиной: «Так как политическая экономия любит робинзонады, то представим себе, прежде всего, Робинзона на его острове»¹³. Следуют четыре иллюстрации прозрачности, или естественности, или непосредственности, четыре формы, в которых отсутствует «тот мистицизм, который окутывает туманом продукты труда в настоящий период»: чистота политической экономии Робинзона, проехали; но и ничуть не меньшая ясность темного Средневековья: «Личная зависимость характеризует тут как общественные отношения материального производства, так и основанные на нем сферы жизни. Но именно потому, что отношения личной зависимости составляют основу данного общества, труду и продуктам не приходится принимать отличную от их бытия фантастическую форму. Они входят в общественный круговорот в качестве натуральных служб и натуральных повинностей»¹⁴. Означает ли это, что здесь выставлена напоказ *реальность желания* (если предположить, что она состоит в его

13. *Le Capital* I, 1, tr. fr., Éditions Sociales, p. 88.

14. *Le Capital* I, 1, tr. fr., p. 89.

* напомним, что буквальным переводом слова «коммунизм» было бы «общизм».

амбивалентности...)? Почему бы и нет? Маркс этого не говорит, но в конце концов «межличностные отношения» в глазах Маркса, как и кого угодно, вполне могут переноситься от одного к другому и образуют человеческий, действительно страстный язык. Бодрийяр возразит, что тут нет ничего от той прозрачности, о которой грезит Маркс, а просто без прикрас выставлен напоказ *закон стоимости*: «каждый крепостной и без Адама Смита знает, что на службе своему господину он затрачивает определенное количество своей собственной, личной рабочей силы»¹⁵. Поправка, уместная и для двух последних примеров общества, чья политическая экономия признана кристально чистой: для нынешней реальности деревенского патриархального производства крестьянской семьи; и, наконец, для представления о «союзе свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу»¹⁶. Коллективная робинзонада, говорит Маркс; может, это все же коммунизм? Никаких сомнений, что этот последний являет собой (вос)становление большого органического или неорганического, трансорганического или транзитивного тела. Но возвращается возражение: эта транзитивность уже включена в политическую экономию, поскольку касается только трудовых, производственных и распределительных отношений. Но Бодрийярово общество без бессознательного это не только докапиталистическая политическая экономия, это дополитическая, либидинальная экономия — или даже доэкономия. Возможно, что в действительности граница перенесена в фантастической археологии *еще раньше*, «раньше» производства,

15. *Ibid.*

16. *Ibid.*, p. 90.

а не только, как кажется у Маркса, раньше затемнения рабочей силы в капиталистических отношениях; перенос критической линии, которая принимает тогда в качестве критерия не только отвержение желания в капиталистически-капитализированной практике, но и его отрицание в очерчивании экономического поля. Перенос границы позволяет изменить только название стран, которые находятся по обе стороны от нее; здесь это уже будут не капиталистическая экономика *в противоположность* экономике докапиталистической, а политическая экономия или эквивалентность *в противоположность* символическому обмену или амбивалентности; но система оппозиций остается все той же, и образование различных *областей*, и установление театральности через вынесение вовне (крестьянина, Робинзона, социалистического труженика, маргинала), и критика, становящаяся возможной из-за какого-то не критикуемого положения («В объяснении нуждается не единство живых и деятельных людей с природными, неорганическими условиями...»), представленного местом, с которого говорит критикующий, и, стало быть, нигилизм. Весь Маркс стоит на этом нигилизме.

Эдварда и малышка Маркс

ЦЕЛИКОМ весь Маркс: юная женщина и теоретик; юная женщина, которая мечтает о примирении и конце пагубного раскола и посему отстраняется от «реальности» (капиталистической), чтобы по возможности противопоставить ей (не)органическое и прозрачное тело; юная женщина, которая совершает это путем разрыва и уничтожения данности, которая отвергает эту данность и обзаводится некоей другой, как раз таки отвергнутой — данностью утраченной прозрачности. Но что же в данности она отвергает? *Проституцию*. Вспомним «Манифест»: буржуазная семья основана на капитале, она существует только для буржуазии, «но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции»; вот почему, если бы в программу коммунизма входило установить общность женщин, это не составляло бы особой трудности, она уже установлена буржуазией: буржуазия не только распоряжается женами и дочерьми пролетариев, но «буржуазный брак является в действительности общностью жен» буржуа. Коммунизм женщин просто обнаружил бы и выставил напоказ это нынешнее подпольное обобществление. Но, добавляют авторы, «само собой разумеется, что с уничтожением нынешних производственных отношений исчезнет и вытекающая из них общность жен, т.е. официальная и неофициальная проституция»¹.

1. *Manifeste du parti communiste*, tr. fr., Livre de Poche, 1973, pp. 29–31.

Уже в 1844 году Маркс обрушивается на грубый коммунизм, который, говорит он, не более чем обобщение *частной собственности*, установление своего рода *частной или исключительной общности*, в частности, на женщин. Та же позиция и в 1848 году: обобществление жен — это проституция. Но она вскрывает тайну капитализма: «Подобно тому как женщина переходит (в предположении этого коммунизма) от брака ко всеобщей проституции, так и весь мир богатства, то есть предметной сущности человека, переходит от исключительного брака с частным собственником к универсальной проституции со всем обществом»². И это уточняется сноской: «Проституция является лишь некоторым особым выражением всеобщего проституирования рабочего, а так как это проституирование представляет собой такое отношение, в которое попадает не только проституируемый, но и проституирующий, причем гнусность последнего еще гораздо больше, то и капиталист и т. д. подпадает под эту категорию».

Юная мечтательница не приемлет в капитализме под именем отчужденного посредничества как раз проституцию. «Это обычный порочный круг политической экономии: цель — это свобода духа; отсюда для большинства вытекает отупляющее рабство. Физические потребности не являются единственной целью; значит для большинства это единственная цель. Или наоборот: цель — это брак; значит для большинства это проституция. Цель — это собственность; значит для большинства никакой собственности»³. Центральная, настойчивая тема, которая распространяется только шире со смягчением подчеркиваемого поначалу противопоставления брака и проституции. Например, в 1857 году, в *Grundrisse*, опять же, конечно,

2. *Manuscrits de 1844*, Éditions Sociales, p. 85.

3. «Notes de lecture» (hiver 1843–1844), tr. fr., Pléiade II, p. 11.

в примечании: «Способность всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на всё без разбора, — короче, развитие меновых стоимостей (и денежных отношений) — тождественна всеобщей продажности, коррупции. Всеобщая проституция или, выражаясь более вежливо, всеобщее отношение полезности и годности для употребления, выступает как необходимая фаза и т. д.»⁴.

Перед чем в любом возрасте отступает малышка Маркс? *Перед Мадам Эдвардой*. Батай говорил: «Не следует искать иронию, когда я заявляю, что мадам Эдварда — БОГ. Но что БОГ оказался помешанной проституткой из публичного дома, в этом нет никакого здравого смысла»⁵. Маркс не упускает ничего из этого фатального совмещения, он цитирует Шекспира, он комментирует те два свойства, которые автор «Тимона Афинского» признает за деньгами: «1) Они — видимое божество, превращение всех человеческих и природных свойств в их противоположность, всеобщее смешение и извращение вещей; 2) они — наложница всесветная, всеобщий сводник людей и народов»⁶; и вновь цитирует его в посвященной деньгам главе «Капитала». В безразличии или «уравнивании различий», которое вытекает из меркантилизма и еще более из капитализма и которое грубый коммунизм сможет разве что обобществить, Маркс, по его словам, ненавидит и, страшась, отвергает (а значит, желает) разрушение «непосредственного и естественного отношения человека к человеку», каковым в первую очередь является «отношение мужчины к женщине»⁷, утрату

4. *Grundrisse*, tr. fr., Pléiade II, p. 216.

5. *Oeuvres Complètes* III, Gallimard, p. 26.

6. *Manuscrits de 1844*, pp. 121–122.

7. *Ibid.*, p. 86.

естественности в отношении к женщине, а стало быть и к человеку и самой природе. И мы скажем, что сей ужас перед деньгами, перед миром денег, который продает, чтобы купить, и покупает, чтобы продать, перед миром капитала как Средой всеобщей проституции, — это *ужас* (и, стало быть, вожделение) *перед* «извращенностью» *частичных влечений*.

Ибо что представляет собой система капитала для целочки Маркс? В действительности уже не *тело*, а абстракцию, уже не плотское, «художественное» единство внутреннего и наружного, руки и подручного орудия, ладони и участка ласкаемой кожи, дома и окружающей местности, усталости и подобающего ей отдыха, а «тело капитала», которое не есть органическое тело, которое кажется ей обремененным отвратительными болезнями, чьи органы отделены друг от друга тем, что должно было бы собрать их вместе, чье «опосредующее» единство не имманентно целокупно, а трансцендентно нецелостно. Деньги капитала сочетают разные несовозможности. Он составляется не медленным процессом рождения и роста, как живое существо, а прерывистым актом поглощения: он просто-напросто завладел тем, что уже было тут, под угрозой уничтожения, рабочей силой с одной стороны, денежной массой с другой, трудовыми средствами с третьей, и переорганизовал все это по-другому⁸, он не может существовать как «органическое» единство, его единство — чисто внешнее, как внешне единство, состоящее из нетерпеливого извращения клиента, безразличия проститутки и нейтраль-

8. См. *Grundrisse*, «Formes...»: «Капитал всего-навсего лишь соединяет массу рук с массой орудий, уже ранее имевшихся налицо. Он их только собирает под своей властью. Вот в чем заключается его действительное накопление» (Pléiade II, p. 352).

ности сутенера. То, что капитал втягивает в кругооборот своих преобразований все виды деятельности без разбора и способствует неразличимости пользований, для Маркса напоминает, коль скоро сексуальность утратила свои привязки, цель и оправдание в генитальности и воспроизводстве, распоясавшуюся мерзость частичных влечений. Вместо любовной чувствительности — бессмысленная чувственность бесчувствия. Вместо естественного и непосредственного порядка — возможное безумие. «Она сидела, отставив в сторону высоко задранную ногу; чтобы полнее открылась щель, обеими руками растягивала кожу. Так что на меня пялились «лоскутья» Эдварды, розовые и волосатые, полные жизни, как омерзительный спрут. Я запинаясь пробормотал: — Зачем ты это делаешь? — Видишь, сказала она, я БОГ... — Я схожу с ума... — Ну уж нет, ты должен смотреть: смотри!»⁹.

Выставленная на обозрение вульва Эдварды, обморок на улице (ибо Эдварда, девица из борделя, *может* тем не менее «*выйти*»), совсем как наемный рабочий, который отнюдь не является рабом), ее ненависть к клиенту («Я задыхаюсь, — взывала она, — но на тебя, церковная шкура, МНЕ НАСРАТЬ...»), возвращение в такси, совокупление со случайным шофером, венчаемое слюняво-синюшным оргазмом, — вот что обещает капитал любителям и любительницам органического тела и аффективных гармоний. Капитал — вовсе не утрата естественности отношения человека к человеку или мужчины к женщине, он — колебание примата (воображаемого?) генитальности, воспроизводства и различия полов, он — смещение того, что пребывало на месте, прорыв самых безумных влечений, поскольку он есть деньги как единственное оправдание или связь, а деньги могут оправдать все, он снимает всякую

9. *Madame Edwarda*, p. 21.

ответственность и несет абсолютный *бред*, он является софистикой страстей и в то же время их энергетическим протезом; и если «единство», которое он хочет приложить к социальному телу, вызывает у Маркса такой страх, то дело тут в том, что это единство несет определенные направленные *против единства и целостности* черты, за которыми просматривается великая эфемерная пленка.

Именно открытие этой пленки, по крайней мере наметки ее внезапного проявления в холодных водах капитала, и заставляет отступить влюбчивую юницу. Что остается любить в этом обществе, с чем связать себя столь дорогой чистым душам естественной, непосредственной, страстной связью? Задача, закрепленная малышкой за адвокатом Марксом, состоит в том, чтобы открыть объект любви, сокрытое неподценное, забытое за подрывом *цен*, нечто по ту сторону стоимости на ярмарке стоимостей, нечто вроде природного естества в противоестественности. В гнусном одиночестве порнографической независимости, на которую капиталистическая функция денег и труда обрекает всякий расход аффектов, вновь обрести естественную зависимость, некое Мы, диалектику Ты и Я.

Если действительно моделью отношений в капиталистическом обществе служит проституция, то отсюда следуют два вывода: первый, хорошо известный, состоит в том, что все отношения опосредованы и спущены в преступную Среду сутенеров-капиталистов; второй же, кроющийся в первом, *с точки зрения рассмотрения органического тела*, заключается в исчезновении оногo, в его замене рядом своеобразных, анонимных и безразличных (но только с этой точки зрения) отношений между клиентами и проститутками. Совокупность клиентских тел не складывается в органическое тело — и уж тем паче совокупность тел проституированных. В тело складывается только коллек-

тив сутенеров от капитализма — в подпольное тело, штаб; и только инстанцированию влечений, всех влечений в центре их власти мы обязаны своего рода коллективным существованием клиентов и проституток, потребителей и производителей. «Исчезновение» органического тела — вот обвинение, на которое, в общем и целом, от Маркса и до Бодрийяра (но в каждом из двух направлений это заходит куда дальше) оказывается обречен механизм капитала.

Но это неприятие, отнюдь не проясняя для нас либидинальную функцию или либидинальные функции, относящиеся к каждой экономической «стадии» капитала, напротив, в форме предваряющего любой анализ *отказа* поддерживает представление, что капитализм лишает нас интенсивности аффектов. Именно этот отказ и служит введением в политическую экономию и в семиотику как отдельные, то есть абсурдные и слепые к собственным допущениям, «науки», но и он же по-прежнему лежит в основе *критики* сих «наук»; и Маркс, намереваясь осуществить такую критику, не может избежать нигилизма такого отказа отнюдь не по ошибке, а потому, что вся его критика отталкивается от следующего отрицания: *нет, вы не можете заставить меня наслаждаться*. В этом же ряду остается и Бодрийяр, когда добавляет: вы можете заставить меня наслаждаться только *извращенным образом*, помещая меня вне амбивалентности, отрицая бисексуализм и кастрацию. Ибо не видно, почему это ограничение свойственно именно капиталу. Например, отчетливо видно, какие виды наслаждения вынесены за периметр эллинского гомосексуализма, а какие — вне иерархической организации средневековых гильдий. Зато кажется, что в безмерном и вязком кругообороте капиталистических обменов, будь то товаров или «услуг», возможны *все модальности* наслаждения и ни одна из них не подвергается остракиз-

му. К тому же в эфемерной и анонимной полиморфии этих кругооборотов проглядывает что-то от либидинальной ленты.

Итак, здесь нужно полностью оставить в стороне критику — в том смысле, что нужно перестать критиковать капитал, обвиняя его в либидинальной холодности или одновалентности влечений, обвиняя в том, что он не является органическим телом, не является естественным и непосредственным отношением пускаемых им в ход терминов; нужно признать, испытать, усилить невероятные, скандальные возможности, которые он открывает перед влечениями, и, исходя из этого, понять, что *никогда не было* ни органического тела, ни непосредственного отношения и природы как *предустановленного для аффектов места*, и что (не)органическое тело есть представление на театральной сцене капитала как такового. Заменим блеклую критику позицией, более близкой к тому, что мы на деле испытываем в наших текущих отношениях с капиталом — в офисе, на улице, в кино, на дорогах, в отпуске, в музеях, больницах, библиотеках, — то есть исполненным ужаса восхищением перед целой гаммой механизмов наслаждения. Нужно заявить: малышка Маркс изобретает критику (и ее бородатого прокурора), *чтобы защититься* от этого исполненного ужаса восхищения, того восхищения, которое испытываешь перед беспорядочностью влечений.

Несомненно, проституция все еще продолжает оставаться порядком, раскладом и распределением движений влечения по различным полюсам, каждый из которых выполняет в кругообороте благ и наслаждений определенную функцию. Но интенсивности здесь располагаются как в любой другой сети. Мадам Эдварда не только проститутка в смысле того порядка, который дозволяет семиотику и социологию проституции; она к тому же *помешанная*. Чему же обязано ее помеша-

тельство? Избытку наслаждения в профессиональном положении. Не уважена узда холодности: напротив, под прикрытием своего ремесла Эдварда осмеливается разнузданно предаться ярости и оргазму. Не разделение того, что причитается (потенциальному) любовнику, и того, что причитается клиенту; *а разделительная черта, крутящаяся вокруг самой функции разделения*, интенсивность, производящаяся без какой-либо отсылки к чему-то внешнему, а белым калением *того, что выносит вовне*. Таксист буднично вставит ей безрадостный пистон, но ничего не заплатит, а его колымага послужит вместо комнаты в отеле; он ничего не просил и в конечном счете поимел и прободал безумие, а не безразличную продажную плоть. Проститутка Эдварда путешествует по ту сторону любой своднической организации, но на месте, прямо на территории этой организации, — просто в силу своего положения продающейся вещи, тела-товара.

Ее ярость, вырванная из-под разделительной черты, из-под того, что ограничивает все приступы ярости между клиентами и куртизанками, несомненно идет рука об руку с другой намеченной Батаем чертой, — самостоятельностью Эдварды в рамках организованной проституции. Если проститутка сама себе хозяйка, если предлагает себя даже без оправдания злобностью сутенеров, если Иисус взбирается на крест без призыва своего отца, если, стало быть, некому взимать цену наслаждения-страдания, не стану говорить, что все становится ясным, но наконец немного приподнимается завеса намерений, интенсивность которых скрывает организация, будь то организация торговли женщинами или организация труда и его рынка, открывая, что прямо в лоне проституционно-зарплатного порядка недостает самой малости, чтобы помешательство Эдварды распространилось повсеместно (как раз это показал в «Новых временах» Чаплин: от узкой специа-

лизации рабочий, когда его тело предоставляет идти своим чередом наслаждению, которое он получает от машин и которое он им передает, становится своего рода помешанным богом): эта малость — разрушение круга отсылок, Среды и божественного треугольника, то есть капитала как места расчетов. Это не означает, что закон, что разделение, *отделяющее* женщину от клиента, исчезнет; наоборот, останется непреодолимая черта-барьер (каковая всегда сможет оставить место возвращению власти, возвращению бухгалтера, семиолога), но именно *на этот барьер* и *от этого барьера* будет проистекать предельное наслаждение, и это предельное наслаждение — действительно интенсивность, поскольку она воспламеняет не только клиентуру, но и персонал, не только клиента, но и женщину, — так что здесь, в *помешательстве*, намечается упразднение религии (будь то благого Иисуса, или сурового сутенера, или рядового капиталиста).

Не это ли и планировал Сад в своих глубоко *уравнительных* учреждениях сладострастия, и это совсем другое равенство, нежели то, за которое капитал берет на себя ответственность и развращает, побаиваясь его уравнений, — равенство в доступности наслаждения, не в собственности (таков капитал), а в наслаждении или даже «праве собственности на наслаждение», как говорит Сад? В этих отведенных разврату республиканских заведениях не только «все мужчины наделены равными правами на наслаждение всеми женщинами», но «с особой оговоркой, что они должны точно так же отдаваться всем, кто их пожелает, нужно, чтобы женщины могли свободно улаживать себя в равной степени всеми, кого сочтут достойными себя удовлетворить»¹⁰. Мадам Эдварда как

10. Sade, *La Philosophie dans le boudoir*, «Français, encore un effort...», J.-J. Pauvert, 1972, p. 215–217.

раз превращает бордель, где зарабатывает на жизнь, в один из этих демократических домов сладострастия, место, где в политическом равноправии на поверхность выходят интенсивности. И, будучи испуган(а), Маркс распознает, насколько одно равенство скрывает другое, насколько меркантильная эквивалентность поощряет, полностью его утаивая, обмен сладострастием и сразу же равенство прав на наслаждение, каковое есть ее блуждание без предела. Одно равенство являет собой порядок; другое — то же самое, но без сутенера и денег — является ниспровержением этого порядка. Ниспровержением посредством сгущения: девка — свой собственный сутенер, рабочий — свой собственный начальник. Но прежде всего наслаждение траханьем или трудом не инстанцировано в отсутствии, Среде, Капитале. Конец отчуждения?

Возможно, ничего подобного, Сад тоже видит в своем странном учреждении разврата фактор порядка, но *политический*. По соседству с экономическими кругооборотами на политическом круге восстанавливается круг инстанцирований и бухгалтерии. Кто-то скажет: возмещение? да ничуть не бывало; интенсивности никогда не обращаются как таковые, а только сокрытыми; вместо того чтобы скрыться в меркантильной эквивалентности, они спрячутся в республиканском равенстве. Если это смещение распространится, как того хочет Сад, то и в самом деле станет смещением, а ни в коей мере не поражением свобод или, скорее, либидинальностей, и Маркс не обманывается в этом. *Он* изобличает в капиталистической проституции грязный разврат; но *себя* в ней изобличает не имеющая хозяина полиморфная перверсия, помешательство раскрытых ее собственными руками «лоскутьев» Эдварды; помешательство, и случай, и анонимность, поскольку, как при мастурбации, руки, поднесенные к соскам, к клитору, к уздечке головки,

уже не принадлежат ни мне, ни кому бы то ни было еще и поскольку эрекция и опадание, которые они вызывают, им, женским или мужским рукам, ничем не обязаны, являются не их продуктом, а непрояснимыми напряжениями.

Или как в этой фигуре соития: на корточках, ступни на бедрах, содомизируя по самые волосы, левая грудь покоится в локтевом сгибе левой руки, правая — в ее, левой, пригоршне, правый сосок прищипнут и торчит между указательным и большим пальцами левой руки, голова запрокинута на левое плечо, рот разинут во всю ширь, три центральных пальца, соединившись, зондируют отверстие убежище, орошая язык и небо почерпнутой жидкостью. Остаются две руки, четыре ступни, дыхания, пот как посредник, заливающий соприкосновение спины и тулова. И что здесь чье?

Или в такой фигуре расставания: под ногтями они уносят крупницы кожи, собранные, процарапывая дорожки по гребню ляжек, в разверстых подмышках, в опадении плеч и крестцов. Это не две персоны, которые разъединяются при расставании, не два тела, возвращенные порознь самим себе. Черта раздела непрогнозируемо пересекает поля зрения, прикосновения, запаха и слуха; отметина на коже «принадлежит» также и языкам, которые ее любили или ненавидели, а не только пресловутому телу, которое этой кожей обтянуто. Части смешиваются, и, преследуя порядок «это твое, а это мое», их не распутать.

Этот порядок — порядок капитала, но и беспорядок этот — беспорядок капитала. Порядок считает и ведет бухгалтерию, беспорядок этим учетом приумножается и его сотрясает. Фигура мадам Эдварды повторяется в фигуре писателя-онаниста, механизма сугубо капиталистического: «По размышлении — говорит Гийота — найдется ли более грубо возбуждающее

зрелище, чем ребенок, который дробит левой рукой, а правой пишет. В поднимающемся тогда смятении следует видеть одно из выражений противоречивой воли, влекущей быть одновременно видимым и видящим («зрячим»), сутенером и шлюхой, покупателем и покупаемым, ебущим и ебомым»¹¹. А теперь: чем занималась левая рука прокурора Маркса, пока он писал «Капитал»?

11. «Langage du corps», in *Artaud* 10/18, 1973.

Сила

ТАКИМ образом, *критика* политической экономии инстанцируется в (не)органическом теле; это оно, красивое тело примиренной генитальности, позволяет охарактеризовать и отбросить капитализм и наемный труд как подведомственные проституции. Вся критика артикулируется вокруг следующих простых высказываний: прибыль скрывает прибавочную стоимость, прибавочная стоимость проистекает из затемнения потребительной стоимости рабочей силы ее меновой стоимостью; иначе говоря — из затемнения ее существенной, изобильной силы ее характером обменного, (само)достаточного товара; поэтому капитализм, не иначе, составил себе превратное мнение об *истоке* своего роста, и это недоразумение должно стать для него фатальным.

Это что, сокрытие силы в порядке? Отнюдь. Не то же ли это самое, что мы хотели показать в отношении знаков: осмысленный знак, знак меновой стоимости, скрывает тензорный знак, который тогда следует смешать с потребительной стоимостью, и наоборот? Ни в коем случае. Потребительная стоимость принадлежит к системе осмысленных знаков, она наравне с меновой стоимостью не вне ее. Что она вне, как раз и говорит, однако, Маркс по поводу потребительной стоимости именно *рабочей силы*. Ибо ее внеположность, ее разнородность ответственна, полагает он, только одна и ответственна за включение в систему событий: если капиталу что-то угрожает,

думает прокурор, то лишь потому, что он не может одновременно свести к минимуму рабочее время (v) и по-прежнему извлекать прибыль из эксплуатации этой силы, поскольку приращение органической композиции c/v постоянно побуждает понижать ставку прибыли и стимулирование вложений. Капитал завладевает силой и превращает ее в заурядный общественный труд, исчисляемый в календарных часах: он силу «связывает».

Можно, пожалуй, вскрыть своего рода гомологию между этой схемой и схемой Фрейда: нечто посягает на «психический аппарат» или на капитализм, некое возбуждение, которое проистекает из неизвестного влечения X или от силы и по отношению к которому «аппарат» или система реагирует не только *связывая* возмущающие эффекты включения этой силы в контур с устоявшимся напряжением, но и видоизменяя, на самом деле ее повышая, способность регулировать напряжение, в отсутствие коей система рушится. Ибо капитал состоит для прокурора как минимум в хищении средств, в захвате силы и запуске ее в устоявшийся оборот под эгидой закона стоимости и в форме накопительного или «мертвого» труда. Живая сила есть влечение как источник события, капитал есть ее смерть как ее связь. Фрейд, однако, распределит роли скорее наоборот: событие производится скорее влечением к *смерти*, а систему составляет жизненный эрос.

Очевидно, это обращение знаков свидетельствует об определенном «оптимизме» Маркса и «пессимизме» Фрейда. Но в свою очередь и скрывает весьма существенное: своего полного завершения марксистская диалектика достигает в игре силы и системы; именно действие, как угодно косвенное, силы на систему приводит последнюю к переломной точке. У Фрейда, напротив, противостояние между смертельными влечениями и эротической организацией не диалек-

тично и (в случае проведения лечения) не диалектизируемо; конечно, эротическая организация вызывает смертельные влечения и в некотором смысле извлекает из этого «пользу» (знаменитая «вторичная польза»), но они — не внешние по отношению к налаженному аппарату, а, скорее, его населяют, и это немислимое сожительство в одних и тех же знаках регулятора и расстройства как раз и есть сокрытие или расподобление, посредством которого всякий интенсивный знак преподносится как знак закодированный и какой-то закодированный (но не установленный) знак таит в себе интенсивность. Даже если сам Фрейд здесь и ошибался — например, трактуя в «Недовольстве культурой» влечения к смерти как агрессивность и тем самым устанавливая своего рода бинарность влечений, — так или иначе, его изобретение от 1920 года дает место или повод расподобляющему монизму: ничего подобного нет у Маркса, слишком для этого христианина.

Первый, вполне разрешимый (причем «изначально») для этого андрогинного Маркса «эффект» — расщепление силы на живую и мертвую. Живая сила дает больше, нежели получает, потребляет меньше, чем производит, маленькое метаэкономическое чудо дорогостоящего дара, являющееся забытым истоком любого обогащения. Эта абсолютная, невероятная, отрицательно-энтропическая чрезмерность как раз и замалчивается в воспроизводстве. Это и есть истинный *источник* капитала, непреложное событие, которое бесперебойно поддерживает процесс расширенного накопления и должно послужить поводом для смертного ему приговора. Предполагаемая при этом рабочая сила, сила, которая *высвобождает* больше энергии, чем *тратит*, полностью удовлетворяет сформулированному Батаем ходатайству в отношении траты и истощения. Что такое эта сила, как не воз-

вращение в «критику» некоего обязательного для модели престижного дара элемента? Сила истощается, и именно это истощение позволяет накапливаться капиталу. Такая модель выдвигается против модели обмена. Вы полагаете, что имеет место обмен, говорит малышка Маркс, но за всеми равноценными обмeнaми стоит исходный дар, необратимое соотношение неравенства, из-за которого любое равенство и уравнивание становится иллюзорным. Рабочая сила *неподценна*, не имеет цены или, по меньшей мере, стоимости, в качестве источника прибавочной стоимости она ускользает от всей системы оценок и в то же время делает ее возможной. Так что ей нанесен не просто *общий* урон, а *метаурон*, урон не экономический, а онтологический. Зазор между стоимостью, которую эта сила добавляет к стоимости используемых средств производства, и ее настоящей — потребительной — стоимостью оценить невозможно. Это не означает, что его нельзя зафиксировать, именно это на самом деле и делается в постоянных обсуждениях, пререканиях и соглашениях, которые окружают определение заработной платы и условий труда. Но если цена силы применительно к ее дарению может быть установлена только произвольным по отношению к тому, что происходит с прочими товарами, образом, то дело тут в том, что сила *не есть* объект, что она пребывает *без стоимости*, и именно поэтому ее цена сможет быть зафиксирована только во внеэкономическом контексте, вне системы стоимости, в контексте классовой борьбы. Таким путем сила ускользает от экономического подхода, а именно: по своей изначальной функции, и именно поэтому же она есть беспокойство и беспорядок, и ее оценка обязывает прибегнуть к конфликтам или к установлению договоренностей, каковые, кажется, относятся уже не к налаженному телу капитала, а к разнородному, недостоверному, двусмысленному,

беспокойному социально-политическому телу. Трансцендентность силы по отношению к системе, стало быть, проявляется в переносе ее определения из поля воспроизводства в поле борьбы.

Проститутки организуются, чтобы бороться с господством сутенеров. В глазах марксиста из этого вытекает только одно «политическое» следствие: если это делается для того, чтобы получить лучший процент с клиентских расценок, мы остаемся в рамках извращения силы, мы вписываемся в систему, заключаем в нее всю рабочую силу, впредь приравненную к товару. Так будет разоблачен *экономизм* в ленинской критике профсоюзных требований. Правильная борьба напротив стремится раскрепостить продажные тела от сделок с их так называемыми сутенерами (тогда как на самом деле это их поддерживают* проститутки) и установить повсюду великолепную трансцендентность *Того, что давало* (сила), маскируемую гнусностью *Того, кто получал* (капитал). Надежда молодой политической женщины просто заключается в том, что проститутки вновь станут плодовитыми девственницами, членами чистого (не)органического тела, которое они *в действительности* образуют. И что их дар будет наконец-то разделен между ними соразмерно их относительных потребностей, в точности так, думает Маркс, как обстоит дело с органами в здоровом органическом теле. Капитал или проституция, болезнь социального тела, часть, высасывающая силы из целого, искажающая отношения данного и взятого, переворачивающая соотношение между дарующим и одаряемым, «патрон», вроде бы дающий работу и продолжение жизни, тогда как это труженик загадочным образом дает избыток своей силы; силы, переворачивающейся в своем порыве в мнимое «благоразумие»

* французское *souteneur* буквально означает *поддерживающий*.

согласованного регулирования должностей, заработных плат, цен. Эмоции гнева или отчаяния, которые могут охватить левацких активистов или доведенных до крайности тружеников, когда они видят, как «пролетариат» соглашается после переговоров на новые расценки на свою проституцию, не имеют, конечно же, под собой экономических мотивов, как на то в действительности жалуются предприниматели, профсоюзы и партии (все добросовестные сутенеры), они питаемы страстью к *чему-то другому*, к какому-то органическому телу, скрытому за абстрактным телом капитала, к силе, размещенной *ниже* или *вне* властных отношений.

Но кажется, что этому представлению о трансцендентной внеположности силы по отношению к системе, способному лежать в основе прибавочной стоимости и, следовательно, прибыли, опасно угрожает нынешнее состояние капиталистического производства. Об этом знал и сам Маркс, как свидетельствует текст из *Grundrisse*¹, где он ясно говорит, что индивидуальная рабочая сила в своем непосредственном использовании *перестает быть источником богатства*, по мере того как развивается крупная промышленность, по мере того как «всеобщее общественное знание (*knowledge*) превратилось в непосредственную производительную силу». И это замечание по поводу решающего пункта обвинения, которое прокурор должен выдвинуть против капитала, каковым является эксплуатация или, как он здесь говорит, «кража чужого рабочего времени, на которой зиждется

1. Tr. fr., *Anthropos*, II, pp. 223 sq.; Pléiade, pp. 305 sq. Текст неоднократно цитировался и обсуждался (см. Marcuse, *L'Homme unidimensionnel*, Éd. de Minuit, 1968, p. 61; Mattick, *Marx et Keynes*, 1969, tr. fr. pp. 234–236; Naville, *Le Nouveau Léviathan*, t. I).

современное богатство», не может не ввергнуть малышку Маркс в отчаяние. Да, зиждется и зиждется, и беднякам не приходится надеяться, что они смогут отомстить за эту кражу переворотом (революцией), который наконец почтит бы неотчужденную трансцендентность рабочей силы, сам капитализм развивается так, что «вместо того, чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий становится *рядом* (*neben*) с ним». Итак, все больше прибавочного труда как условие развития богатства вообще; все выше потребность в щедро расточаемой силе, чтобы обеспечить рост.

Верно, что беспокойный Маркс тут же подставляет на место вынесенного на обочину бедного субъекта другую «главную основу производства и богатства», «общественного индивида», а то и «понимание природы и господство над ней в качестве общественного организма». Как понимать этого общественного индивида? Как все общество в целом, ставшее *субъектом* производства? Как совокупность индивидов, *обобществление* которых, «художественное, научное и т. п. развитие индивидов» будет поразительно возрастать благодаря сокращению до минимума рабочего времени и расширению времени свободного? Формулировки ученого прокурора по этому поводу весьма нерешительны, но его колебания не столь уж здесь и важны; важно, что Маркс, поставленный перед перспективой производства без эксплуатации непосредственной рабочей силы и, следовательно, без пролетариата, прочитывает в этом обещание какой-то еще рабочей силы, на сей раз анонимной и торжествующей: «Присвоение человеком его собственной всеобщей производительной силы», таков новый общественный субъект, сознательный, знающий и полномочный. Все то ли это объединенное тело, которого домогалась любовь генитальной крошки с берегов Рейна? Нет, это уже органи-

ческое тело, это тело без плоти, тело машин, подчиняющихся огромной голове. Машины суть «созданные человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила знания»².

Ну а теперь, социалистическим или капиталистическим будет это тело? Маркс пишет: «Тем самым рушится производство, основанное на меновой стоимости (...)». И еще сильнее: «Капитал вызывает к жизни все силы науки и природы, точно так же как и силы общественной комбинации и социального общения, — для того чтобы созидание богатства сделать независимым (относительно) от затраченного на это созидание рабочего времени (...). Это материальные условия для того, чтобы взорвать основу капитала»³. Почему взрыв? Потому что «капитал хочет эти созданные таким путем колоссальные общественные силы измерять рабочим временем и втиснуть их в пределы, необходимые для того, чтобы уже созданную стоимость сохранить в качестве стоимости». И вот каково «совершающее процесс противоречие»: «свести рабочее время к минимуму, а, с другой стороны, делая рабочее время единственной мерой и источником богатства»⁴. Итак, друзья, если капитал должен лопнуть, то оттого, что подсчитывает все богатства в рабочем времени, потому, что стандартом и основой стоимости является и остается измеряемая календарными часами рабочая сила. Но кто говорит все это? Что касается основы стоимости, отнюдь не капитал, который не хочет и не может ничего знать о своем источнике, а ожесточившийся в своих *делах* бородатый прокурор; это «противоречие», очевидно, смертельно только по лекалам его ненависти.

2. *Ibid.*, Pléiade, II, p. 307.

3. *Ibid.*, pp. 306–307.

4. *Ibid.*, p. 306.

Что касается мерил стоимостей, то у капиталиста наготове свой ответ: мы ведем подсчет не в рабочем времени, мы принимаем любую единицу, способную обеспечить фактам минимум обоснованности в нашей системе (направленной на производство ради производства); так что тело машин, увенчанное огромной абстрактной головой, называемое вами социальным субъектом и общей производительной силой человека, — не что иное, как тело современного капитала. Обсуждаемое здесь знание ни в коей мере не является достоянием всех индивидов, оно раздельно, оно — момент в метаморфозе капитала, подчиняющийся ей в той же мере, что и ей управляющий. И сегодняшние заработные платы, продолжит защитник буржуазных господ и бюрократов, разве они не содержат в себе нераздельным образом продажную цену рабочего времени и долю перераспределенных излишков? Ведь вы же отлично знаете, что стало невозможно на законном основании вменить в вину образованию дополнительного капитала метафизическое различие между потребительной стоимостью и меновой стоимостью пресловутой рабочей силы, то различие, которое единственно и способно лежать у истоков прибавочной стоимости; но что его образование просто требует вообще неравенства или различия потенциала где-то в системе, различия, которое отмечает границу системы и в то же время удостоверяет, что она не может быть изолированной, а должна беспрестанно черпать в новых запасах энергии, чтобы преобразовать ее в *еще больше товаров*. Быть может, сначала «должна» была черпать энергию людей, но это было для нее несущественно, она может спокойно пережить эксплуатацию в том смысле, в котором вы, прокурор бедняков, ее понимаете, и, как любая сложная естественно-природная система, требовать лишь необратимого преимущества в своих метаболических

отношениях с био-физико-химической обстановкой, из которой она черпает свою энергию. Система, стало быть, действительно внеположна, но внеположность эта ничуть не трансцендентная, а вполне естественно-природная. Не ваши ли это собственные, прокурор, слова: «Понимание *природы* и господство над ней в качестве общественного организма»? Что это за природа, прокурор? Некий «объект» перед лицом производительного социального «субъекта» — или же обстановка (природная, естественная), из которой черпает свою энергию *в равной степени естественная* система? И, если так, о какой вине может тут идти речь?

Тавтология

ЕСЛИ система капитала — в общем и целом *естественная* совокупность, а сам Маркс не раз признает, что не далек от того, чтобы с этим согласиться (высшая измена делу, которое он, как предполагается, защищает¹), множество противопоставлений, вытекающих из *желания расщепить данные*, должны отпасть. Было бы весьма уместно, например, похерить противопоставление «твердых потребно-

-
1. «Возражать на это, как делали сентиментальные противники Рикардо, указанием на то, что производство как таковое не является же самоцелью, значит забывать, что производство ради производства есть не что иное, как развитие производительных сил человечества, т.е. развитие богатства человеческой природы как самоцель. Если противопоставить этой цели благо отдельных индивидов, (...) будто нельзя вести, к примеру скажем, никакой войны, ибо война во всяком случае ведет к гибели отдельных лиц (...), остается непонятым (...), что, стало быть, более высокое развитие индивидуальности покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды приносятся в жертву. Мы не говорим уже о бесплодности подобных назидательных рассуждений, ибо в мире людей, как и в мире животных и растений, интересы рода всегда прибавляют себе путь за счет интересов индивидов. Прямолинейность Рикардо была, следовательно, не только научно честной, но и научно обязательной для его позиции. Но поэтому для Рикардо и совершенно безразлично, поражает ли насмерть дальнейшее развитие производительных сил земельную собственность или рабочих (...)». Karl Marx, *Histoire des doctrines économiques*, tr. fr. Costes, IV, p. 11; цитируется в книге: S. Latouche, *Epistémologie et économie*, pp. 569–70.

стей» в *противоположность* потребностям искусственным²; ограничимся тем, что извлечем следствия из устранения пары: стоимость в *противоположность* потребительной стоимости.

Чтобы определить первую, нужны, кажется, всего две вещи: определить *стандарт* количественной оценки, приложимый ко всем входящим в производство товарам, и правила пропорциональности для перераспределения продуктов в различных производственных отраслях. Именно так понимает все Пьеро Сраффа, когда, постулируя, что тело капитала пребывает в циклическом самозамещении (*in self-replacing state*), выдвигает так называемый стандартный товар как составную единицу, образованную отраслями производства, перераспределяющими совокупность своих продуктов согласно закону пропорциональности, который позволит восстановить предшествующее распределение продуктов и возобновить производство теми же методами.

Пусть производственное тело состоит из двух отраслей или производств, одно (П) производит пшеницу, другое (Ж) — железо; вся произведенная П пшеница должна быть перераспределена между П и Ж как средство к существованию и средство производства (пропитание рабочих); то же самое и для железа. Стоимостью, говорит Сраффа, будет отношение, в котором x центнеров пшеницы будут обменены на y тонн железа таким образом, что они окажутся полно-

2. В отрывке «Немецкой идеологии», удаленном из части «Святой Макс», Маркс противопоставляет Штирнеру *естественную твердость* «желаний», то есть потребность в питании и половые потребности. Э. Фромм цитирует этот текст в: *Marx's Concept of Man*, своем введении к изданию «Рукописей 1844 года» (New York, 1960). Р. Каливода уделяет этой дискуссии длинную сноску в книге: R. Kalivoda, *Marx et Freud*, tr fr., Anthropos, 1971, pp. 81–84.

стью перераспределены между П и Ж, как было в начале. Пусть, например, следующая производственная система организована из двух отраслей:

- (П) 280 ц пшеницы + 12 т железа \rightarrow 400 ц пшеницы
 (Ж) 120 ц пшеницы + 8 т железа \rightarrow 20 т железа.

Есть только одно *значение* отношения железо/пшеница, которое делает возможным равномерное воспроизводство, здесь это 1:10. Действительно, П использует для своего воспроизводства 280 ц пшеницы из 400 произведенных; он уступает Ж разницу, то есть 120 ц, в которой для своего воспроизводства нуждается Ж. Наоборот, Ж готов уступить П $(20 - 8) = 12$ т железа, которые П использует для своего воспроизводства. Итак, при условии, что 120 ц пшеницы обмениваются на 12 т железа, комбинации средств производства двух отраслей будут тем самым восстановлены в исходном состоянии. *Стоимость*, заявляет Сраффа, есть, таким образом, отношение равенства 10 ц пшеницы с 1 т железа.

Здесь речь и в самом деле идет о стандарте измерения, ибо «существует только один набор меновых стоимостей, который, если принимается рынком, восстанавливает первоначальное распределение продуктов и делает возможным повторение процесса»³. В некоей сложной совокупности стандартный товар или стандартная система окажется тем единственным набором меновых стоимостей, каковой позволяет вернуть производственное тело к начальным пропорциям. «Из этих стоимостей, — добавляет Сраффа, — напрямую вытекают методы производства», формулировка, которая, очевидно целит в неомаржинализм и все теории стоимости на основе субъек-

3. *Production de marchandises par les marchandises. Prélude à une critique de la théorie économique*, 1960, tr fr., Dunod, 1970, p. 4.

тивных спроса и полезности, но в ничуть не меньшей степени задевает марксизм и теорию стоимости на основе количества труда. Ибо такое вычисление полностью исключает различие между «формой проявления» и содержательной реальностью стоимости, различие напротив обязательное для марксистского учения⁴. Со Сраффой мы оставляем в стороне расщепление и театральность. Просто потому, что оставляем в стороне *укорененность* в некоей внесистемной внеположности, роль которой в экономической критике Маркса играла сила, а в его философском подходе — (не)органическое тело.

Сраффа, как и Маркс, исходит из фактов, но факты эти совсем не те: на протяжении всей его романтической карьеры прокурора для Маркса является и остается фактом отчуждение труда в собственность, в капитал, каковой тем самым оказывается не первичным фактом, а чем-то, ссылающимся на «факт» еще более архаичный и скрытый, на утраченное инстанцирование труда и потребностей — при некоем непосредственном посредничестве — в общественной природе или природном обществе: нигилистический факт, дающий основание для *интерпретации*. Сраффа принимает за факт систему капитала в качестве производителя и потребителя товаров: факт позитивистский, который нужно построить. Тут нет *аутентичной* исходной точки и *чуждой реальности* конечной, есть замыкание; товары преобразуются в товары, а заработная плата наравне с прибылью принимаются в качестве переменных, зависящих, конечно же, друг от друга (прибыль = 1 – заработная плата), но не скрытых от наблюдения, не нуждающихся в объяснении или интерпретации; в объяснении, то есть в построе-

4. Как повторяет Маркс в своих «Замечаниях на книгу Адольфа Вагнера» (1880); tr. fr., Pléiade II, pp. 1532–1551.

нии, зато нуждается то, как, с разнящимися в зависимости от отрасли «методами производства» (или, почти то же самое, «органической составленностью»), система может тем не менее поддерживать себя в равновесии, то есть продолжать существовать в качестве системы. Стоимость есть просто-напросто совокупность правил преобразования всех товаров как продуктов в товары как собственность производства. Вся целиком система этих преобразований может быть принята как единство ($= 1$), и меновая стоимость каждого товара сможет быть выражена в терминах стандартного «совершенного составного товара», то есть совершенно *замкнутым* образом; замыкание, стало быть, на уровне *системы* отраслей: «Обменные соотношения (для базисного товара⁵) зависят в основном от его *использования*, то есть того, что сделано из него в производстве других базисных товаров, от степени, в которой те товары участвуют в его собственном производстве». Циклическое самозамещение на уровне каждой отрасли: «В то же время цены средств производства базисного товара зависят от его собственной цены не менее, чем последняя зависит от них»⁶.

Из подобных *зацикливаний* в частности вытекает, что для определения стоимости того или иного товара в расчет *аналитически* принимается не количество заключенного в нем содержания (например, рабочей силы), а его обменность, предварающая (то есть соотношение его количества с количеством средств его производства) и *последующая* (соотношение его количества с количеством всех товаров, в чье производство

5. Продукт называется базисным, если он прямо или косвенно задействован в производстве *всех* благ. Только такие продукты принадлежат к способному послужить стандартом составному товару.

6. *Production de marchandises par les marchandises...*, pp. 10–11.

он вносит свою лепту). Стоимость может считываться только с совокупности кругооборотов (по крайней мере базисных товаров); там она читается вполне внятно, для чего требуется не возвращение к истокам, а построение теоретической модели, суммирующей и сочленяющей данные. Метаэкономическое противостояние потребительной и меновой стоимостей — или, скорее, потребительной стоимости и просто стоимости — тут полностью исчезает: есть только потребительно-меновые стоимости, они же цены в своей взаимозависимости или количественные соотношения товаров.

С чем, в общем и целом, имеем мы дело в подходе Сраффы? С теоретическим дискурсом в полном смысле слова, изгоняющим из себя все обращения к внеположному и к диалектике переворачивания экономической реальности, дискурсом, допускающим только регулируемые законами преобразования перепады между терминами, ни один из которых не имеет базисных привилегий, когда какой угодно товар в системе может быть выбран в качестве стандартного и только что описанный составной товар оказывается в теоретической модели всего лишь самым насыщенным эквивалентом того, что эффективно регулирует обмены в базисной области или эмпирической системе. Дискурс подобного рода по всем пунктам схож с дискурсом, разработанным Соссюром для языка, налицо то же пристрастие к эпистемологии (лингвистика скорее языка, нежели речи, экономика скорее системы товаров, нежели субъектов или благ) и, стало быть, то же понятие ценности-значимости как *регулируемого переноса*, замещающего значение-обозначение. Полностью синтаксическая точка зрения.

Что бы там ни пели сторонники Альтюссера, рядом со Сраффой предпринятая Марксом и неудавшаяся попытка заикнуть систему (и свою книгу о си-

стеме) не может не показаться половинчатой: для Маркса подобное «научное» описание запрещается тем, что ему нужно выполнить функцию прокурора, предписанную ему желанием объединить блага, средства и личности в одно-единственное тело, желанием гармоничной генитальности. «Тело» у Сраффы неуловимо, как неуловимо и тело капитала, сами товары представлены в нем лишь как члены бесконечной метаморфозы; и это наводит на мысль, что капитал функционирует наподобие теоретической системы. Такое сближение, очевидно, исключает любую катастрофическую перспективу: смерть капитала не способна прийти к нему изнутри, от какого-то противоречия, нет никаких противоречий, нет больше несбалансированности, нет смерти от разрыва.

Если воспользоваться словарным запасом малышки Маркс, Сраффа определяет подходящее поле и стратегию для группы великих сутенеров: экономическую идеологию, скрывающую под внешней строгостью проституирование людей и вещей в интересах сводников. По-нашему ли это сказано? В терминологии Бодрийяра обвинение касается скорее полного фетишизма этой структуризации: затемнения кастрации и двойственности по отношению к анонимности нейтральных благ. Тоже не наши слова. Мы говорим: вот структурный синтаксис языка, на котором говорят обмены товарами; он, похоже, один из самых точных (но разве мы экономисты, чтобы об этом судить...). Оставляет ли он что-то вне самого себя? Будем ли мы упрекать его наподобие С. Латуша⁷ в недооценке того, насколько отлична рабочая сила как товар от любого другого товара? Это означало бы пойти на попятную, опять разыскивать внеположное, сущность, про-

7. S. Latouche, *Epistémologie et économie*, pp. 547–550. С. Латуш является переводчиком книги Сраффы.

должать теологию (гуманистическую, атеистическую). Нам, напротив, люб холод этой системы и абсолютное отсутствие у нее красноречия: на языке у тела капитала в каком-то смысле только *ratio**, банкноты и счет, тавтология.

Если описанию Сраффы в этом плане чего-то и не хватает, то как раз это что-то его и поддерживает — инстанцирование либидо в этом *рацио*, накал, полученный от сегментации названного эфемерной пленкой континуума и тавтологической перестановки его сегментов, в конечном счете — от наслаждения *стоимостью*, то есть переносом, и ее алгебраическим сведением к нулю. Сей теоретический дискурс чреват не меньшим наслаждением, чем любой другой; его наслаждение кроется в самой холодности той модели, которую он выстраивает и которая согласно исходной гипотезе является моделью *равновесия* (статического или динамического), то есть *максимальной связи*, предполагаемой в объекте, о котором она говорит, но прежде всего эффективно достигаемой в свойственной ей аранжировке дискурса. Речь без вязкости, закреплённая на самой себе гайками непреложной аксиоматики, ориентирующаяся, следовательно, на обездвиженное или обездвигивающееся языковое тело, тело, о котором можно до бесконечности спорить, живое оно или мертвое, — вопрос этот неразрешим.

Но с либидинальной точки зрения даже эта оценка позитивистского дискурса замыкания остается очень и очень неполной. Инстанцирование желания в тавтологии — далеко не самая важная из формаций желания в капиталистическом механизме. Имеется странная операция, которую Маркс называл расширенным накоплением и которая ставит перед экономистами проблему роста. Трудности, возникающие в эконо-

* счет, смета (лат.).

мической теории из-за ее тавтологичности, представляются в точности теми же, которые в налаженном гомеостазисе системы может вызвать присутствие избыточной величины. Как может некая система получить в конце цикла больше, чем было потреблено в процессе производства? По существу, ответ на этот вопрос обычно сводился примерно к следующему: *эта система не изолирована*, она изымает или получает извне прибавки энергии, которые преобразует, включает в свои кругообороты, и они позволяют ей все более и более дифференцироваться. У физиократов внеположное называется природой, у Маркса — рабочей силой, у многих марксистов или кейнсианцев — третьим миром или неравным обменом⁸. Но в любом случае нужно ввести понятие *кромки*, по которой соприкасаются система в своей тавтологии и внешний запас уловимых энергий.

Механизм завоевания, стало быть путешествия по ту сторону правил тавтологии, который не следует представлять себе не только под очевидной личиной военного или торгового империализма, но и как куда более изощренное и завлекательное завоевание времени. Ибо завоевание как таковое не является присущим капитализму процессом, его испокон века практиковали великие деспотические державы и, без сомнения, еще кочевники; но для кочевников оно не представляло угрозы, поскольку было всего-навсего грабежом преходящей энергии, изъятием прерывистым и тем самым регулируемым-регулирующим; что же до дер-

8. В этом пункте С. Латуш вновь порывает со Сраффой (*op. cit.*, pp. 550–551): тот, будучи наследником Рикардо и «этакого Маркса» (того самого, который, согласно нам, начинает *наслаждаться переносом*), опускает, «забывает», что для роста системы необходимо, чтобы у нее имелись «предварительные рынки сбыта». Следовательно, нужно вернуться к неравному обмену, заявляет Латуш.

жав, для них завоевание напротив всегда оказывалось фатальным, поскольку создавало разрыв между завоеванными количествами энергии и количествами энергии, способными к усвоению: первых в сравнении со вторыми всегда либо слишком много, либо слишком мало. Капитализм, напротив, под именем расширенного накопления, роста, развития и т. п. включает в себя *механизм регуляции завоевания*, механизм перманентного завоевания. И главной деталью сего механизма является определенное использование валюты, когда ставка делается на время. И нужно выделить *либидинальную функцию* этого использования; приблизиться к этому позволяет рассмотрение меркантилизма, а для начала — коммерции.

Коммерция



Никомахова эротика

НЕ БУДЕМ дожидаться, пока историки удостоят следующее событие (тем паче, что они, может статься, это уже сделали...), дабы превратить его в ядро занимающих нас, либидинальных экономистов, вопросов: *мезон**, который Детьен, Видаль-Наке, Вернан, Финли помещают в пустой центр коллектива воителей-ораторов архаической Греции, это место складирования совместно награбленного, эта трибуна посреди гражданского мира, этот чертеж *изономии*** граждан, эта ступица, где сходятся все политические спицы и нейтрализуются все диаметральные обмены, этот, короче говоря, нуль, ну да, именно его под именем монеты установил в качестве *судьи* экономических обменов Аристотель. Справедливость — распределительная — сего судьи состоит прежде всего в том, чтобы *обнулить* члены товарообмена, а также и самих участников обмена, поскольку один хочет («желает», требует, жаждет, домогается, ждет не дождется) того, что есть у второго. Маркс, перечитывая тексты «Никомаховой этики», придет к убеждению, что теория товарообмена, которая, в частности, ограничивается *ценами и потребностями*, не способна понять, почему за один стол следует предложить два стула, а не три. И скажет: нужна объективная стойкость, общий для двух членов измеримый элемент,

* середина (греч.).

** равноправие (греч.).

нужно, таким образом, опуститься *под* рыночную сцену и отыскать в ее подполье совершенно объективную и обязательную машинерию субъективных и случайных товарообменов. Так поступая, он, очевидно, преднамеренно *понижает значение* занимаемого ценой места, превращая ее в поверхность, *кожу* экономического тела, чуть ли не в иллюзию.

Но, если снова отправляться от нуля монеты-судии, от его понятой Аристотелем (не озаботившимся, стоит лишний раз повторить, разобраться, как и тем паче почему фигура изономического военно-политического круга оказалась — или не оказалась — перемещена в экономическую сферу; или лучше так: как и почему в аристотелевском мире на место мужей, носителей оружия и слов, приходят торговцы и товары) функции обнуления, мы принимаем совершенно всерьез эту кожу тела как раз потому, что заявляем: в либидинальной экономике внутри и снаружи нет ничего кроме кожи, ничего кроме поверхности, машинерии не существует, нет ничего кроме односторонней поверхности, либидинальное тело — это лента Мёбиуса, а механизм наподобие расклада с *мезоном* — отнюдь не подпольная машинерия сценического помоста или кулис, совсем наоборот, он заправляет определенными инстанцированиями либидинальных побуждений на теле-ленте, блокировкой и исключением отдельных областей: тем самым болтливые педерастические воители выказывают женщинам, рабам, метекам, детям, чужестранцам, природе свой даже не зад, а *профиль*, целиком озабоченные разболтанным кругом, в котором накапливаются внутренние долги смертей, жизней, воспроизведений и речей, впечатленные исключительно выравниванием и погашением всего этого, удержанием около стабилизирующего нуля, не перехватывая более на стороне никакой «внешней» силы, если она не способна обрести свое выражение,

свое место и нейтрализацию в среде высчитывающих граждан.

Таким образом «политические» договоренности — и договоренности меркантильные в самом непосредственном смысле, сиречь торгашеские, договоренности рыночные, при которых обмены совершаются посредством выплаты денег, — не воспринимаются нами как выражение *чего-то иного*, например скрытых производственных отношений, некоего нуждающегося в расшифровке подспудного строя, нет, мы принимаем их как модальность, фигуру, механизм, посредством которого влечения, пробегаая по поверхности «тел» — молодых и старых, мужских и женских, греческих и негреческих, — либо оказываются отброшены к этому центру, где они слипаются, сочетаются, сговариваются и непременно должны в конце концов обнулиться; либо сразу же выбрасываются «наружу». Отсюда без всяких метафор вытекает многое, прежде же всего — что «тело» гражданина, знаменитое греческое тело, представляет собой крохотный фрагмент полиморфной (односторонней) ленты, а полис, *полития** призваны сделать *полезным*, используемым только этот крохотный фрагмент ленты. Гармоничная объемная целостность атлета есть пристрастие к участкам либидинальной поверхности. Что такое тело-гражданин? Вложение влечений в пенис и логос. Но уд и язык *отклоняются* здесь от мест, предлагаемых им конфигурацией других обществ.

Отнюдь не собираясь приберегать свою сперму для женской матки и, следовательно, для размножения рода, пифагорейские педерасты делят ее на части. Они станут-таки оплодотворять своих жен, просто такова цена, и ее надо заплатить, чтобы снабдить полис юношами, которых предстоит воспитать, вооружить, при-

* государственное устройство (*греч.*).

нять и обнулить в гомосексуальном кругу. Часть спермы для размножения, часть для мужского общения. Они странным образом переворачивают компоненты расклада, который вполне можно было бы счесть естественным; они проституируются, когда спят со своими женами, ведь проститутка преобразует наслаждение клиента в деньги и, стало быть, флегматически конвертирует извращенное либидо или просто его применение, избыток рассеянной в обществе энергии влечений, избыток для общества опасный, смертоносный в своей способности послать его на все четыре стороны, не заботясь о его органическом единстве; итак, проститутка конвертирует эти извращения или отклонения энергии в валюту, а ту — в товары (и даже капитал), присматривая тем самым за охраной социального ансамбля, смиряясь со священным проклятием генитальной стерильности, но в то же время провоцируя возвращение этих «убыточных» издержек в кругооборот социальных обменов. Проститутка таким образом выкупает извращение (отклонение влечений), возвращая его продукт, не сперму, конечно, а ее эквивалент, деньги, в канал, не своей матки, каковой во время общения с пенисной клиентурой по необходимости перекрыт, а рынка благ и, следовательно, общества. Наш же воин, когда делает своей жене детей, поступает точно так же, как и проститутка, когда она делает обществу деньги со стерильным извращением своего клиента. И как клиент оплачивает деньгами стерильность своего наслаждения, воздавая тем самым, как бы там ни было, должное социальному эросу, так и гражданин оплачивает спермой, уделенной плодовитости его жены, то подлинное стерильное наслаждение, которое он способен испытать, с другой стороны, только в гомозротическом кругу сограждан. Так что речь здесь идет не о захвате смертоносной энергии в монетарной форме, а о ее регуляции

в форме генитальной, но эта регуляция впредь предстает — таково грандиозное греческое переворачивание — как новая и настоящая проституция, проституция наоборот, впредь всякая женщина, и не *из-за своей стерильности*, а *из-за своей оплодотворяемости*, в качестве машины, преобразующей сперму в ребенка, в потенциального воина, — всякая женщина предстает по-сему как придаток, отвратительный, но необходимый для единственно дозволенной формы функционирования наслаждения, каковой здесь является гражданское общество словоохотливых воинственных педерастов. Для них проституцией становится размножение рода, то есть обязательный выкуп в форме воспроизведения детей за стерильные интенсивности гомосексуального наслаждения. Они оплачивают спермой отвод спермы. У них, таким образом, по два уда, один для подобного платежа, другой для гражданского наслаждения.

Ну а как обстоит дело с этим последним, не с платежами на границах мужского круга, а внутри него? Что идет здесь в обмен, коли это уже не дети, то есть не средства воспроизводства? Как организованы в кругу воинов подключения тел в качестве либидинальных лент? Требуемая от членов этого круга абсолютная тождественность, то, что называют равенством граждан, *изономией*, равное расстояние от центра, *мезона*, тот факт, что все они как на подбор самцы, носители аттического наречия и гоплиты, что каждый из них способен выйти в центр, на ту пустую трибуну, которую тем не менее никто не должен иметь возможность занять и присвоить надолго, тот факт, что слова политического решения должны следовать особому правилу *тетралогоса** (я говорю, ты отвечаешь, я тебе отвечаю, ты мне отвечаешь), после чего прини-

* четверословия (греч.).

мается решение (*булейсис*) — все эти черты превращают *политию* в странный механизм *обнуления различий*. Это обнуление разыгрывается с самого начала, поскольку такому кругу граждан нужны только самцы; и оно действует в качестве правила для всех правил политического руководства, таких как утрата должностных полномочий, избираемость руководителей, возможность отзыва обвинений, публичное обсуждение всех решений, подсчет голосов: во всех этих случаях имеет место возврат к нулю, нейтрализация нулем. Эта демократия, скажем мы, покоится на затемнении разницы полов и затемнении труда. Но кроме того она подразумевает в своих недрах геометрическое оформление тел влечений и вдобавок требует алгебры влечений, их сравнимости, их взаимозаменяемости и обнуляемости с помощью некоего нейтрального элемента.

Невозможная опасная связь Алкивиада с Сократом (по крайней мере та, о которой рассказывает в «Пире» Платон) не только доказывает, мы и так это знаем, насколько эротично разыгрываемое между гражданами, она к тому же учит нас, что круговая организация желающих тел в *политии* с необходимостью вписывает их в обмен на равных, в эквивалентность. Алкивиад предлагает себя Сократу, чтобы тот получил наслаждение от его молодости и красоты, но с тем, чтобы получить в обмен тайну мудрости Старца. Речь идет о сделке, а она, само собой, предполагает взаимозаменяемость членов, каковыми в данном случае выступают, с одной стороны, область пениса-ануса (Алкивиад), а с другой (Сократ) — область рассудительного рта. В этом деловом предложении нужно, конечно же, видеть частный случай любовного аванса. Наслаждение в своей политэкономической извращенности рассчитывает на прибыль и учитывает, что именно оно авансирует: разрядимся как можно рентабельнее и с минимальными тратами. Алкивиад, стало

быть, подсчитывает, а Сократ, оправдывая свой внешний отказ от совершения сделки, по сути дела выдает теорию любой сделки (в рамках простого — политического — меркантилизма), каковая состоит в том, что тут *ничего не* выиграть, все со всем обменивается, баланс любого подсчета оказывается нулевым. Золото моей мудрости, говорит Сократ, равно нулю. Именно такой *добродетели* требует *полития*: твердо придерживаться нуля в обмене побуждениями, жить, не проигрывая и не выигрывая, наладить обращение либидинальных энергий согласно *минимуму*, минимуму проигрыша и максимуму выигрыша, допустимым для каждого из двух участников игры *с нулевой суммой* (обмениваемые количества постоянны) и *с полной информацией* (каждый знает, что именно другой запросит у центра): примером может служить ничейная партия в шахматы.

Итак, стерилизация удов и возмещение спермы; а также ограничение числа обменивающихся граждан, и еще эротизация речи, посредством которой в этих политических играх делаются необходимые *объявления*. Итак, полис создается целокупной работой над входящими в него «телами», отесыванием, которое ограничивает их несколькими полезными органами и исключает все остальные, все вагины, все пришедшие с чужбины языки, все не способные убить, а способные только работать руки, все речи, произнесенные не *в среде* и, без сомнения, еще многое и многое другое... Отнюдь не являясь совершенным человеком, *калос кагатос** есть сечение тела как ленты влечений, фрагмент поверхности, куда строго вписаны вложение либидо и разряжающее его выделение. Но это еще не самое удивительное; куда удивительнее, что разрядки одного тела в другие должны компенсиро-

* прекрасный и хороший (греч.).

ваться, что, следовательно, все продвижение влечений по кругу должно проходить через центральный нуль, а после каждого цикла вся совокупность обменщиков может заявить, что они *квиты* — то есть заявить о *quies**, упокоении в нуле. То есть не только раздробление тела-гражданина, что само по себе не так уж ново, поскольку тело влечений никогда не было и никогда не будет единым, объединенным с самим собой, и никакая общественная организация не может опереться на его невозможную целостность, — но и инстанцирование полезного сегмента этого тела в нуле-центре. Закольцованное извращение: обнуляя в движении, по кольцу полиса. Заимообращение.

С этой политической операцией мы сталкиваемся в частности при введении расщепления стоимости на потребительную и меновую. Если задействованные в *политии* тела, а у Аристотеля, задействованные в *койнонии*** блага и потребности, можно обменять по закону конечного нуля, то потому, что сначала они претерпели строгое либидинальное «воспитание», помогающее оставить на месте, на *агоре*, на рынке, только сегменты ленты, в которых наслаждение будет инстанцировано конвертируемым образом. Рыночная эквивалентность является дубликатом политической гомосексуальности: к этим фрагментам тела и потокам, которые их пересекают, можно применить знаки плюс и минус, поскольку представленные однородными, они оцениваются количественно. То, что Аристотель, первый из политэкономов, назовет потребностью, *крейя*, становится давлением влечений, побуждающим наслаждаться в изономическом, заимообратном сегменте тела. И потребительная стоимость того или иного блага, сиречь стоимость пользования им в условиях этого

* покой (лат.).

** общность, община, сообщество (греч.).

круга, окажется способностью сего блага при подключении к сегменту желającego тела не только довести его до разрядки, но и сделать продукт этой разрядки снова рыночным и обнуляемым при окончательном погашении проигрышей и выигрышей. Как следствие, потребительная стоимость непосредственно подчиняется стоимости меновой, пользованию в смысле уже скорее экономистов, нежели эротологов.

Но это не означает, что ее не существует, что она иллюзорна или отчуждена. Ничего подобного, и мы подчеркнуто поворачиваемся к такой ветхой критике спиной. Повторим еще раз: чтобы ее поддержать, следовало бы научиться говорить о целокупном либидинальном теле, о ленте или подборке органов, доступной вложению во всех точках, способной повсюду без устали наслаждаться, по отношению к которой любое инстанцируемое тут или там наслаждение достигалось бы лишь ценой самой настоящей ампутации. Мы, либидинальные экономисты, узнаём всю эту обветшалую образность, тут не столько наслаждение как фантазм (в общем и целом грустная, нигилистическая идея), сколько образы оцелокупливания, эроса без влечения к смерти (или примиренного с нею у Маркузе), единства без потерь. Идея, сколь бы странным это ни показалось, не слишком чуждая *механицизму*: ведь в нем, как и во всякой физической теории движения, по исходной гипотезе отсутствует принцип, согласно которому некий неотвратимый, неустранимый беспорядок в непредвиденные моменты и в неподдающейся оценке модальности может разлаживать организации движения и расчленять механические тела. Но влечение к смерти, о котором говорил Фрейд и которое поддерживает наш собственный либидинальный экономизм, напротив подразумевает фантастическую *случайность* (не само по себе, а из-за своей неразличимости), и если он называет его влечением *к смерти*, то потому,

что эта случайность неминуемо чревата повреждением механизмов прямо на месте, их летализацией, наподобие того как «хорошее» функционирование этих механизмов — например, механизма *изономии* граждан и товаров — заглушает своей гармоничной музыкой скрежет и крики всех сегментов тела-ленты, исключенных из обращения, из ирригации либидинальных потоков, стерилизованных, бунтующих: исторгнутых вне заимообращения. Если потребительная стоимость с самого начала вводится вместе с меновой стоимостью в рамках геометрии и алгебры полиса и рынка, то дело тут в том, что она без этой меновой стоимости и этой *изономии* — ничто, и мы бы не сумели, как делает Маркс, воззвать к одной из них против другой как к чему-то подлинному против незаконно выдвинувшегося. Все ложно и все истинно. Полезность и ее «стоимость» суть соответствующие обмену и равновесию раскройке тела. Все это один и тот же механизм. Потребление и потребность — не нечто внешнее, или естественное, или отсылочное, с чьих позиций можно было бы критиковать обмен, они составляют его часть.

Нужно, чтобы всему была назначена цена, ибо в таком случае всегда будет возможен обмен, а если будет обмен, будут и общественные взаимоотношения. Конечно, — добавляет Аристотель, — в действительности вещи столь различные не могут стать соизмеримы, но, если иметь в виду потребность, основания для соизмерения достаточны. Итак, должна существовать какая-то единица, причем основанная на условности (*экс гипотезеос*). Посему она зовется монета (...). Итак, монета, словно мера, делая вещи соизмеримыми, приравнивает (...). Монета служит в известном смысле посредницей (*мезон*) (...). Словно замена потребности, по общему уговору появилась монета («Никомахова этика», 5, 8).

Итак, *на самом деле* члены обмена не взаимозаменяемы, *каждый сегмент либидинальной ленты совершенно единичен*. Но, чисто условно, под именем потребности, полагается измеримым давление сил желания на подобные точки этой ленты и, чисто условно, под именем блага, ему для подключения и разрядки противопоставляется пропорция другого тела или телесного продукта. Но *кто* все это делает? Аппарат *политии-койнонии*. Что же до монеты, она есть единица как монета счета и нейтральный элемент как монета платежа: условность условностей потребности. Потребность — это то, что может уничтожиться монетой. Монета — нуль потребности. Но дело в том, что потребность была прежде всего срединным местом желаний, растворением интенсивностей в измеримых интенциях, совсем как изономический гражданин получается вытеснением гетерономий и аномий. Потребность сводится к желанию, удерживаемому в канонах идентичности, она способна к обмену, поскольку ничем не выделяется, безразлична.

«Нужно учесть будущие обмены. И если сегодня нет ни в чем нужды, то монета служит нам как бы залогом (*эгзугрес*) возможности обмена в будущем, если возникнет нужда». Этот монетарный нуль есть, стало быть, еще и нечто совсем иное: он есть временная инстанция, вечное настоящее возможного обмена, то есть возможной потребности и возможного блага. Это «в любое время» рынка и сообщества. Монета вводит некую всевременность, всевременность экономического цикла и всевременность мысли, поскольку и то и другое инстанцируется *в среднем*. Монетарный нуль есть область обнуления, потенциальная, всегда возможная: я голоден, я покупаю, я ем; там, где была внеположность некоей потребности и некоего блага, не остается больше ничего (потребность удовлетворена, благо потреблено), кроме нуля уплаченных денег,

перешедших в руки продавца. Каковой не испытывает никаких потребностей, этот нуль у него в руках заверяет меня, заверяет всех нас (кто пребывает на периметре), что он *вновь пустит* эти деньги в обращение в обмен на какие-то из наших благ. Этот нуль оставшегося в прошлом обмена, означающий, что мы квиты, в то же время является нулем первого взноса в счет грядущих платежей. Между потребностью, сей политэкономической формой желания, существенной чертой которой является платежеспособность, то есть возможность ее денежного разрешения или упразднения, между этой потребностью и этим самым ее упразднением денежный нуль *открывает* длительность длительного, постоянство. Потребность платежеспособна и, благодаря постоянству, вместе с тем прогнозируема. И все то, что находится на периферии политического торгового круга, оказывается тогда инстанцировано в *возможном*. Но во влечении, цепляющемся за эти малые сегменты двумерной пленки, нет ничего более неведомого, нежели возможное.

С возможным начинается *мышление*. Именно поэтому с *политией* и рынком начинается *логос*. Как будто голос или письмо, производство знаков с целью обмена присвоило почти все либидо тел граждан-торговцев. Я не говорю, что тело, пока оно говорит, пишет, думает, не наслаждается, оно является сегментом плоского тела влечений, но его заряд, вместо того чтобы проявиться в единичных интенсивностях, ограничивается не просто потребностью рынка и полиса, но даже и нулем, вокруг которого оные центрируются, нулем монеты и дискурса. Верх берет нигилизм: потребности, скажем мы, и, стало быть, предположительно наделенные ими тела, блага и их собственники, говорящие рты, — все это только и делает, что перемещается в беспрестанном транзите, и нет ничего насущ-

ного, бессмертна только смерть, пустой *мезон*, вокруг которого вращаются члены *койнонии*.

Улисс, транзитом перебирающийся из формы в форму товар, возвращается на Итаку. Улисс, говорун и лгун, все его слова, правдивые или лживые, обнуляются в конечном узнавании, все испытания в конечной идентичности. Улисс — это гегелевский дух, господство возможного, обесценивание любого утверждения в интересах ничто, гегелевский скептицизм, уже достигший своей пустой полноты. Путешествие по кругу, ни за чем. Это путешествие монеты, она превращается во все свои воплощения, но ни одним из них не является, они — всего лишь моменты чего-то, что *ничем* не является, денег. Но это также и путешествие философского понятия, методом проб и ошибок стремящегося обменяться согласно правилу логики (*детерминация*) и сводящего утвержденные и утвердительные единичности к представлениям или формациям самого себя, совсем как монета опрокидывает все вещи в свои *возможные* детализации.

Умереть / не умирать. В этом пульсировании «да» и «нет» (которое, согласно Кюльоли, отлично передается по-французски вопросительно-рефлексивным инфинитивом: *voyager...?**), лингвист видит модальность возможного, которую опять-таки называет *понятием*. Можно подумать, что под внешне различными выражениями она существует во всех языках, но тот расклад или фигуру, о которых мы говорим по отношению к грекам, составляет преобладание этой модальности над прочими как преобладание *негативного*: *нет* наравне с *да*, отрицание с утверждением, утверждение, утверждающее только при условии, что оно определяет, исключает. Работа Сократа, бинарные анализы позднего Платона. Ну а желание,

* путешествовать ли...? (*фр.*).

будучи перемещением сил по либидинальному телу, не знает «нет». Исключение отдельных областей, блокировка отдельных путей, застой, из-за которых порции энергии окажутся вложены в системы орошающих те или иные зоны каналов, — ни одна из этих операций не носит характера отрицания или отвержения, каждая проистекает единственно из-за вложения либидо; и, за исключением позывов ревности, лишь в теле запомненном, инстанцированном в памяти, в постоянстве, в действительности — в концепции, значит, его жизни (его выживания), — лишь в таком теле и по отношению к нему, по отношению к его предполагаемой целокупности можно будет сказать, что инстанцирование сил наслаждения в таких-то «его» областях сопровождается запустением других и, следовательно, своего рода отвержением, направленным на эти последние как на неприемлемые для первых объекты.

Здесь надо принять метафоры Фрейда с полной серьезностью, то есть *не воспринимать их* как метафоры или принять их совсем просто, — те, в которых с помощью образов странных городов или краев, таких как Рим, таких как Египет, каковыми являются «Тюрьмы» Пиранези или «Другие миры» Эшера, он наводит на мысль о всецело утвердительном бессознательном, аккумулирующем одновременно во всех точках либидинального тела внешне (для логоса) самые противоречивые вложения. Этими надменными нарушениями элементарных правил пространства-времени Фрейд наводит на мысль как раз об утвердительном захвате либидинальных территорий. Нигилизм и вправду идет от Сократа — не так, конечно, как полагал доверившийся слегка наивному дуализму «Рождения трагедии» Ницше, а от модели говорливого гомосексуального гражданина-воителя, представленной у раннего Платона Сократом.

Когда Платон вкладывает в уста отказывающегося от сделки с Алкивиадом Сократа *nihil**, это (на сей раз...) отнюдь не *nihil* некоей трансценденции, состояния аффектов или мыслей, которое бы поддерживалось вне досягаемости, помещенным в другую область, — это отрицание такой области и тем самым вообще отрицание гипостазированного места, утверждение, что нет конкретного, отличного от места торговли места дискурса и знания, к которому можно было бы приблизиться, заплатив самую высокую цену, и это внезапно возвращает на свое место, в обнуляющий обмен, философические слова, тем самым обреченные, как и все меновые объекты, на уничтожение; с другой же стороны, объекты эти впредь предстают уничтожимыми в тот самый момент, когда желание завладевающего ими тела схватывает их как свои позитивные продолжения, эти объекты обречены на уничтожение бухгалтерским нулем в точности в то же время, что и желаемы. Если золото моего знания есть нуль, говорит Сократ, это не означает, что оно — ничто, это означает, что оно — монета, проводник обменов и средство обнулить «долги», то есть застой силы, остановленные на либидинальных телах, *иллюзии и ошибки*.

Итак, внутри круга царит нигилизм. Преобладание *понятия* (в смысле лингвиста), то есть концепции (в смысле философа) или монеты, сказывается не только на телах, преобразуя перемещения энергии в потребности, не только на предметах, преобразуя в потребительную стоимость их подключение ради разрядки, оно скажется также на говорящем рте, навязывая ему наслаждение уже не от производства рассказов о судьбах, не от впредь популярного лубочного перепева мифов или от впредь художественной

* ничто (лат.).

инсценировки трагедий, то есть от симулякров, которые сходны с либидинальным телом в том, что ценны переносимыми ими предельными интенсивностями, заставляя плакать, радоваться, кричать тех, кого называют зрителями и кто является неистово подключенными к этим симулякрам телами, дабы выкачивать из них и в них изливать свое удовольствие-страдание,— нет, гражданин рот должен будет наслаждаться цивилильным политическим обменом доводами, набившими оскомину «Лицом к лицу» и «На равных»* Исократов, Лисиев и прочих сутяг подобного рода, всяческих Пейрефитов и Марше**, хорошим тоном, каковым является *ровность* тона и нрава вкупе с риторической регулировкой их перепадов. Вместо рассказов — аргументированные речи. Рот *должен будет* наслаждаться именно так, это еще отнюдь не означает, что так оно и будет, уже Платон достаточно часто жалуется, что этого не происходит, что все эти демократы — неотесанные невежи, что такие как Калликл говорят не для того, чтобы достичь минимакса, а для того, чтобы устранить соперника, и что тиранический полис подобен телу, рассеченному на безумные поллярности. Тем не менее вместо хорошей (нулевой) политики из этого требования выйдет не что иное, как философская речь, в виде несущих нейтрализующую функцию диалогов, где словам выпадает завершиться в понятии, в отношении которого согласны все протагонисты (ортогональные тела-граждане) и с которым, следовательно, наконец исчезают все основания продолжать дискуссию. Это понятие, эта концепция, есть слово, которое сможет погасить задолженности между

* популярные общественно-политические ток-шоу на французском телевидении 70-х годов.

** передача с участием этих политических деятелей от 12/09/1972: «Социалистический мир: провал или успех?».

игроками, оно станет монетой для новых ртов, *nihil*, в котором они всегда смогут уничтожить движущие ими либидинальные силы. И так же, как гражданин-тело отвергает матки, руки-рукодельницы, варварские фонемы и синтаксисы, гражданин-рот спровадит крики, все знаки принадлежности к либидо, в застенки ночных акций Диониса. Первое заточение: ночь, первая тюрьма с точки зрения прекрасного эротического солнца аполлоновцев. Его черный не-рынок.

Похвальное слово лидийцам

ГЕРОДОТ (I, 94) говорит: «Лидийцы первыми из людей, насколько мы знаем, стали чеканить и ввели в употребление золотую и серебряную монету и впервые занялись мелочной торговлей». Строкой выше он отметил, что единственная разница между греками и лидийцами, монетчиками и торговцами, состоит в том, что лидийцы предают своих девушек проституции. Следует восхититься сей либидинальной обоснованностью. Платежная монета — это нуль, водворенный *эйс мезон**, и *койнония* мужей (на сей раз торговцев) с центром в этом нуле вкупе с гомосексуальным извращением, установившимся на рынке в форме однородности норм обменщиков и обмениваемых благ. Эти нормы извращены в том смысле, что они *стерильны*, поскольку все обмены должны достигать обнуления. Ни в чем не способствуя размножению, они увлекают его в тупик непродуктивной алгебры.

Центрированной на нуле *подведения итогов* инстанции рынка только и остается, что в такт отныне отрегулированной пульсации нарождающихся тут и там на окружности торгашески-меркантильного круга «потребностей» биться в телах так называемых покупателей. Каковые, стало быть, приходят в центр, на рынок, и сравнивают то, что каждый может (хочет) отдать, с тем, что каждый хочет (может) полу-

* посередине (греч.).

чить. Выравнивание тут и там благ и, как показывает маргинализм, с необходимостью выравнивание потребностей: ибо любой обмен между А и В есть в то же время обмен в самом А, сравнение между тем, что он имеет, и тем, что желает иметь. Следовательно, установление пропорциональности предложенного и спрашиваемого, действительного и возможного. Так устанавливается знаменитая горбатая кривая, вписывающая по осям «полезность» различных выборов, которую, впрочем, по-другому зашифруют матрицы Моргенштерна и Рапопорта, о которых мы скажем в дальнейшем несколько слов.

Если игра имеет нулевую сумму, если А выигрывает в точности то, что проигрывает В, если, стало быть, нет ничего *внешнего* по отношению к кругу обменов между гражданами и мы остаемся в нем у центрального нуля, ясно, что вся система пребывает целиком и полностью бесплодной. Это общество мужчин-торговцев представляет собой совершенно особый либидинальный механизм, механизм сбережения либидо в своего рода казне влечений, организованной членами *койнонии*, чьи богатства циркулируют от одного к другому, никогда не выходя из круга, и без того, чтобы когда-либо в него поступало добавочное либидо. Итак, не только весьма избирательный механизм, но и весьма в плане влечений консервативный: ведь обнуляющий обмены нуль, если понимать его в терминах интенсивностей, является знаком того, что общество граждан-торговцев полностью подчиняется некоему регулятору напряжений, в свою очередь ориентированному на единицу напряжения, каковая является суммой интенсивностей, представленных вокруг круга. Эти интенсивности можно подсчитать только потому, что они уже прошли через фильтр *политии*, который, как мы уже говорили, исключил огромные участки лабиринтной ленты тела влечений. В таком случае этот

рынок или полис функционирует как гомеостатически отрегулированная совокупность, а нуль отмечает простой *возврат* в состояние перед вызванным обменом возбуждением. Экономический цикл (но, несомненно, и политический, и эротический) тем самым определяется инстанцированием всех операций в *среднем*, или *мезоне*, или *Mitte*, или в среднем значении, или в *минимаксе*, обнуляющем все различия. Но различия могут обнулиться там только потому, что они одновременно обнулены в установлении партнеров — граждан, торговцев, любовников, — идентичных тел, в которых желание, лишенное своего рыскания из-за строгих локальных привязок, а перепадов напряжения из-за досконально налаженного воспитания (*пайдейя*), сможет обменяться на самое себя в равных количествах.

Итак, нуль *подведенного итога* оборачивается здесь в то же время и стерильностью *койнонии*. Функционируя только как платежная, монета приводит к тому, что *ничего не происходит*. До такой степени, что общество не может тогда воспроизводиться. Отсюда та прослойка женщин и работников, которая обеспечивает его молодыми обменщиками и свежими благами. Но эта прослойка функционирует, повторим еще раз, только при условии, что женщин брюхатят граждане-педерасты, каковые в этом случае проституируют себя навыворот: если гомосексуальное извращение стало образцом нормальности, чадородная гетеросексуальность не может реализоваться без своего предельного обесценивания, в принципе сопровождающего проституцию. Оплодотворяя супругу, греческий гражданин выводит часть своих эмоций из круга *политии* и уделяет их чему-то не имеющему в полисе прав, чему-то иному, но это что-то, матка, в иной форме, форме ребенка, вернет полису, из которого она исключена, то, что гражданин уд, отвлекшись от своей благородной педерастической функции, уступил ей спер-

мой. Проститутка или ее собственник в форме денег, которые она заработала, торгуя своим телом, тоже отводят обратно на так называемый *социальный организм* неприменимое, извращенное наслаждение своих клиентов. Все это — очень даже гегелевское отчуждение. Между тем в «текущем» случае проституции, когда проституируется женщина, *полезную* секцию ее тела образует уже не матка, а какой угодно (согласно запросу клиента) сегмент. Как таковая (без-различная), проститутка является также и *проститутком*. Поскольку попятный *возврат* «сообществу» социального тела не может осуществиться в форме детей (это вызывает у клиента, извращенца, ужас и именно этого он хочет избежать в ее объятиях), его нужно осуществить в форме эквивалента ребенка: денег.

Когда лидийцы проституируют своих девушек, они, в сравнении с эллинами, делают грандиозный шаг вперед. Те проституируют только свои уды, когда нужно обеспечить воспроизводство граждан, то есть возврат при посредничестве маток, в полном смысле слова *pudenda**, определенной доли растрачиваемых ими влечений. Имеет место проституция, поскольку, во-первых, имеет место отклонение вне гражданского установления принадлежащих ему влечений; и во-вторых, поскольку это к тому же *возврат* ему, в форме детей, этих отклоненных количеств влечений. За всем этим — простой расчет выживания и гомеостатической регуляции. По сути, гомосексуализм, продолжаемый через вагину и матку (совсем как у проститутки или ее сутенера: обогащение, продолжаемое через извращения клиентуры).

Но лидийцы Геродота, нежного мечтателя, которые, несомненно, в равной степени вынуждены пройти через это, вместе с тем внезапно *расширяют ры-*

* гениталии, срам (лат.; от глагола *pudere*, стыдиться).

нок. Ибо prostituировать девушек — а отнюдь не жен, сохраняющих вышеозначенную функцию воспроизводства, — это, с одной стороны, обречь их на стерильность, а с другой — ввести в циклическую игру обменного рынка в качестве благ и собственников благ (нет никакой разницы), которые могут переходить из рук в руки. Здесь не хватает гомосексуальности дорийских воителей как характерной черты *изономии*. Истинный торговец в равной степени удачно совершает обмен как с одним «полом», так и с другим. Он перестает воспринимать и использовать женское тело как машину воспроизводства, он может подключить его к обращению наслаждений, но только при обязательном условии (извращенном, гомосексуальном), что это тело остается стерильным, что перечеркнуто его «естественное» плодородие, а взамен предоставлена возможность денежного воспроизводства. Лидийский гражданин не брюхатит эту женщину (свою дочь), он *возмещает ей убытки*, ей или ее собственнику, платит ей, платит ровно той же монетой, что обращается на рынке благ. Платя ей, он может, ее употребив, обнулить ее употребление (за него рассчитаться), поскольку эти деньги тем или иным образом вернутся в центр, когда девушка или ее собственник, нуждаясь в удовлетворении какой-то потребности, явятся искать недостающее благо. И в конечном счете ничего не произойдет.

Этот механизм, который мы, доверяясь Геродоту, будем называть лидийским, «предвосхищает» капитализм, и именно поэтому он еще более интересен, нежели аристократический круг аттических убийц-педерастов. Он «предвосхищает» капитализм двояко. Прежде всего он распространяет на другие сегменты ленты тела влечений возможность подпасть измерению и сравнению. Греки, как бы там ни было, оставляют женщин вне *изономии*; не они изобрели асексизм.

Лидийцы утверждают, что женский половой аппарат может послужить поводом для наслаждения, вполне сопоставимым с тем, что предоставляет гомосексуальность, а значит пригоден для стерилизации и обмена на другой подобный сегмент при условии их количественного выравнивания. Как вы понимаете, речь идет о включении в бесконечном пределе в круг обменов всех частей «целого» лабиринта тела влечений, всей той покоробленной, в сгибах, растянутой поверхности, от которой у нас осталось бы впечатление безмерности, если бы нам удалось получить ее плоскую проекцию — но проекцию «полную», не утаивающую никакую складку слизистой оболочки кишечника, ни одного клапана, ни одной полезной или бесполезной шероховатости каждого канала, никакой тончайшей текстуры малейшего эпителиального покрова, ни одной извилины коры головного мозга, ни одного затвердения на подошве ноги: невозможная картография, но без прикрас, после которой анатомические таблицы показались бы академическими сводками, при которой, для начала, еще не было бы даже заподозрено, допрошено, ни тем паче разоблачено различие между внешним и внутренним, как и различие между мужским и женским, — итак, всей той поверхности лабиринта влечений, которая с проституированием лидийских девушек выдвигает свою кандидатуру для меркантилизации. Ибо если при посредничестве (*Vermittlung*) монеты вы можете найти потребителя не только для ануса, но и для вагины, то следует предположить, что в середине (*Mitte*) может монетизироваться любая частичка великой лабиринтной ленты. Именно об этом и идет сегодня речь во всемирном капитализме.

Но такое, очевидно, возможно — причем уже для лидийцев, — только если каждый из сегментов тела влечений, способных в качестве возможности для на-

слаждения пойти на рынке в обмен на деньги, был уже сам взвешен и сравнен с каким-то другим, так что собственник этого сегмента, его сводник (в том смысле, что *нормальный мужчина* в этих рыночных условиях является сводником всех возможных областей своего тела, что он существует только как инстанция для привязки либидинального вложения в тот или иной из них, такой как его «культура» или воспитание, в целях *платежеспособности*), таким, стало быть, образом, что этот собственник для самого себя его уже взвесил, прикинул, оценил, предпочел (все это, очевидно, вполне неосознанно) какой-то другой области в своего рода невозможной работе сравнения. Невозможной, поскольку такое сравнение требует от влечения того, чего оно не может: устранившись, овозможнить-ся, тогда как оно есть утверждение вне модальности. Вездесущность влечения, тот факт, что оно вложено тут и там в лабиринтное тело, возбудимость клитора и *возбудимость* анальная, например, или головная боль и генитальная раздражимость, не имеет никакого отношения к модализации или модуляции типа *если... то*, или типа *быть может*, или типа *или же*. Для языков, которые спрягаются как наши, даже неопределенной формы глагола не хватило бы, как уже было сказано, для того, чтобы определить вложение влечения, ибо за инфинитивом всегда тенью следует его негатив: быть / не быть; так что, очерчивая кругом мыслимое, то есть понятие, он исключает из него все, что ему *не* принадлежит — наподобие *Verneinung**. И из-за того, что ты при этом уже пребываешь в процессе мысли, подобное определение обретает значение позиции возможного, то, что мыслится, всегда сосредотачивается на фоне того, что оставлено вне мысли как его, в своем отличии, противоположность.

* отрицание (нем.).

Говоря, что сновидение или шизофрения трактуют слова как вещи, Фрейд подчеркивал, каким характерным способом влечения сигнализируют о своем присутствии даже в самом строе мысли, где производимые ими эффекты интеллектуально неприемлемы, *фигуральны* в смысле паралогизмов, апорий, предвосхищений основания, порочных кругов, ошибок, упущений по забывчивости, несостыковок, бессмыслицы и в конце концов предельного *брёда*, посредством которого относящееся к влечениям начинает вплоть до неразличимости пародировать организацию рационального мышления, предпринимая гигантское усилие, чтобы ввергнуть нас в своего рода лежащий далеко за пределами скептицизма ужас: можем ли мы мыслить, то есть различать?

Но влечение, захватившее ту ладонь, тот сгиб подмышки, о котором говорит Беллмер, помимо того что вкладывается в срамные губы, располагается и тут и там, не должно *инстанцироваться* скорее тут, нежели там, оно совершенно безразлично к объединению того, по чему, его потребляя, пробегает. Вот почему сравнение, которое ради единения и унификации требует обратить сравниваемое в ничто, уже оказывает на влечения и их единичные вложения непомерное давление унитарного порядка. Нужно отчетливо видеть, как и втолковывают лидийцы, что сей унитарный порядок в действительности является *нулярым*. На лабиринтной ленте влечений единства можно достичь только при условии, что каждое вложение оказывается сравнимым с другим и оценивается пропорционально ему, — сравнение и оценка, которые требуют обращения в ничто или в возможность чего-то, вкладываемого, как и либидо, всегда утвердительно. Стало быть, *единство* органического тела, к коему мы приближаемся по мере того, как снимаются и отменяются непредвиденные либидинальные воздействия, дробя-

щие и блокирующие отдельные области ленты, в экономике влечений подчинено своего рода обнулению вложений, направленному на достижение равновесия. Субъект на круге, субъект-торговец-гражданин, является современником чего-то вроде *коммерческих торгов* на обрывках лабиринтной ленты.

Психиатры, наделенные свойственной представителям порядка добродушной простотой взгляда, рекомендуют для приведения истерика в норму клинически *вдалбливать* должное в голову пациента, вынуждая его оставить свою манию, но также и запрещая хвататься за *сомнение* в отношении этой мании (то есть предаваться бреду...). Итак, ни навязчивого вложения, ни вложения бредового: нужно (говорят опять же психиатры) свести аффекты пациента к минимуму, а поскольку это невыносимо, в конце концов получается что-то похожее на перенос на врача, то есть увертюра к возможной коммуникации...

Именно так описывается *пайдейя*. Ибо своей долбежкой воспитание блокирует на либидинальном теле вот это, открывает тот путь, позволяет сравнить, вводит *заинтересованность* туда, где, что касается влечений, о доходе нет и речи. Если врачу случается говорить о *прибыли*, о либидинальной *выгоде*; Фрейду, по поводу кашля Доры, — подозревать первичную прибыль от болезни (как бы *сбережение* усилий, прибыль, которую пострадавший рабочий извлекает из своего простоя) и к тому же выгоду вторичную, сравнимую с алкоголизмом, на поддержание которого пострадавший на работе не преминет, согласно Фрейду, потратить плоды своего нищенства (надо надеяться) — эти сравнения сеют в рассмотрениях либидинальной экономики самую тяжелую, самую пагубную путаницу. Они ставят проблему шиворот-навыворот, они тематизируют лабиринт влечений Доры, как будто им управляет министр финансов, или банкир, или даже

безработный пролетарий, то есть существа, несмотря на их предельную социальную разнородность, объединенные своей принадлежностью к кругу политической экономики и его центральному нулю и тем, что они существуют лишь в качестве способности исчислять полезности и выбирать. Тем самым упраздняется *ацефалия* великой односторонней лабиринтной ленты, психиатр или психоаналитик подменяет ее гораздым в сравнениях и соображениях *homo oeconomicus**, чья голова полна того отрицания, касательно которого один немецкий философ в конце концов осмелился сказать, что именно оно и производит всю работу, следует понимать — всю коммерцию.

Этой-то подмены и домогаются лидийцы со своей проституцией и своей монетой. Сравнения и соображения, касающиеся тела влечений, будут производиться посредством монеты, и тем самым тело перестанет быть невозможным пейзажем, прочесываемым либидинальными токами, оно сможет обмениваться часть за частью, часть на часть, оно центрируется на своем собственном нуле, оно становится способным вести с самим собою рациональные игры, симулировать вложения, чтобы их измерить и вычислить наиболее прибыльную *комбинацию*. С установлением на теле нуля, достигаемым ценой неизбежного устранения целых областей, мы имеем дело с установлением *Я*. Это *Я* оказывается собственником отныне определенных и контролируемых либидинальных полей и может отправиться на меркантильную торговашескую периферию, дабы обеспечить спрос и предложение тех или иных полей или их участков. На лидийском круге торгуется все, товар взлетает к своей универсальности, *Я* — его сводник.

* человеком хозяйственным (лат.).

Рассказ Веры Шмидт об установлении коммерции: «Дети начинают собирать цветы. Пока Волик (3 года 3 месяца) рвет цветы, его коробочки лежат недалеко в траве. Приходит Женя (2 года 10 месяцев) и хочет их взять; Волик кричит издали: «Нельзя! Они мои!» Женя плаксиво: «Но я хочу коробочки». Я ему говорю: «Видишь, Женя, тебе неприятно, что Волик тебе не дает коробочки; и ему было неприятно, когда ты ему не хотел давать тележку. В другой раз дай ему, что он желает, и он тоже тебе будет давать». Волик подходит ближе и внимательно слушает. Как только я закончила, он решительно протягивает свои коробочки Жене: «Возьми, Женя, я тебе отдам их просто так!» Женя приходит в восторг, берет коробочки и уже хочет убежать прочь, но вдруг останавливается и спрашивает дружелюбно: «Волик, хочешь мою тележку?» «Хочу! Хочу!» — радостно отвечает Волик. Женя бежит к тележке, но ее уже взял Володя (2 года 10 месяцев). Он углубился в свою игру, и у него нет желания передавать тележку Волику. Женя стоит тихо и что-то обдумывает. Брови сдвинуты, глаза уставились в одну точку. Затем он делает один шаг к Володе, останавливается, поворачивается спиной, делает несколько шагов в противоположном направлении, снова разворачивается и быстро бежит к Володе: «Володя, хочешь две коробочки?» Володя доволен и отдает Волику тележку. Все счастливы, у Жени одна коробочка, у Володи две и у Волика тележка»¹. И у Веры Шмидт есть ее социальное тело.

1. Вера Шмидт, «Доклад о Детском доме-Лаборатории в Москве (1921–1924)» (traduit par Jean-Marie Matagne, *Les Temps modernes*, mars 1969).

Учрежденная проституция

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ: лидийцы распространяют обменность на оставленные нетронутыми сегменты, это во-первых; во-вторых, надо подчеркнуть, что, *так поступая*, они распространяют извращенность. Ибо и в самом деле, впредь, как знаем мы и как «всегда» знали лидийцы, потенциально, при условии его заимообращения, любой сегмент наслаждающегося тела может в качестве «блага», то есть как объект, обратимый в связке с «ничто» (монетой), занять место в круге обменов, и отсюда одновременно следует, что он исторгнут из иллюзии естественного функционирования и, следовательно, готов к полиморфно извращенному использованию (но на вышеозначенном условии). Полиморфно, потому что каждый сегмент, произвольно изъятый из невозможной совокупности ленты, где пробегают потоки влечений, должен найти место в коммерческом кругообороте, каковой вследствие этого предоставляет, центрируясь вокруг нуля, либидинальной экономике беспрецедентную оказию проявить себя в бесконечном или, по меньшей мере, очень большом числе возможных вложений. При условии метаморфности, стало быть, очень и очень полиморфному. Это тяжким бременем лежащее на безусловность содержания (значений, стоимостей, кодов, верований — иначе говоря, всех устойчивых и исключительных раскладов частей тела-ленты на совокупности) формальное условие коммутативности «всегда» есть условие капитализма. А также мате-

матики и ее логики. Когда мы говорим, что математика или капитализм всегда работают *на расширение*, это не означает, что они просто пренебрегают точкой зрения понимания, понимание не менее расширительно, чем само расширение, оно — его необходимое дополнение, внутренность ему внешнего, как потребительная стоимость по отношению к стоимости меновой. Нет, имеется в виду, что принципиально отбрасывается не что иное, как *интенсивность*, если эта последняя *несравнима*. Ибо вся коммерция и политика покоятся на сравнимости. Ну а та обязательно требует от интенсивностей пропорциональности. Каковая является для них тем же, чем *разбиение на клетки* у первых флорентийских мастеров перспективы было бы для пластических интенсивностей старинных китайских акварелистов. Всякая мера интенсивностей является проявлением чрезмерности (и ей в свою очередь не откажешь в высоком потенциале интенсивности — интенсивности по отношению к нулю, к невозможному, к чистой или нечистой совести). Эта чрезмерность называется здравым смыслом. И достигается он путем отыскания *среднего*, или *среднего пропорционального*, или минимакса: всех инстанций, регулирующих циркуляции интенсивностей, тем самым дезинтенсифицируя или, в зависимости от случая, еще более интенсифицируя, дабы обмен прошел «должным образом».

Очень удачную модель сего чрезмерного заимообращения предлагает нам теория игр, в рамках политической экономии представляющая также и теорией вышеупомянутой «маргинальной полезности». Анатолий Рапопорт пересказывает «Тоску»: шеф полиции Скарпия арестовывает Каварадосси, возлюбленного Тоски. Он готов отпустить его при условии, что Тоска ему, Скарпия, отдастся. Вот расчеты Скарпия: если я сделаю то, что обещал, я оставлю в живых ненавистного соперника, но овладею Тоской; если я не выпол-

ню обещания, то окажусь в выигрыше и там, и там. Подсчитывает со своей стороны и Тоска: отдавшись отвратительному Скарпия, она спасет своего любовника — результат так себе; куда лучше добиться пощады Каварадосси, не уступив домогательствам полицейского. Таким образом, и тот, и другая, каждый по своим расчетам, заинтересованы в жульничестве: Скарпия мог бы поиметь Тоску, отправив при этом соперника на смерть; Тоска — отвадить шпика, как только Каварадосси окажется в безопасности. Как говорит Рапопорт, «никакой довод, обращенный индивидуально к Тоске или Скарпия, не убедит их, что лучше уважать рынок (= играть строго по правилам), чем обмануть другого. Достаточно весомым мог бы быть только довод, адресованный к ним обоим вместе. Только коллективное рассуждение может помочь им избежать ловушки двойного предательства»¹.

Очень мудрое заключение, вполне в духе Арона, вполне в духе Аристотеля: *осмотрительное и демократическое*. Кто же адресует этот довод обоим игрокам? Нулевая инстанция, посредник, средний термин, расчисленная точка, пустой центр. В роли примирителя может выступить кто угодно. Важен не судья, а критерий оценки потерь и выигрышей, ущербов и интересов. Рапопорт предлагает следующие матрицы:

		<i>C_i</i>	<i>C_o</i>
для Тоски:	<i>T_i</i>	+5	-10
	<i>T_o</i>	+10	-5

		<i>C_i</i>	<i>C_o</i>
для Скарпия:	<i>T_i</i>	+5	+10
	<i>T_o</i>	-10	-5

1. A. Rapoport, *Les Temps modernes*, oct. 1963, pp. 704–705.

где *С* значит «Скарпия», *Т* — «Тоска», *Сч* — «Скарпия ведет себя честно», *Со* — «Скарпия обманывает», *Тч* — «Тоска ведет себя честно», *То* — «Тоска обманывает»; в них сведены результаты расчетов обеих заинтересованных сторон.

Как мы увидим, прослеживая выкладки, матрицы Рапопорта допускают *колебание цен* сообразно природе обмена: так, со стороны Тоски, поскольку ситуация обоюдной честности (*Тч. Сч*) дает в результате +5, можно заключить, что *Тч* (переспать со Скарпия) стоит ей -5 и что *Сч* (спасенная жизнь Каварадосси) приносит Тоске +10. Но тогда в гипотетическом случае (*То. Сч*), где она обманула бы Скарпия, если цены остаются прежними, она должна была бы получить прибыльное сальдо в +15 (+10 за Каварадосси и +5 за уклонение от объятий Скарпия). Если Рапопорт считает только +10, то потому, что уступить Скарпия действительно неприятно, но не уступить это просто ноль. (*То. Сч*) тогда равно 0 + 10, а не +5 + 10.

Справедлива ли, к примеру, при всей своей относительной тонкости эта оценка? Решить невозможно. Единственно можно сказать, что заинтересованность Тоски в решении (*Сч. То*), оцифрованная в +10, одновременно и достаточно высока, чтобы сделать его интересным, и достаточно скромна, чтобы оставить Тоску в колебаниях (+15 вызвало бы немедленное предпочтение). Несомненно, подтолкнуть Тоску к жульничеству вполне способен именно этот обоснованный и в то же время сулящий выгоду характер оценки в 0, а не в +5, успешного уклонения от постели Скарпия. Во всяком случае, именно все та же внешняя умеренность побудит с другой стороны Скарпия отдать приказ о расстреле Каварадосси, несмотря на то что он получит от Тоски то, чего желает. И на самом деле он был бы прав, если бы дважды обведенной вокруг пальца молодой женщине не пришло на ум (?) его убить,

что не учтено в наших матрицах. И что вообще исключено из круга партнеров в *политии*. Если умерщвление одного из них и должно иметь место, то оно должно быть обсуждено и решено исходя из центрального нуля: случай Сократа.

Здесь видно, как торгами о вложениях в телоленту влечений *производится* коммерческий субъект. Он — *не* торгующийся переговорщик, а неустойчивый результат нескончаемых торгов-неготиации. *Нег-отиум**: конец праздной текучести токов. Предоставить ли мне свою интимность рукам и чреслам полицейского, чтобы тем самым сберечь ее для моего ненаглядного бандита? Но, если я так и сделаю, не останусь ли я, шлюха, в дураках, ведь мне придется заплатить за эту возможность как раз тем, что для моего возлюбленного должно быть *неподценно*? Может ли ему быть хорошо, если под руками, губами, пальцами, глазами, облегать его уд будут части тела после того мгновения — нет, не того, когда в них получил свою долю полицей, которому они достались как остатки первого пира, в этом в общем-то нет ничего особенно постыдного, а с того мгновения, когда они были сторгованы, сведены в пропорцию с наслаждением, наслаждением моего любовника и моим собственным, с того момента, когда я, в общем и целом, продалась как проститутка? Как превозмочь Тоске эту неуверенность? *Она является субъектом*, сиречь вопросом, *лишь постольку, поскольку является проституткой*. Если она уступает свои прелести Скарпия, то для того, чтобы сохранить Каварадосси и сохранить для него себя. Внезапно несравнимые вложения, которые совокупно подключали (так мы себе это представляем) такие-то участки анонимной ленты единичных насла-

* *negotium* — занятие, работа, хлопоты: *nes* + *otium* — не-праздность, не-безделие (лат.).

ждений и налаживали любовь юной женщины и молодого бандита, эти вложения оказались внезапно распаяны, смещены, выведены на ничто, на неизбежно невозможное — ибо разрушаемое тем самым моментом смены, который его обеспечивает, — постоянство. Сохранить себя для последующего наслаждения означает вывести эти интенсивности на нуль некоего временного континуума и сплющить их до монеты. Когда Клоссовски говорит о «бес-ценности» «фантазма» (в его смысле), он отчетливо понимает, что низкие или высокие интенсивности, полученные подключением частичных органов к полиморфно извращенному телу, называемому лабиринтной лентой, что эти интенсивности непропорциональны и, стало быть, вряд ли ты когда-нибудь сможешь воспользоваться тем, что заплатил слишком дорого за их молниеносный проход. И вот действительно нужно, чтобы Тоска сделала скидку и вычет, точь-в-точь как проститутка, которая должна со своих доходов растить в провинции отпрыска. Тоска принимает в расчет приходы и расходы, затраты и результаты, и уже это из разряда проституции, уже это заставляет ее существовать в качестве посредницы между зарядами и разрядками. Опять нулевая инстанция, инстанция дохода — составного, постоянного; иное время, время субъекта.

Отсюда нам видится вопрос: существует ли наслаждение вне этой бухгалтерии, этого приведения к нулю? Лакан говорит: наслаждение — это $1/0$, нескончаемое колебание желания между установлением унарного субъекта (1) и его приведением к базисному небытию (0). Не об этом ли говорит, на сей раз в терминах либидинальной экономики, и Клоссовски, когда дает понять, что крайнее наслаждение не обходится без апории: как сравнивать несравнимое? оценить неподценное? отменить утвердительное? Не черпает ли однако фантазм в смысле Клоссовского, являясь,

в отличие от фрейдовского, отнюдь не образованием замещения, а жестким, неупраздняемым, монотонно повторяемым соединением частичных органов, свою силу не из всего либидо — эроса и смерти вперемешку, — что течет здесь, по этому желобу, а из головокружительного сравнения между предполагаемым бытием *личности* (жертвы, палача, в зависимости от случая) — то есть единства с универалистским призыванием, — с одной стороны, и, с другой стороны, болтливой, *глупой*, убийственной для всего того, что могло бы представиться как целостность, скаредностью мелкого — *единичного* — механизма влечений? И не потому ли такое сравнение обязательно подразумевается наслаждением, что это последнее всегда оказывается уже локализовано коммерческой мыслью, которая успешно завладевает им, и воспринимается как некое отношение, тогда как его нужно воспринимать как ни с чем не сравнимое утверждение? Тогда следует сказать, что лидийская проститутка (то есть также и — с уточнениями, которые еще воспоследуют — капитал), будучи, как и Тоска, *взвешиванием* вне-весомого, являет собой также все то в наслаждении, что мы можем одновременно высказать и испытать. И отложить вплоть до проекта либидинальной экономики, инстанцированной единственно в интенсивности минуса: коли мысль монетизируема, мыслить в материях страсти — обязательно потаскушничать.

Но вернемся назад, тут все не так просто: чеканя монету, лидийцы, как уже говорилось, не довольствуются выправлением интенсивностей по *мезону* всех опосредований, они к тому же проституируют своих девушек и тем самым вводят в круг допускающих уступку благ вульвы, клиторы, груди с сосками, полные ягодицы, шевелюры, сопрано и контральто криков удовольствия, запахи вагинальных выделений, зернистость кожи, шелковистость испода рук и бедер,

разного цвета шерстку и радужку, разные мускульные текстуры, всевозможные стати, всевозможные позы и сочетания. Они увеличивают количество частей лабиринтной ленты, которые могут быть оценены и обменены. И тем же махом не только возвращают женщину (по меньшей мере наполовину: девушку) к ее так называемой *природе*, но и предоставляют (*prostituere*) ее всем извращениям природно-естественного, которые могут быть замыслены и свершены в рыночном кругу. Но эти противоестественности неисчислимы, поскольку все они, как уже говорилось, в принципе допускаются при единственном условии изоморфности или пропорциональности между обмениваемыми благами. Такое назначение цены, если им подразумевается обесценивание участков либидинального тела, взятых в своей интенсивной единичности, может в противовес вызвать своего рода отток в обращении импульсов, поскольку на безбрежной ленте тел перед теми открываются новые дороги и тем самым возрастает полиморфия усладительных подключений, а вместе с ней и рыскание либидо. Представьте себе все эти неслыханные эректильные участки поверхности, где смогут накапливаться нагрузки, чтобы внезапно прянуть прочь. Недостаточно видеть, что они обречены закону минимакса, надо к тому же увидеть, какие новые концентрации желаний, пусть даже и в единственно дозволенной форме потребностей, они смогут вызвать и *удовлетворить*.

И эта дозволенная форма потребностей не является, впрочем, как можно было бы подумать, формой *полезной*. Напротив, по этой лидийской проституции, сопровождающей монетарное установление, мы видим, что полезность в ее ходовом значении потребительной стоимости как раз не имеет никакого смысла, что она определима лишь относительно правила обменности, что тело лидийской девушки существу-

ет не как вещь, наделенная от природы естественным предназначением и, следовательно, привередливая в употреблении, а, напротив, лишь как пустая коммерческая инстанция, предполагаемая сравнительными оценками областей влечения, как тело-нуль с его капиталистической функцией, тогда как его так называемое *потребление* никогда не выходит за рамки постепенного, пошагового торга вокруг обменности между органами. Даже не стоит заикаться, что тогда это тело извращено или порочно, поскольку оно никогда ничем *не является* (но *является этим ничем*) и следовательно не сможет *свернуться* от какого бы то ни было предопределенного использования; оно действительно заимообращаемо, склонно низвести интенсивности, которые то тут, то там вспыхивают и гаснут, как светила во вселенной, до пустой инстанции торгашеского постоянства.

В частности проститутка, то есть современная коммерческая «женщина», каковая к тому же является и «человеком», — и как раз поэтому — не имеет и не должна больше иметь никакого отношения к плодovitости. Что она производит детей в связи с наслаждением, которое способна доставить, означало бы, что она получает в свою утробу оплодотворяющее семя, тогда как не должна получать ничего, кроме денег в свою кошелек. Ибо, первый довод, эти деньги конвертируемы на рынке, ребенок же не обязательно. Понадобится много «времени после» лидийцев, чтобы в экономический цикл оказался включен сам ребенок, чтобы он перестал восприниматься как полученный (откуда-то) дар, чтобы женщине, которая соглашается его родить, начали платить (поначалу в форме семейного пособия, в дальнейшем в форме права на трудовую пенсию, позднее, сомневаться не приходится, просто в форме зарплаты), и тем самым пустой центр-посредник со своей *собственной точки зрения*, с точки

зрения всегда допускающих обнуление эквивалентностей, смог приступить к введению в обращение этих новых участков тела-лабиринтной ленты в коммерческом кругообороте. К заимообращению тел-детей. Любопытно: она последняя по времени, во многом еще предстоящая, в то время как, очевидно, это самые утвердительные и самые прерывистые в извращении тела, наиболее интенсивные из-за того, что их редко используют при разведке разветвлений наслаждения. Но запаздывание вполне понятно, если подумать об их невинности, об их неспособности вывести личную эмоцию на постоянство, которое быстро делает ее доступной для коммерции, об отсутствии у них либидинальной субъективности.

И второй довод: любая борьба, которую мы, транссексуальные либидинальные экономисты, знаем и ведем, дабы женщины могли, как говорится, *свободно пользоваться* своим телом, в частности, свободно решать, заводить или нет ребенка, имеет вполне лидийские последствия. До чего же нам любы лидийцы и их девушки! В действительности речь может идти вовсе не о свободном пользовании, никакого *использования*, свободного или нет. На деле мы (а также капитал) хотим, чтобы то, что называют женщиной, могло и в самом деле извлекать выгоду из своего коммерческого статуса в двух следующих отношениях: чтобы любая эрекция и опадение какой бы то ни было приписываемой телу-ленте частицы были первым делом возможны, а в дальнейшем и могли быть сторгованы. Отсюда упразднение эротических запретов и отмена автоматизма размножения.

Сразу и право на извращение, и право на коммерцию. Иначе говоря, *полития*. Ребенок, да, но тогда и рыночный объект, ставка в обмене, в принципе долженствующем обнулить нагрузку, которую представляет ребенок; в либидинальных терминах — обнулить

аффективные интенсивности, которые он поглотит. Стало быть, упразднение матерей — и жен, каковые испокон веку, со времен воителей-педерастов, были всего лишь матерями детей, которыми их начинали. Это отнюдь не свободное пользование, поскольку использование, категория естественной целесообразности, удерживало бы, пусть и «свободно», женщину в рамках концепции целесообразности воспроизводства, а ее свобода ограничивалась бы выбором момента и партнера для оплодотворения. Это расширение обменности на так называемое женское тело, то есть впрыск неизвестных участков ленты в цикл обменов и в маргиналистские оценки. То, что называют женщинами, может полностью завоевать гражданские права, только завоевав стерильность и извращенную полиморфность, свойства сугубо монетарные. Сама фигура круга, распространяясь на все фрагменты лабиринтной ленты, устанавливает абортивные меры, потому что хочет все удалить.

Если тело женщины перестает быть почвой или чем-то вроде этого, стихией, вместилищем, в дополнение к этому исчезает и частичная проституция удов. Мужественность не должна более расщепляться, как в Греции, между закольцованным наслаждением и задачей по оплодотворению маток. Симметричной к абортивным мерам, освобождающим женское тело от его сливающего естественным предназначения, для мужчины *политии* (?) является современная организация банков спермы: «Процедуры замораживания мужской спермы в жидком азоте позволяют сегодня сохранить на протяжении нескольких лет значительный объем сперматозоидов, оплодотворяющая сила которых остается вполне нормальной»². Для того чтобы ваша сперма годилась для заимообращения, тре-

2. Martine Allain-Régnault, *Le Monde*, 14 fév. 73.

буется несколько условий: вам должно быть меньше сорока лет, вы должны быть отцом хотя бы одного нормального ребенка: важна качественная сторона продукта. Отрицается, что имеет место евгеника и отбор, признается, насколько удручающе сходство с медицинскими практиками нацистов. Со стороны института семьи сохранены видимости: вы должны быть женаты и обязаны предупредить свою жену. Но верх возьмет, не стоит сомневаться, логика продукта: его качество, как бы там ни было, не зависит от согласия супруги и от похода в мэрию. И тем не менее энтузиастов, кажется, мало. Не потому ли, что донору не платят? (И почему ему не платят, как не потому, что опасаются неотразимой привлекательности для множества молодых безработных новой профессии — сперматора, что приведет к затовариванию складов готовой продукцией?) Нет, говорят, что основными факторами противления являются: «Необходимая для взятия спермы мастурбация, ее черты супружеской измены (часто воспринимаемые именно так женой), неведение о том, что станет с твоим семенем». Что касается опасения супружеской измены, парировать можно сразу: пусть донор будет неженат. Относительно страха (стоит ли упоминать, что отвратительного?) быть отцом и не знать об этом, он опять же восходит к институту семьи, согласно которому отец и мать оказываются наделены собственностью на ребенка как на свою продукцию. И, наконец, что до первого препятствия, мы предлагаем, чтобы банк спермы заручался по преимуществу содействием онанистов: замечательная иллюстрация того, что, по всей вероятности, в крупной капиталистической коммерции все мелкие механизмы, все подключения торгуемы до такой степени, что тот из этих механизмов, который, как известно, *повсюду* давным-давно подвергся не только моральному порицанию и санкциям за по-

святательство на нравы, но и должен был претерпеть презрение либеральных и даже революционных умов: наслаждаться, дрожа — пусть это, *как раз по причине бесповоротной стерильности* результата (пролить семя на землю), из-за своей заменяемости и коммерциализации станет преимущественным, как раз таки *безразличным* и откладываемым на потом переносчиком плодovitости размножения в меркантильную систему. Лидийская проституция, расширенная благодаря распространению капитала на новые области либидинальной ленты, вскоре повлечет за собой наряду с исчезновением матерей и избавление от отцов с их заботой о сперматическом доходе в форме сыновей и дочерей. Но это тем не менее не принесет избавления от великого Нуля, совсем наоборот.

Плата как увертка

НЕ ОКАЗЫВАЕМСЯ ли мы с нулем неподалеку от тезисов Сада? Не от того ли идет сила философа злодея, что он понял сей механизм круга и ротации? Легко в это поверить, послушав, как во включенном в «Философию в будуаре» трактате он оправдывает убийство во имя всецело метаморфической концепции природы: «Если бессмертие живых существ для природы неприемлемо, их уничтожение становится ее непреложным законом. И вот, если разрушения настолько полезны для природы, что ей без них никак не обойтись, если она может преуспеть в своих творениях, лишь черпая из массы поставляемых ей смертью разрушений, с этого момента сама идея уничтожения, которую мы связываем со смертью, теряет всякую реальность, не остается более никакого достоверного уничтожения; то, что мы называем концом наделенного жизнью животного, становится уже не реальным концом, а простым преобразованием, в основе которого лежит вечное движение, истинная сущность материи, признаваемое большинством современных философов в качестве одного из первейших законов природы. Смерть, согласно этим неоспоримым принципам, — не более чем изменение формы, неощутимый переход от одного существования к другому, именно то, что Пифагор называл метемпсихозом. Признав сии истины, спрашиваю я, можно ли впредь заикаться о преступности разрушения? (...) Единственное, что вершим мы,

предаваясь разрушению, это управление изменчивостью форм»¹.

Исследуем теперь вот что: как *наслаждение* инстанцируется *в круге*? Провозглашаемый Садом *натурализм* отсылает к Пифагору и метемпсихозу, а также, надо полагать, к дао и «Этике» Спинозы. Но за пределами этого хорошо знакомого философам натурализма, каковой является большим шагом в направлении демонстрации субъекта, в направлении упорядоченного тела, еще остается или может оставаться некая философия, еще может оставаться средство отвести интенсивности, в которых отказано индивидуальным субъектам, на некий безмерный гиперсубъект, в общем и целом все тот же центральный нуль, инстанцирующий периферийные наслаждения граждан. Сад же вполне внятно говорит, что смертная казнь является гнусностью, поскольку она есть закон, то есть регуляция интенсивностей, тогда как убийство, если оно исполнено страсти, вряд ли более преступно, нежели оргазм. И в качестве путеводной нити в этом вопросе приводит приговор, вынесенный Людовиком XV по делу одного убийцы: «Я тебя помилую, но наперед помилую и того, кто тебя убьет». Эта метемпсихическая природа, *стало быть, тоже* является или *тоже хочет* являться самой лентой влечений: не здоровым и вольным выходом для иррациональных страстей, а циркуляцией этих страстей и запуском интенсивностей.

Тут сталкиваются *две* модели, *две* парадигмы, ибо мы должны ввести здесь *другой* нуль, вторую смерть, уже не смерть в центре, а смерть, которая будет циркулировать по окружности и ее искривлять, ее комкать, растягивать, чтобы приблизить как можно ближе к телу-лабиринтной ленте. Пока нуль расположен только в центре, пока греческая организация *мезона* запрещает лю-

1. *La Philosophie dans le boudoir*, J.-J. Pauvert, 1972, pp. 231–232.

бую несамостоятельность и неоднородность, но требует в рамках коммерции компенсации влечений и установления собственного тела как кассы этой компенсации, мы пребываем в лоне рационализации и дружбы, безынтенсивной гомосексуальности, урегулирования напряжений. Так что, согласно Батаю, по краю этой окружности обнаруживается своего рода канализация, направленная наружу, к предполагаемо лежащему вне круга, в которой отыщут себе лазейки не ликвидированные в круге интенсивности, не способные напрячься в условиях коммерции окончечности тела.

С виду это весьма общий механизм, иллюстрациями которого среди сотен других могут служить жертвоприношение, проституция и психоанализ. Во всех трех случаях речь, собственно, идет о клапанах, позволяющих под разными именами, такими как пожертвование, «вставить пистон», трансфер, отвести не подлежащие обмену в установленных кругооборотах либидинальные нагрузки. Во всех трех случаях речь и в самом деле идет о том, чтобы спровадить наслаждение вне цикла — из-за его смертоносности, из-за тщетности траты. Но обратим внимание на пренебрежимый, но тем не менее очень интересный аспект этих установлений, ведь тут имеет место подключение переносчика обменностей (благ, которые послужат *оплатой* вершителю жертвоприношения, проститутке и психоаналитику) к свершению иначе запрещенного наслаждения. В индийском жертвоприношении, описываемом древними ведийскими текстами², в вознаграждение за совершаемое приношение жрецам выплачивается *дакшина*. Таким образом соприсутствуют собственно говоря приношение, некие растительные и животные малости, уносимые огнем на небеса, к бо-

2. Ch. Malamoud, Communication inédite faite au Séminaire de recherche de J.-P. Vernant, mars 1973.

жественным ноздрям, и своего рода оплата — золотом, одеждой, лошадьми, при случае женщинами, — получаемая браминами от жертвователей. (Часто плата жрецам оказывается куда значительнее, нежели само жертвенное подношение.) Между тем ритуал подразумевает специфическое условие очищения, которое состоит в том, что жертвователь, тот, кто подносит жертву божественному началу, не только на время жертвоприношения лишается своего мирского тела и вновь обретает его лишь постфактум, но и это лишение заключается в расчленении сего тела, поскольку донатор по очереди говорит каждому из жрецов: тебе я даю свои руки, тебе свой живот, тебе свои уши (так я себе представляю). Это новое, совсем близкое к бессмысленной ленте влечений тело есть тело наслаждения, и его «установление» показывает, что жертвоприношение — это наслаждение, а время жертвоприношения — «время» наслаждения.

В том же направлении, очевидно, если по-прежнему следовать за Батаем и Кайуа, ведет и истощение путем чистой траты составных частей приношения (индийцы в этом отношении достаточно скарены...). Надо добавить, что огонь и кольца его дыма к тому же относятся к эффектам либидинальной необратимости, ведь пепел — это даже не *остатки*, и если желаешь разрядки до смерти и без остатка, то надо *сжечь* — что хорошо знают индийцы (и выпускники средней школы). Итак, здесь нет бухгалтерского дохода; даже если он предполагается, если жертвователь ожидает от жертвоприношения ответного эффекта, божественной милости, если он высчитывает выгоду, то она того порядка, что вычисления в рамках подобной гипотезы невыполнимы, поскольку затронуты оказываются количества бесконечные. Это не настоящий расчет, как не может быть настоящим пари и пари Паскаля, коли объекты, о которых стороны ведут переговоры, несо-

измеримы. Паскаль не собирался излагать пари, он хотел сформулировать парадокс в смысле Кьеркегора, что совсем не одно и то же и впредь отсылает к инаковости наслаждения, из которого в принципе исключена любая реальность дохода, прибыли.

Но вместе с этим бесполезным выгоранием жрецу брамину выдается мзда. С какой стати? Потому что нужно, чтобы тот, кто дает без возврата, платил. Время наслаждения покупается. Время его расстроенного, разбитого, ликующего, священного тела обращается в деньги (и немалые). По выплате *дакшины* он получит обратно свое органическое, упорядоченное тело, и оно сможет вновь отправиться в замкнутый цикл обменов, в данном случае космических, мы не в Афинах, и посему этот платеж производится под знаком Амайи, бога мужчин как смертных. Платеж возвращает жертвователя в лоно закона, в цикл (он же реальность), который включает в себя смерть, но смерть органического тела — ту инстанцированную в центральном космическом нуле смерть, каковая есть всего лишь смерть эпизодического и мимолетного субъекта и в своей реальности не более чем метаболы. И, стало быть, жизнь.

Итак, смерть: через приношение — от наслаждения, через оплату жреца — от порядка. Само непомерное *время* необратимости вычитается как время работы жреца. Там, где жертвователь рискует испытать острое наслаждение и не вернуться из нирваны, именно там люди центрального нуля благодаря их обменности взимают свою долю и выделяют из единичного общее. Жертвоприношение — это страстное преступление, *дакшина* — цена, за которую его соглашаются включить в кругооборот минимаксных интенсивностей. Нуль стока подключается к нулю матриц ввода-вывода. Оно изошло, пламенем и дымом? Нужно, чтобы вернулось стоящими денег благами. Оно эякулировало? Пусть оплодотворит.

С такой точки зрения речь идет все о том же подключении, что управляет и проституцией: отвлечение либидинальной энергии в извращенное наслаждение вершится платежом продажной женщине, которая в форме своего вознаграждения возвращает какую-то часть этой энергии в кругооборот обменов. Тем самым своеособость фантазма и необратимость вызываемых им эмоций парадоксальным образом коммерциализуемы по цене пистона. Если пистон это заход, то дело тут в том, что время, открытое четвертованием тела клиента-жертвователя, снова закрывается и ему надо *прийти в себя*, вернуться. Ненадолго задерживаешься в уничтожающей раскаленности. Нужно, чтобы это закончилось, то есть возобновился цикл, чтобы все пошло по новой. Именно эту смену и обеспечивает цена. Оправляешься от наслаждения-смерти. Отложив *про запас*, на камин в заведении для приходящих, банкноты в оплату, перед тем как бегло и бrenно перепихнуться. Такова функция *дакшины*, такова, наконец, цена аналитика.

Но в психоаналитической ситуации отношения куда более запутанны, цепляние за проходные страсти заходит еще дальше, нежели в проституции. Конечно, аналитик, как и проститутка, не должен наслаждаться, таково правило контроля за контртрансфером, и, тоже как она, нейтрализует наслаждение другого, опосредованно инстанцирует его в нуле обменности, и все это благодаря оплате. Вы насладитесь, вкладывая в меня свое желание, вы заставите меня сыграть роли всех персонажей, в которых смогли вложиться (то есть на самом деле те участки тела-ленты, подключения к которым смогли *доставить* вашему Я-нулю некоторую интенсивность, участки, которым вы дадите имена тех, с кем они некогда ассоциировались, но по сути эти участки никому не принадлежат, ибо некто всегда никто) — все это говорит уже не психо-

аналитик, он напротив продолжает: итак, вы сможете лежа на моем диване подняться на сцену, где происходят эти циркуляции, и увлечь туда за собой меня, по очереди наделяя функциями двоюродного дедушки, юной служанки, богатой матери, младшей сестры и старого приятеля, а я всему этому поспособствую, как жрец-брахман идет на возжигание живых вещей, трав, цветов, плоти, костей, что собственно и составляет жертвоприношение. Но, способствуя всему этому, говорит психоаналитик, я в то же время помогу вам разрешиться от того, чем стали ваши подключения, буду трактовать их как симптомы, фантазмы, как иллюзорные веяния, вроде тех, что Сократ взялся исторгнуть из голов молодых заблудших афинян; я, стало быть, дам вам от всего этого разрешиться. Но что же здесь значит: дать разрешиться? Это значит сделать своеособость вложений обратимой в монету. Не только ограничить мгновение таким образом вложенного наслаждения одним *pistoном*, временем жертвоприношения, одним *сеансом*, но зацепиться, будь то под именем фантазмов, снов наяву, симптомов, зацепиться за циркуляции токов и прохождения интенсивностей, дабы обратить их в монету, на сей раз в валюту уже не обмениваемых благ, а вразумительных *речей*. Ибо надо будет, чтобы вещи выговаривались, чтобы из огромного взволнованного и несуразного лабиринта донесся внятный голос, чтобы мало-помалу, повторно, от сеанса к сеансу, от жертвоприношения до жертвоприношения непредвиденные буйства запускаемых влечений уступали в кабинете аналитика место возвращению.

Но очевидно, что эта называемая проработкой работа, неизбежно оказываясь работой по установлению некоей инстанции для приписки аватар влечений, которая в свою очередь сможет перенести их в слова и даже в приятные чувства, инстанции, которая оста-

ется абсолютно одной и той же, назвать ли ее индивидуумом, Я, социальной личностью, или, напротив, настаивать на ее ничтожности, отсутствии, на ее качествах нуля, — ясно, что эта работа по проработке отлична от проституции или жертвоприношения. Сеанс психоанализа действительно является жертвенным приношением и пистоном проститутке, но, если сравнивать, он заставляет политическую экономию, если мне дозволено так выразиться, проникнуть в либидинальное куда глубже, нежели они, поскольку хочет вырвать у тела как лабиринтной ленты и поместить на круг обменностей не что иное, как сам аффект. Но аффект — это как раз таки имя, которое у Фрейда носит в своих вложениях и смещениях энергия, когда воздействует на «представления». Кашляет ли Дора, приступ ли у нее астмы, Фрейд хочет, чтобы она *высказала, о чем кашляет и что подавляет*; ну и как он смог бы распознать, что она высказывает это? (В данном случае, впрочем, он так и не сумел этого сделать, я имею в виду, даже относительно собственного желания высказаться.) Он распознает это в признании, что сей оральный или дыхательный симптом можно инстанцировать в генитальности, то есть в точности в теле-производителе. Стало быть, не только говорить об интенсивностях и тем самым низводить их до словесной монеты, но и отсылать их к органическому телу, засекать их в картографии тела физиологии и химии, оно же тело размножения. Не только заставить Я-нуль Доры *признать*, что господин К. прижал ее к себе в закрытом магазине, то есть сменить это подключение интенсивности любопытствующего ужаса, тот застой, через который прошли, одновременно полностью рассеявшись и удержавшись в лабиринтном «времени», потоки энергии, но кроме того выдвинуть гипотезу, что ее астма, ее кашель, эти оральные или дыхательные симптомы происхо-

дят из смещения ощущения, которое юная девушка испытала от давления эрегированного члена господина К. на ее живот, когда он прижимал ее к себе, смещения в сторону грудной клетки и дыхательной системы: сжатая-сдавленная, что влечет наоборот, что дыхательная (или оральная) область, согласно Фрейду, может быть инвестирована только путем *подмены* и, следовательно, единственная *подлинная* интенсивность — интенсивность генитальная. Таков другой, почти прямой смысл, который можно придать словам *дать разрешиться*. Можно выдвинуть доктрину стадий — и получится все то же наложение; умножим эти стадии, добавим стадию зеркала, стадию дыхания, все равно в конце концов, когда так называемые частичные влечения наконец уловлены и собраны под знаком генитальности, *все идет своим чередом...*

Имеется тесная корреляция между чеканкой монеты из времени «дереальности», времени, *посвященного* «реальному» в продолжение сеанса, и, с другой стороны, речевым инстанцированием всех пристрастий, продвижений извращенных, расходящихся токов, непредвиденных блокировок того или иного закоулка либидинальной поверхности в теле генитальности, сиречь воспроизводства. Эта корреляция позволяет увидеть близость и отстояние двух циклов, цикла монеты и цикла размножения рода. Психоаналитику платишь потому, что во время сеанса рискуешь залететь в безвозвратное наслаждение-смерть, как раз от чего ограждал себя уже ритуал индийского жертвоприношения и вообще любой платеж жертвователя; платишь ему деньгами, ликвидной наличностью потому, что пребываешь в рамках монетарной системы; платишь, наконец, ему к тому же и *словами* из-за того, что здесь жертвоприношение подчиняется комплексному механизму иудейства и научности: научности, из-за которой целиком весь язык осмысливается со-

гласно категории обменности, или все вещи — включая сюда аффекты, влечения, смещения, путешествия на грузовок, разрядку в ущерб себе и все прочее — считаются осмысляемыми в языковых категориях: у нас уже есть тому прекрасные примеры в современной философской и научной литературе, чтоб их подобрать, достаточно протянуть руку; ну и иудейства, из-за которого слова, напротив, важны только при условии, что они действуют не как значения, а как дары, не как обмениваемые единицы, а как маршруты, осушающие на поверхностях языка текучую ликвидность аффектов; скорее приношение, нежели отношение. В психоанализе присутствуют оба механизма, причем предпочтение отдается то партии нейтрализуемых знаков, то стороне эмоциональной задолженности. Но что касается тела, во всех случаях оно обнуляется как безмерная смятая лента и устанавливается как мешок с органами, как раз таки способными заболеть (расстроиться по каким-то причинам, извне), тогда как вся эректильность сего тела предполагается сосредоточенной во влагищах и удах. В сравнении с телом проститутки, коммерческим телом, готовым обнулить любые извращения клиентуры деньгами, мы находимся на другом конце света. Здесь, в сеансе анализа, шлюхой является психоаналитик (в том плане, что он заставляет себе платить, чтобы поглотить необменное наслаждение пациента, а также преобразовать его в концепцию), а пациент — не только его клиент, но и ученик, если воспитатель-психоаналитик хочет получить от него «нормальное», половое тело. Куртизанка-педагог, продажный Моисей. Так что в психоанализе подключение интенсивностей к кругообороту обменов в действительности производится трижды: в первый раз, когда пациент платит, чтобы реактивировать наслаждение и тем самым превратить его в монету; во второй раз, когда он оговаривает или пыта-

ется выговорить желание и тем самым смягчает его до концепции; в третий раз, когда по этому случаю предполагается, что работа привязки и инстанцирования в сексе ведет к установлению нормального тела, в котором либидо будет сексом, а секс — генитальностью, то есть обещанием воспроизводства.

Война за серебро, валюту смерти: меркантильная политика

УЖЕ САМО инстанцирование интенсивности в круге эквивалентностей подает первую, приближенную идею о том, чем может быть наслаждение в рамках капитала. До какой степени оно связано с монетой как либидинальным фрагментом или силой влечений сообразно его сложности или, скорее, сообразно *первичному и явному сокрытию*, мы предпочтем рассмотреть через увеличительное стекло *политики меркантилизма* в классическую эпоху, воплощенной в паре Людовик XIV — Кольбер¹. Перед нами замечательный механизм двойного инстанцирования, позволяющий сразу и подтвердить впечатление, что меркантильная экономика, о которой Маркс говорил как о предпосылках экономики капиталистической, является по сути чем-то неустойчивым, почти что невозможным, конструкцией теоретической модели; и уловить, что экономическому или даже историческому подходу к меркантилизму не хватает в точности рассмотрения иного модуса наслаждения монетой и товаром, кроме того, что обычно называют *заинтересованностью*.

Возьмем такое письмо Кольбера к Королю²:

(...) Хорошее состояние финансов и увеличение доходов Вашего Величества требует увеличивать

1. Pierre Deyon, *Le Mercantilisme*, Flammarion, 1969.

2. Цитируется у Дейона (*op. cit.*, pp. 101–102).

всеми средствами количество серебряной монеты, постоянно имеющей хождение в королевстве, и поддерживать в провинциях точной ее пропорции, которую в оных надлежит иметь (...), увеличивать количество серебра в общественной торговле, для чего следует извлекать его из тех стран, куда оно поступает, сохранять внутри королевства, препятствуя покидать его пределы, и предоставлять людям средства извлечь из этого прибыль. Из этих трех пунктов и складывается величие, могущество Державы и великолепие Короля во всех тех расходах, возможность совершить которые предоставляют высокие доходы, тем паче, что в то же время ослабляются все соседние государства; учитывая что по всей Европе обращается лишь постоянное количества серебра, время от времени увеличиваемое поступлениями из Вест-Индии, несомненно и показательно, что при нахождении в публичном обращении 150 миллионов фунтов серебра можно увеличить эту сумму на 20, 30 или 50 миллионов, только изъяв это количество у соседних государств (...). Я молю, чтобы Ваше Величество позволило мне довести до его сведения, что, приняв на себя управление финансами, оно предприняло войну за серебро против всех государств Европы. Уже побеждены Испания, Германия, Италия, Англия, Ваше Величество повергло их в крайнюю нищету и нужду и обогатилось их трофеями, которые предоставили ему средства совершить столько замечательных дел, уже совершенных и вершимых изо дня в день. Только Голландия продолжает еще сражаться в полную мощь: вся ее сила коренится и состоит в ее торговле с севером (...), с Ост-Индией (...), с Левантом (...), с Вест-Индией, в ее мануфактурах, в ее торговле в Кадиксе, в Гвинее и в бесчисленных прочих местах. Ваше Величество основало компании, которые атакуют их повсюду словно армии (...). Мануфактуры, связав-

ший моря навигацией канал и множество других новых предприятий, созданных Вашим Величеством, это в то же время запасной корпус, сотворенный и извлеченный Вашим Величеством из небытия, дабы доблестно исполнить свой долг в сей войне (...). Ощутимым плодом успеха всех этих начинаний стало бы то, что, привлекая при помощи торговли в свое королевство как можно большее количество серебра, Вашему Величеству не только удалось бы вскоре установить ту пропорцию, которую должно соблюдать между обращающимся в торговле серебром и выплачиваемыми народом податями, но даже и увеличить как то, так и другое, так что увеличились бы его доходы и Ваше Величество подготовило бы свой народ к тому, чтобы он смог оказать более существенную помощь в случае войны или другой потребности (...).

Декларация, в которой все сказано. Первым делом, монета; у нее две функции или, скорее, позиции: это средство платежа, уплаты долгов, аристотелевская *номизма**. Подданные короля нуждаются в ней, чтобы уплатить подати, само королевство — чтобы рассчитаться с зарубежными кредиторами, буде таковые имеются. Этой функции монеты, похоже, соответствует новое значение, придаваемое производству товаров. Каковые являются не полученными от природы («первичный» сектор) предметами, а изготовлены исходя из таких полученных предметов и носят тем самым ту же произвольную, человеческую метку, что и монетарный инструмент. Тем не менее, как и в древней Греции³, они не рассматриваются здесь под углом труда, содержащегося в них как в продуктах; если они

3. J.-P. Vernant, *Mythe et pensée chez les Grecs*, Maspero, 1969.

* монета (*греч.*).

интересуют Кольбера, то как орудия войны, средства *уничтожения клиентов* за рубежом. Можно рассчитывать, заплатив монетой; следовало бы, кажется, иметь возможность расплатиться товарами, обменом или погашением во внешнеторговом балансе — ан нет, товар по сути дела не будет обладать подобным статусом, монета сохранит свою роль погашателя долгов.

К тому же в действительности она представляет собой нечто драгоценное, сокровище, которое свидетельствует о «величии, могуществе Державы и великолепии Короля». Именно поэтому меркантилизм всегда ассоциируется с *металлизмом* — Кольбер устроит охоту на бульонистов, изготовителей нечистой монеты, кажущегося богатства; не будем упоминать о бумажно-кредитных формах монеты, — а также и *квантитативизмом*, странной для нас доктрины, которая допускает, что для того, чтобы быть богатым, нужно накопить *как можно больше монеты*; что становится понятным, только если эта самая монета сама по себе принимается как сокровище. Это положение серебра сойдет на нет с расширением и усложнением современной бумажной монеты и в конце концов полностью исчезнет с отрывом обменного валютного курса от традиционного базисного эталона, золота.

Другая черта экономической политики Кольбера заключается в том, что она подразумевает количественную конечность монетарного богатства: «По всей Европе обращается лишь постоянное количества серебра». Что сообразно своему самому грубому политическому эффекту прочитывается и в другом замечании Кольбера, где он в следующих выражениях завершает краткую оценку выгод, извлекаемых голландцами из своей квазимонополии на морскую торговлю: «В этом предположении легко заключить, что насколько нам удастся урезать барыши, извлекаемые голландцами из подданных короля благодаря потреб-

лению поставляемых ими нам товаров, настолько мы преумножим наличное серебро, которое должно поступать в королевство посредством наших необходимых товаров, и тем самым преумножим могущество, величие и процветание Державы»⁴. Это то самое положение, которое в теории игр называется игрой с нулевой суммой⁵: весь выигрыш одного игрока *оплачивается* проигрышем другого, в противоположность игре с ненулевой суммой, где предусмотрена возможность одновременного выигрыша обоих участников.

Напомним, что специалисты по теории игр полагают, что участники в игре с нулевой суммой, если намерены придерживаться «рациональной» политики, сообщат друг другу всю информацию о своих намерениях (игра с полной информацией) и тем самым преуспеют в достижении лучшего в такой игре обоснованно рассчитанного результата, каковой будет определяться *минимаксом*, то есть минимумом возможных максимумов. В случае Тоски⁶ видно, что если бы Тоска и Скарпиа «договорились» друг с другом, каждый из них мог бы получить в качестве выигрыша пять пунктов. Такова общая идея договоренности, идея, казалось бы, совершенно меркантилистская, поскольку она стремится уравнивать шансы участников на выигрыш и поделить в конце партии поровну количество богатства или удовольствия, которое надлежит распределить между ними. Политика минимакса подразумевает, что на кону с той и с другой стороны сравнимые суммы, ставки соизмеримы, сами игроки в крайнем случае взаимозаменяемы: по всей видимости, погружаешься в систему (или фантазию) всеобщей эквивалентности, где интенсивности размыты к вы-

4. Цитируется у Дейона (*op. cit.*, p. 100).

5. Rapoport, *Combats, débats et jeux*, tr. fr., Dunod, 1967.

6. См. выше с. 277 и сл.

годе количеств, инстанцированных в произвольной, но принятой каждым из участников единице отсчета. И наивность — или, скорее, извращенность — специалиста по теории игр состоит в том, что он полагает, что *действительно существует* такое органическое тело отсчета, социальное тело, обоснованное единомыслие, посредник (которого, само собой, воплощает он сам — и тот, кто ему платит), прибегнуть к услугам которого *в интересах* каждого участника, чтобы *быть уверенным*, что получишь наилучший возможный результат. Словно *страсть* к наилучшему *несовозможному* результату, подразумевающая тем самым устраниение партнера и конец всей игры, не составляет также обычный для желания игрока пафос.

Взаимозаменяемость самих игроков, предполагаемая «рациональной» политикой и отмеченная изменением пространственного или временного положения в спортивных состязаниях или в салонных играх, в свою очередь в принципе влечет бесконечную повторяемость «партий». «Обоснованный» взгляд на обмен состоит в том, что тот нескончаем, что игра может продолжаться без конца. Вот почему не подобает уничтожать соперника, он же является партнером, без которого игра уже более не возможна. Отсюда озабоченность сохранением полюсов обмена, которая свойственна коммерции вообще и кажется неизбежно связанной с меркантильными сделками. Здесь монета и товар являются не вещами, а реальными проявлениями обменных отношений, и трактуются как таковые.

Но Кольбер излагает королю совершенно противоположное: поскольку количество металлической монеты, которое «обращается по всей Европе», постоянно, и это золото и есть богатство как таковое, король, если он намерен обогащаться, обязан завладеть *максимумом* этого золота. Что означает в более или менее

долгосрочной перспективе обречь партнера на полный упадок. Отсчитывать время коммерции не до бесконечности, а ограничиваясь моментом, когда *все* золото Европы окажется в Версале. И отождествить золото с традиционной формой богатства, землей. Завлекать золото в границы королевства — то же самое, что расширять границы вплоть до источников золота. Поскольку земля кругла, завоевание тоже должно в принципе замкнуться на самом себе, продвигающиеся на восток армии в конце концов встретятся с марширующими на запад и в этом замыкании установят мировую империю. Заточение золота в пределах королевства представляет собой для Кольбера ту же самую, пусть ограниченную, операцию: земля-золото или золотая земля должна завершить свое движение в королевских сундуках. В первом случае королевство перемещается по земле, охватывает ее и делается для нее сундуком; во втором — перемещавшееся золото заточается в королевстве.

Кольбер и не думает скрывать, что в меркантилизме речь идет именно о завоевании. «Управление финансами (есть) война за серебро», говорит он, и в этой войне французские коммерческие компании «словно армии», осаждающие голландские компании; мануфактуры, великие произведения искусства «это и запасной корпус», сохраняющий бдительность в тылах. Королевство это военный лагерь, его границы — это линия фронта. Протекционные таможенные тарифы суть передовые оборонительные сооружения, которые прикрывают французскую цитадель.

Что касается принципа этой войны, то он основан на представлении, что партнер сильно тебе уступает, пребывает в состоянии нужды и потребности. Тогда видно, что представление о потребности, которое будет иметь успех в экономической и социальной мысли, включая и мысль Маркса, есть просто орга-

ницистическая метафора непреложной иерархической зависимости части от центра. «Это единственная монархия, которая может обойтись без всех своих соседей», утверждает Лагомбердьер; нужно, советует Лаффема, чтобы король Франции был могуществен, «дабы наши соседи не могли обойтись без нас». «Королевству не обязательно заимствовать у своих соседей, заявляет Монкретьен, ибо только лишь Франция может обойтись без всего того, что она имеет с соседних земель, а все эти соседние земли без нее никак». И Лажоншер: «Королевство может обойтись без любого вида внешней торговли, а иноземцы не могут без его вин, зерна, соли и т. д.»⁷. Следовательно, условия обмена всегда останутся для них неблагоприятными. Особенно если к этим естественным, обретенным преимуществам Франция добавит, и именно над этим работает Кольбер, другие, те, что являются результатом создания инфраструктур и мануфактур. Франция всегда, всегда сможет *продавать, не покупая*. Сможет добиваться, требовать золота — и в количестве — в качестве оплаты. Именно так золото попадет в королевство и больше его не покинет.

Теперь, чтобы на скорую руку продолжить описание сего своеобразного *либидинального политэкономического механизма*, спросим себя, для чего послужит это золото. Оно почти ничему не *послужит*, оно по большей части не вкладывается заново, а потребляется величественными праздниками, представлениями и расходами. Из этого золота создан Версаль, то есть сцена или алтарь королевства, где богатство растрачивается, уничтожается, проматываются в наслаждении сокровища. Бывают и менее удивительные вещи, чем эта комбинация товара, монеты и мануфактуры

7. Тексты, собранные Э. Сильбернером (E. Silberner), цитируются у Дейона (*op. cit.*, p. 99).

с напрасными тратами. Меркантильное тело является «чудовищем»: отчасти подлежащая обращению стоимость, отчасти подлежащее уничтожению золото; отчасти разумность, отчасти глупость, этакий кентавр. Что же касается товара этого меркантилизма, он обладает тройственной функцией: это и реальное проявление обменных отношений, и оружие в войне за серебро, и средство разорительного накопления. В центре сей цитадели протекционистских тарифов, таможенников и предписаний царит не бытие, ступица капитала или сдержанного *civitas**, которое перераспределяет прибавочную стоимость или обнуляет обмены в бесконечном цикле, а пламя, которое их воспламеняет и питает солнечный блеск короля и его двора.

Чтобы оценить либидинальное измерение сего механизма, представим себе, что четыре главных либертена из «Ста двадцати дней Содома» наслаждаются не только положенными им Садам значительными земельными рентами, но и меркантильными доходами. Представим себе, что Кольбер, его подручные (здесь непременно имеет место перераспределение полномочий между двумя инстанциями, поскольку у наслаждения имеется два полюса) в каком-то соседнем городе (Париж) заняты тем, что ведут войны за серебро, занимаются торговлей, ставят на ноги фискальную и военную администрацию, чьей функцией, несомненно, по сути остается грабеж, но при посредстве коммерции. Представьте к тому же, что Версаль и есть пресловутый замок из «120 дней»; что король и двор являются этими самыми либертенами (чуть более иерархизированными), которые удалились сюда и держатся в стороне от источника своих доходов, города и деревни, установив замок сладострастия как

* гражданское общество (лат.).

место, куда безвозвратно стекаются все товарообмены и налоги; что население образующих Францию провинций — это те же самые крестьяне, из которых садовские либертены ценой невыносимой нищеты извлекают свою ренту; и что кроме того хозяева мануфактур, судовладельцы, банкиры, предприниматели, которые вызывают рвение Кольбера, не имеют, продавая свои товары, других функций, кроме как продвинуть далее, завести еще дальше, напрячь вплоть до разрыва сладострастие на версальской сцене. Вкладываются ли деньги и товар в рамках этого механизма ради самих себя? Возможно, скажет кто-нибудь, теми, кого зовут буржуазией, фабрикантами и торговцами; заведомо нет двора, для которого это не более чем средства к наслаждению. Ну нет, нужно сказать скорее наоборот: меркантильные по определению никогда не будут вкладываться в объект ради него как такового, а только ради его стоимости, то есть его способности к переносу и выгоде, именно Людовик XIV и вельможи, которые как раз потому, что без остатка уничтожают товары и монету, интенсивно «любят» первое и должны делать вторую преходящей — все это является парадоксом только в глазах капитала, но не разорительного либидо.

Что же тогда происходит в плане интенсивностей? Клоссовски показывает, что для наслаждения либертенов нужно не только тело их, так сказать, непосредственных жертв, но и большее и неопределенное тело крестьян, которых угнетают управляющие: нет нужды искать между объектом извращенных бесчинств и объектом жесточайшей социальной эксплуатации аналогию или метафору, на самом деле речь идет *об одном и том же теле*, базисном теле, необходимом для деспотического садовского наслаждения, подлежащем уничтожению теле; вся разница в том, что тело, состоящее из жертв внутри замка, по отношению к на-

ружному телу крестьян является сразу и его ничем не примечательной частью, и его *представителем* на сцене сладострастия. Вернемся к настолько важному здесь раскрою театральности: Франция как театр, подданные короля как зрители, чьими взносами оплачивается спектакль, двор как сцена, на которой придворные разыгрывают свою трагедию. Но прежде добавьте к этому серому телу французских крестьян, заточенному в театральных сценах королевского и господского фиска, еще более далекое тело чужеземцев, опять же крестьян, которое начинают душить налогами коммерческие компании и кабальные договоры, через множество посредников навязываемые их господам агентами Кольбера. Версальскому либертену нужно не что иное как богатство, которое «обращается по всей Европе», и, стало быть, из серого тела земли всей Европы, пусть и обескровив и выбелив ее, как свой вымпел, он собирается извлечь золото и прикарманить его оружием коммерции.

Торговля помогает здесь расширить протяженность подлежащего уничтожению тела, базисную инстанцию для наслаждения, чью модель поставляет Сад. Если сладострастие и в самом деле не имеет цены, предание войнами за серебро пытке и смерти всей Европы не выглядит слишком дорогим, чтобы доставить пищу славе короля, то есть его наслаждению. Какое *нуждается* в представлении о некоем *конечном* теле, об экономическом теле, которое было бы очерчено как тело органическое, ибо именно на этом условии сладострастие будет соединено с разрушением, в коем оно нуждается, чтобы прибавить в интенсивности. Как разрушить бесконечное тело? Выдвигаемую Кольбером и на первый взгляд чисто техническую гипотезу о постоянстве количества монеты в Европе (заведомо соответствующая экономическому «застою» или «сокращению» 1680–1700 годов гипотеза) нужно

занести на счет меркантилистского либидо. Ибо последнее — и в наших глазах, глазах тех, кто стал капиталом, это парадокс — использует саму коммерцию не с выгодой, а разорительно. И посему вовсе не следует принимать в качестве причин, приведших к механизму меркантилизма, понижающиеся кривые перемещения товаров, или поступления американского золота и серебра в Севилью между 1600-м и 1650-м годом, или кривые производства саржи и бумазеи или сукна в северных городах на протяжении второй четверти XVII века. Все это его детали. Меркантилистское желание нуждается в том, что *мы* зовем застоєм или скудностью, но что для него является условием некоего прибавочного наслаждения. Бесконечное экономическое тело открывает перспективу нескончаемого и бесконечно делимого роста, оно в принципе запрещает сумрачное сладострастие *в сравнении с другим*, которое Кольбер обещает своему господину, тем самым, что подразумевалось в древнем персидском наименовании царя царей.

Об этом заявит Юм: в центре политической экономики меркантилизма лежит *зависть*, и именно развивая ее «противоречивые» эффекты он вознамерится продемонстрировать ошибочность этой экономики. Если действительно много золота притекает в одну страну в ущерб другим, скажет Юм, то эта страна обнаружит, что ее цены увеличиваются, растет ввоз в нее товаров, а вывоз падает. Напротив, «предположим, что в одну ночь исчезли четыре пятых всех денег Великобритании (...); какие последствия будет иметь это происшествие? Не должны ли будут пропорционально понизиться цены труда и товаров (...)? Какая нация будет тогда в состоянии конкурировать с нами на иностранных рынках (...)? Итак, не вернем ли мы этим путем в короткое время всех денег, которые мы потеряли, и не достигнем ли такого же изобилия в день-

гах, какое существует у соседей?»⁸. Не слишком убедительное рассуждение, но здесь пробивается любовь к балансу, в которой мы также узнаем пафос Лавуазье и вообще страсть к коммерческому обнулению. Что касается «сути», это все равно что убедить четырех либертенгов, что их преступления ведут к разорению и что в их интересах — вплоть до выживания — будет каким-то образом *вернуть* богатство, добытое ими у населения, из которого они вытягивают доходы. Все равно что советовать извращению сделаться более демократическим и эгалитарным в отношении своих объектов. На самом деле в эпоху Юма тело Европы стало — по крайней мере для англичан — телом капитализации, наделенным требуемыми капиталом свойствами наслаждения или наслаждений; для Кольбера это тело сулило не меньше наслаждений, но совсем по-другому.

Равновесие национальных балансов, то есть правило нуля, не принимается здесь во внимание. Желание не проявляет своего безумия, придавая себе условия бесконечности, монета действует не как сила *кредита*, не как предоставленная партнеру возможность *предвосхитить* свои покупки благ или услуг; место кредита занимает *зависть*. Как и время завистника, время меркантилиста отсчитывается в обратном направлении: «Только Голландия продолжает еще сражаться в полную силу...», и завершается бледностью опустошенного от своей силы европейского тела и багровым набуханием версальского господина. И время самого этого господина считается к смерти: «После меня хоть потоп»; набухание не постоянно, сладострастие ищется не в интенсивности постоянства, а в интенсивности истощения. Капиталист — и уже Юм и его друг

8. «De la balance du commerce», *Œuvre économique*, tr. fr., p. 66; cité par Deyon, p. 103.

Адам Смит — видит в Европе тело для вложений, которые приносят доход, Кольбер и его господин — тело роскоши, которая иссякает; никакого *мы*, только дихотомия *я/они*. Для зависти, как и для извращения по Клоссовскому, необходим органический базис, обреченная на гибель жизнь. «Никогда еще в истории, пишет Кейнс, не был выдуман метод, который в большей степени давал бы преимущества одной стране за счет ее соседей, чем международный золотой стандарт»⁹. Дело в том, что из *золотого тела*, базисного для меркантилизма органического тела, вплоть до самого века бумажных денег доживет именно золотой стандарт. Золотой стандарт — это ориентир зависти. Монета подлинного капитала завистлива, а не завидна; в своей кредитной функции она не более чем разрешение заняться предпринимательством и извлечь выгоду; и ее время отнюдь не направлено задом наперед, наоборот, она не перестает его воспроизводить посредством нескончаемых напоминаний о задолженностях. Подлинная монета капитала, отнюдь не будучи сокровищем, чем-то земным, является отношением, отношением, конечно, власти, поскольку нужно соизволить *дать право на предвосхищение*, предоставляя кредит, и соизволить извлечь из этого выгоду, продемонстрировав платежеспособность; но также и отношением отстранения желания от самого себя, торможением и отскоком либидинальных энергий, схему которого мы попытаемся выстроить в дальнейшем. Монета капитала в некотором смысле есть просто данное и отобранное, досрочное и отложенное время. Монета меркантилизма — нечто эротичное и смертельное.

9. *Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie* (1936), tr. fr., 1942, p. 362.

Вернемся к меркантилистскому театру. Быть может, анализ его энергетики позволит лучше разобраться в этой странной зависти, которая, как будет видно, не имеет никакого отношения к хорошо или плохо принимаемой заинтересованности. Если принять, что в классическом театре нужно не одно, а *два* ограничения: первым делом помещение самого театра, а затем и рамки сцены, одно ограничивает место представления, охватывая вместе публику и сцену, другое очерчивает пространство игры, то становится видно, что подобной конфигурацией наделено и меркантилистское пространство. Таможенная граница ограничивает вход в тот театр, каковым является королевство: зрителями на самом деле являются подданные короля, изображающие публику. Внутри французского пространства королевский двор очерчивает второе ограничение, границы своей собственной сцены, в роли актеров на которой выступают вельможи. Не вызывает сомнения соответствие между театральным механизмом, обеспечивающим место классической французской трагедии, и политэкономическим механизмом меркантилизма.

Однако обустройство с двойным ограничением отнюдь не является собственностью меркантилистского пространства. Мощную его модель составляет Древняя Греция: ограничение гражданства, а внутри — ограничение политической сферы, центр (*мезон*), куда оратор выходит, чтобы сказать, что было сделано и что будет делаться в ближайшее время, куда, стало быть, приходит, чтобы себя через него представить, полис. Схема, не слишком отличная от трагического и комического театра. Но греческая политическая сцена не есть сцена монархическая, ведь она по самой своей конструкции *пуста*. В принципе, подняться на нее и на ней говорить может любой гражданин, превращаясь тем самым в зеркало полиса, его рефлекс

сию. С этим республиканским установлением ассоциируется совершенно другая регуляция *уничтожения*: оно имеет место исключительно за пределами полиса, путем войны против врагов или взбунтовавшихся союзников или путем направленного на союзников экспансионизма. Кто при этом уничтожает? Не король, а коллектив воителей. Мы говорим, что на истощение своих сил и богатств в престижных войнах и завоеваниях тот или иной полис толкает именно желание могущества (*Macht*). Но желание это не инстанцировано в деспотической фигуре, очерчивающей второе, внутреннее политической сфере (нации, полису) замыкание (версальскую сцену); им охвачены все граждане. Если тем не менее вторая сцена существует и в республиках, то для того, чтобы выделить сокровище скорее не богатств, а слов. Если свойственный установлению власти и представления запрет закрепляет где-то свой барьер, то именно тут, на коже скорее языка, нежели благ; трибуна вскоре перестает быть пустой и доступной средой, она становится театром, где, добывая престиж, накапливаются и растрачиваются слова. Недостаточно видеть в языковом *техне* риториков и софистов симптом затрагивающего речь профессионализма, следовало бы также рассматривать его как обретение и использование некоего *богатства высказываний*, предоставляющего привилегированный доступ на сцену собраний просто потому, что эти высказывания *правдоподобны*: республиканская трибуна становится сценой, где язык расходуют ради престижа и без всякой пользы. Как и в меркантилизме, это не исключает, а подразумевает распространение торговли (словами); но, как и в меркантилизме, циркуляция, в данном случае языковая, должна под прикрытием оплаты обязательств, принятых на равных перед согражданами, позволять королям слов, риторам и софистам

разрушить ораторский кредит доверия к их партнерам и обеспечить себе исключительное, впредь непременно истощающее обладание сокровищницей речи.

Классический французский меркантилизм знает другое обобщение коммерции: он начинает распространять ее на труд, приумножая мануфактуры (хотя это в духе не накопления капитала, а торговой войны), и в то же время устанавливает в центре обменов некое не имеющее соответствий место, которое присваивает добавочную стоимость и ее уничтожает. Тем самым это деспотическое государство требует мобилизовать значительную часть доступных энергий, дабы установить двойное отгораживание и вызвать приток к центру — с последующей их там утратой — уловленных снаружи дополнительных импульсов. Знакомое нам «политическое» пространство с его ненасытным нарциссическим капиталом и паутинной сетью полиций и «юстиций» было организовано меркантилизмом — глубоко военная и грабительская империя, где труд и экономическое предпринимательство остаются всего-навсего реальным или потенциальным оружием в руках деспота, где производство вызывает вовсе не доверие, а зависть государя.

И тогда Европа предстает таким чудищем о двух телах: меркантильное тело, скажем, обменный круг, образованный заимообращением всех интенсивностей, на которые способна великая пленка, и их обнулением посредством всеобщего эквивалента; но в то же время и золотое тело, немецкое, итальянское, английское Варварство, которое нужно завоевать, ограбить, разорить. Коммерческое тело и тело-жертва, состоящее из клиентов, они же предназначенные для ограбления и уничтожения варвары. Им что-нибудь *продают*, у них *отнимают* их золото. Протекционистский барьер разграничивает, где варварское, а где французское, где клиент, которого нужно уничтожить, а где

подданный, которого нужно сохранить. Он пропускает на вывоз товары, которые, как считается, не нужны подданным, а на ввоз — металлические сокровища войны и празднества. Он выпускает то, без чего не прожить тамошним Скотам, которым необходима Франция и без которых Франция с легкостью «обходится»; «взамен» он впускает материи славы и разрушения, неподценное, необмениваемое.

В тот момент, когда торговля начинает устанавливать господство закона эквивалентностей и минимакса, политика меркантилизма извращает ее функцию до невозможной формулы: покупай у меня, чтобы прожить, говорит Кольбер Чужеземцу, но ценой потери всех своих покупательных средств, и я представлю у себя твою агонию. По великой пленке продолжают пробегать влечения, но поток экспортных товаров приносит в области назначения только предписание возратить поток несоизмеримых по интенсивности импортных товаров. Так по другую сторону от таможенных барьеров складывается наружная «заграница», чьей единственной ролью является опустошиться «внутри»: по двойственному телу Европы пробегает громадный перенос энергий, которым питаем накал версальского празднества. И в то же время, как опустошается это наружное, оно представляется в своем разрушении, поскольку его никогда не возмещает движение торговли. По видимости бессмысленное истощение сокровищ *представляет* на сцене королевского двора *уничтожение Чужеземца*. Наличие в сей театральности *двух* ограничений, а не одного, объясняется тем, что первое из них определяет то, что снаружи претерпевает войну и уничтожение серебра, — жертву деспотической страсти, золотое тело отсталых стран, третий мир варваров, — а второе повторяет на ритуальный лад это уничтожение богатств внутри: в священном пространстве центра монарх и его

двор представляют сами и дают представить другим смертельную мощь, которая опустошает мирское пространство варварской Периферии. Питающая меркантилизм зависть деспотизма такова, что этот последний не может удовольствоваться тем, что забирает, что разрушает: ему еще надо представить в себе то, что он уничтожает снаружи.

В своей завоевательной экспансии целиком весь Запад не прекратит *ввозить*, иначе говоря возобновлять на своем собственном теле, «излишек», который он отбирает у тела земли. Но излишек этот представляется излишком только потому, что был оценен в меркантильных терминах, измерен по предполагаемой минимальной *стоимости* жизни, рассчитан в пресловутых *потребностях*, то есть потому, что тело земли, покрытое чужеземными варварами, «без которых можно обойтись», вошло в коммерческое соприкосновение с европейцами. Накручивание либидинальной ленты на самое себя, с вкраплением путем подмены того, что это замыкание исключает. Возвращение, если угодно, вытесненного: варвар — это король. Но это надо понимать не как являющуюся последствием какой-то нехватки подмену (где во всем этом может обнаружиться нехватка?), а через постоянное возобновление влечений к смерти прямо посреди органического государства, пребывающего в процессе собственного эротического разграничения. Откуда и преобладание на центральной сцене трагического, а вскоре и Террора, который за этим воспоследует.

Монета становится всеобщим эквивалентом, чтобы сделать внешние народы, их богатства («продукты») и их бедность («потребности»), соизмеримыми с товарами, которые они покупают. И как таковой она, очевидно, не является *ничем* иным, как центральным нулем заимообращения и конечным нулем каждого меркантильного цикла. Тем самым она определя-

ет *цены*, поскольку определяет оценочные отношения между количествами благ, их предложением и спросом. Монета предстает тогда как *показатель*, счет. Но меркантилизм выдает — или даже обнаруживает — один из ее секретов: она не только инструмент эроса, вносящий свой вклад в формирование жизнеспособного тела европейского или даже мирового рынка, она к тому же и оружие зависти, средство разрушения, истощения того самого тела, которое формирует, намет на другие поверхности. Не только европейская земля, объединенная и замкнутая на самое себя законом обменов, но и разрозненные фрагменты, обрывки народа, претерпевшего укусы вампира. В эквиваленте скрывается вампир, скажет либеральный критик меркантилизма; в вампире скрывается кое-что помимо эквивалента, уже капитал, скажет марксистско-кейнсианский критик. Мы же говорим: в обменном знаке кроется тензор — и наоборот. Во власти кроется сила — и наоборот. Ну а теперь, что же остается от этого (чуть ли не вполне очевидного) сокрытия меркантильной монеты в капитализме?

Капитал



Coitus reservatus*

КАК МЫ УВИДЕЛИ, «затраты» далеки от того, чтобы быть абсолютным раскрепощением цикла воспроизводства: интенсивные выбросы влечения в сторону предполагаемо *внешнего* всегда дают место двойному процессу: с одной стороны, тому, посредством которого более или менее значительная пропорция этих либидинальных количеств возмещается путем возврата — *дакшиной*, платежом за пистон, за сеанс анализа, самими словами, когда они принадлежат разменной монете языка, понятию; с другой — тому, что, напротив, испускает — жаром, парами, наслаждением — некоторое количество влечений, *необратимых и непригодных* ни в каком цикле этого рода. Итак, на круге, разорительными наслаждениями обрачиваются именно эффекты видоизменений, изредка перемежаемые чисто убыточными тратами. Но вопрос о том, *как обстоят дела с наслаждением на этом круге*, никуда не делся. В лучшем случае мы сможем понять, что это наслаждение извращено по отношению к тем, которые проявляются в жертвенном, психоаналитическом или проституционном приношении, как и наоборот, эти последние будут извращены, если принять его за точечную инстанцию. Остается утвердительно уловить это наслаждение, и в качестве его модели мы не без определенного произвола выдвинули античный полис в его меркантильной функции.

* сдержанное соитие (лат.).

По-прежнему используя все тот же извилистый и бесцельный путь, которому следуют на лабиринтной ленте влечения, попробуем отыскать, с чем можно сблизить это наслаждение, в классической китайской эротике. Здесь нужно обрушить кулак на доктрины, которые так дороги нашей западной ностальгии, не выказывать ни малейшего доверия даже *дао*, даже его замечательной доктрине слабости, вновь отбросить все это в направлении нигилизма, какую бы возвышенную изощренность ни сулило это в либидинальных материях.

Следует помнить, что при совокуплении семя является самым драгоценным веществом. Сохраняя его, мужчина оберегает свою жизнь. Всякая утрата семени должна пополняться за счет впитывания женской энергии. [Сохранение семени достигается при помощи] девятикратной остановки — после каждой серии из девяти ударов, или же семяизвержение предотвращается нажатием точки под членом [пальцами] левой руки. Тогда семя обращается вспять и оказывает благотворное влияние на весь организм. Для впитывания энергии женщины необходимо чередовать девять слабых ударов с одним глубоким. Приникая устами к губам своего «врага», нужно поглощать ее дыхание и сосать ее слюну. Проглоченная слюна опускается в желудок, где энергия *инь* превращается в энергию *ян*. Трижды совершив это, нужно снова нанести девять слабых ударов, завершая их одним глубоким, пока не будет достигнуто число 81, или 9 раз по 9, что является завершающим числом *ян*¹.

В «И синь фан» приведены основные тезисы китайской, по сути своей даосской эротике. И здесь вид-

1. «Записки из спальных покоев» (ок. 600 г. н. э.), собранные в «И синь фан» (982–984). Цитируется у ван Гулика (Van Gulik, *La vie sexuelle dans la Chine ancienne*, Gallimard, 1971, p. 191).

но, как работает механизм переключения токов, настолько отличный от всех тех, которые мы успели окинуть беглым взглядом, что он заслуживает пристального внимания. Ибо в противоположность пиstonу, жертвоприношению и сеансу психоанализа, которые все как один в результате собирали в обменной форме (монета, блага в уплату служителям культа, язык) часть растраченной на извращенное наслаждение энергии и позволяли *остатку* в некотором смысле выйти из цикла воспроизводства и коммуникации в виде тщетных, для всех утраченных и, так сказать, похищенных извращенцами (жертвователей, клиент, аналитик) у социальной организации интенсивностей, — здесь, в даосской эротике, все обустроено так, чтобы, действуя посредством анализа и процедур, способных максимизировать ее наслаждение, вызвать у женщины возбуждение женской энергии *инь*, дабы *эту энергию у нее похитить*. В то время как проститутка, служитель культа и аналитик, непосредственно столкнувшись с недозволенными импульсами своих визави, строго соблюдали правило минимизации наслаждения этих последних и опасности, которой они могли подвергнуться, если не загрузят свое приключение тяжелым балластом платежей за требующие профессиональной компетенции услуги, китайские спальные покои оказываются местом совсем иной сделки: женщина, которую здесь можно счесть субъектом наслаждения, если эти слова имеют какой-то смысл, — скорее уж: участком интенсивности, и к этому следовало бы добавить: в теле, целиком и исключительно трактуемом в своем генитальном секторе (что позволяет ван Гулику превозносить «нормальность» этой эротики), — ну да, так локализованная область эрекции и эмоций не только не осуждается и не претерпевает подмену (как, посредством предписанной оплаты, в безразличии чрева проститутки, в очищении под-

ношения или в кушеточном разглагольствовании), она возбуждается как только возможно игрой слов, рук, рта, взглядов, члена и чресл мужчины. Напрасно это подключение, переходя от девяти поз «Сюань-нью цзин» к тридцати позам «Дунсюань-цзы», только и интересуется, что проникновением нефритового стебля через яшмовые ворота в пещеру в форме пшеничного зерна; маниакальная забота, которой здесь окружено это проникновение, его подготовка, сам процесс и выход, уже обязывает сказать, что все это не имеет никакого отношения к тому, что Клоссовски или Сад назвали бы простой операцией размножения рода. В частности, как бы ни сложилась дальнейшая судьба его семени, китайский уд действует совсем не так, как афинский, который, проникая в полость супруги, озабочен только тем, чтобы поскорее доставить туда свое семя с вполне, в общем и целом, элементарной целью воспроизведения: в Греции проблема женского оргазма не ставится, и когда пенис выполняет гетеросексуальные функции, то, как мы уже говорили, на квазипроституционный лад, поскольку сообщество педерастов не могло бы воспроизводиться, не пройдя через женщин.

Похоже, так же обстоит дело и у китайцев, где высокообразованные, чиновники, военачальники всех рангов, наместники, князья и сам император (каковые, конечно же, составляли не единый круг, как античные граждане, а этажи бюрократической пирамиды: наподобие крыш пагоды) не могли обеспечить простое воспроизводство населения силами своего государственного аппарата. Так что и им тоже надо пройти через женщин. Но тут дело заходит куда дальше, и мужчина, посвящаящий себя совокуплению, далекий от того, чтобы хотя бы на миг без наслаждения проституировать свой гражданский уд на службе размножения, придерживается в спальнях покоях стратегии и тера-

пии, которые под именем эротики вскрывают целую космологию и сочетаются с целой политикой. Полезный уголок женского тела берется не только с учетом его потенциальной детородности, хотя, как мы увидим, без этого не обходится; здесь учитывается интенсивная мощь *инь*, которая, согласно «И синь фан», характеризуется пятью признаками женщины, пятью желаниями женщины, десятью способами движения женщины, девятью состояниями женщины. Что речь идет о медицине, подтверждают все даосские (и не только) тексты, даже если и ограничивают ее масштабы: интенсификация женского наслаждения усиливает мужскую энергию *ян*. Выделения изо рта, сосков, вагины всасываются ртом и каналами мужчины, включаются в тот фрагмент либидинального тела, каковым он является, как избыток энергии. Эта энергия, конечно же, *инь*, а *инь* — это стоячая вода, которая ослабляет все, сама никогда не слабея, вот почему она угрожает принципу *ян*, каковой есть огонь и потому угасаем, и почему эротика — это также и стратегия, а женщина оказывается «врагом». Но *инь*, оживляемая спазмами наслаждения, это уже кипящая вода, то есть уже и огонь, она может перейти на сторону *ян*, имеет место превращение не только стихий, но и принципов друг в друга, ибо в каждом всегда присутствует ядрышко другого и расширение этого ядра в любом из них приводит к тому, что он становится другим. Доведенная мучительными ласками до крика, женщина бесчисленными истечениями описанных в Трактатах жидкостей отдает уже не воду, слишком велико было потрясение, вот почему находящийся на стороне *ян* мужчина, завладевая этими истечениями, может *обогатиться*. Обогащение, представленное как выздоровление, терапия легких заболеваний, но также и тяжелых болезней (с точными предписаниями относительно способных от них помочь позиций и мане-

вров), но прежде всего обогащение силой бессмертия, будь то — в мирской и социальной, или даже конфуцианской версии — потому, что можно надеяться извлечь выгоду из этой капитализации энергий в виде прекрасных отпрысков мужского пола, будь то — когда использование эротики склоняется в сторону даосской мистики — потому, что повторением активных перекачек *инь* надеются достичь бессмертия самого *дао*, отождествляясь в непрерывной череде превращений с Безымянным.

Но прежде всего все это, как его ни понимай и ни проводи в жизнь, работает только на том совершенно противоположном функциям супружеского пениса у эллинского гражданина условии, что нефритовый стебель остается воздетым в своем набухании, а извержение семени не имеет места. Итак, с одной стороны, источники жидкостей, рождающихся в полостях и складках тела как фонтанирующей ленты влечений, называемой женщиной, а с другой — твердый уд, который взасос упивается этими напитками взбалтывания и их сохраняет: *coitus reservatus*.

Что же это за своеобразный механизм? Избранной Деве, которая дивится, какое наслаждение может получить мужчина, если воздерживается и не извергает семени, Пэн-цзу отвечает, что исторжение семени несомненно доставляет момент радости, но не сладострастное ощущение: «Напротив, если мужчина совокупляется, но не извергает семени, то его жизненная энергия возрастает, во всем теле ощущается легкость, а зрение и слух становятся обостренными. И хотя мужчина укротил свою страсть, его любовь к женщине только возрастает. Ему кажется, что он никогда не сможет овладеть ею до насыщения»². Исходя из этого двойственного ответа, следует проследить

2. Цитируется у ван Гулика (*op. cit.*, pp. 188–189).

две линии: во-первых, здесь находится отправная точка для тем платонической, куртуазной, невозможной, романтической любви, поскольку вместо подключения либидинальных энергий к органам, к участкам лабиринтного тела, сохранение спермы готово оправдать совсем другое подключение, на сей раз к *личностям*, и любовь к этим личностям приходит на смену разрядке в анонимных районах. Такое смещение требует со стороны как женщины, так и мужчины производства субъектов, то есть унитарных и пустых инстанций, которыми по определению так никогда и не удастся «овладеть» до насыщения, так как они — всего-навсего инстанцирующий влечения нуль. Следуя в этом направлении, мы окажемся совсем рядом с так называемыми современными проблематиками, например, лакановской, которые отмечены понятиями упущенного наслаждения и неуловимости либидинального объекта. Заметим тем не менее, что над этими проблематиками на самом деле господствует как раз то, что ни в коей мере не нависает ни над даосской мыслью, ни тем более над даосской эротикой: категория субъекта. Ведь если *дао* важно для нас, либидинальных экономистов, то отнюдь не своим нигилизмом, а изошренностью в поисках и утверждении изменчивости и, следовательно, несуществованием для него вопроса о субъекте.

Такова в точности другая линия, которой следует ответ Пэн-цзу, и именно ее подтверждают все тексты, приведенные ван Гуликом в других местах его книги: фортификация мужского тела, изошренность его слуха и зрения, восприимчивость, то нечто, из-за которого после дзэна, как говорил Кейдж, остаешься таким, как был, но в трех дюймах над землей, — все, что получено удержанием семени и его принуждением (при помощи либо ментальных, либо физических техник, таких как зажатие указательным и сред-

ним пальцами канала до семяизвержения) повернуть вспять к голове, — все это имеет отношение не к нигилизму, а к интенсификации. Ему, этому мужчине, нет никакого дела до женщины, с которой он спит. Гинекеи китайских вельмож могут насчитывать тысячу женщин: отсюда и анонимность. Но, возможно, и до себя самого. Что ему нужно? Приумножать циркуляции, подключения, будоражить воду тем огнем, что обжигает ему чресла, с предельной сдержанностью странствовать по крохотному полю, оставленному правилами руководства по *Ars amatoria**. При всей их скрупулезности, нужно понимать и практиковать эти правила так же, как правила, определяющие мимику, пение, танец и музыку спектакля театра Но: они выполняют функцию советчика только для новичков, для которых *a contrario*** очерчивают поле того, что делать не надо. Но великое искусство, как в даосской эротике, как, несомненно, в безумии, состоит в том, чтобы разбередить все размеченное ими поле, превращая его в своего рода *не-место*, каковое они отмечают, вместо того чтобы его очертить, и где никогда не узнаешь, в рамках ли еще правил сей наклон тулова или же нет, сей удар барабана, сей взмах руки. Полностью переворачивая соотношение действия — сценического для театра Но, сексуального для Учебника любви — с мерой, так что уже только само это действие и определяет свою неподвластную мерилу интенсивность, вступаешь наконец в ни с чем не сравнимую и неразрешимую единичность. Правило — уже не линия, которая проходит *вокруг* поля, где вершится то, что и *должно* вершиться, и которая исключает из него то, что вершить не должно; в кручении вокруг самой себя (причем осевая точка ее вращения сама пе-

* искусство любви (лат.).

** от противоположного (лат.).

ремещается по сегменту права, каким является правило), в вибрирующем вращении, которое делает неуловимым и неподвластным памяти то, что происходит (будь то движения головы, пение в театре Но, удары члена, трепыхание ягодиц при соитии), она служит уже только для того, чтобы породить то не-место, или немыслимое место, каковое в точности является прохождением интенсивности. Линия, порождающая мимолетный участок, где воспламеняется эмоция, участок, как нельзя лучше представляющий собой несоставимый фрагмент лабиринтной ленты.

Нельзя отрицать, что именно такова либидинальная функция скрупулезных эротических предписаний. В то же время они не доказывают исключительного преимущества, коим наделен *coitus reservatus*. Кажется, что здесь все страсти должны быть в равной степени способны создать новое пространство неизмеримых единичностей. Так что когда даосизм и вся китайская традиция отводит тем не менее всю интенсивную функцию целиком удержанию спермы, дело тут в том, что через интенсификацию продолжает пробиваться интенция, то, что Клоссовски назвал бы намерением, и отнюдь не случайно, что семя требуется повернуть в направлении мозга. Это намерение не является, конечно же, как можно было бы подумать, по сути своей женоненавистническим; в другом месте говорится, что женщина со своей стороны тоже наделена способностью сберегать свои вагинальные выделения и впитывать принцип *ян* в действии у своего партнера. «Юй фан би цзюэ» дает по этому поводу советы, позволяющие женщинам не растрачивать свою энергию *инь* при совокуплении и отсрочить оргазм. В трактате прямо пишется: «Если женщина знает, как питать свою силу и как приводить в гармонию две энергии (*инь* и *ян*), она может перевоплотиться в мужчину. Если во время соития ей удастся не допустить впитывания муж-

чиной ее любовной влаги и она останется в ее теле, то тогда ее энергия *инь* начнет питаться за счет мужской энергии *ян*»³. Вряд ли можно категоричнее заявить, что между полами нет непреодолимой разницы, что потенциально у каждого из них есть в другом свой коррелят и, следовательно, возможность перехода к «врагу». Нет, тут речь отнюдь не о феминизме, намерение *сохранить* точно так же может занимать женскую *голову*, как и мужскую, Искусство любви не делает на сей счет никаких различий, но в конце концов нужна голова, куда все это отхлынет и где все это удержится. Инстанция сбора и смены. И намерение достичь цели, даже нескольких. Прежде всего одной из самых мистических, а также и популярных: бессмертия, возвращения в пустоту изменчивости и утраты ложной субъективности в слабости, каковая и есть истинная сила. «Все вокруг имеют в избытке, / Я один как будто лишен всего. / У меня сердце глупца — смутное, простодушное! / Обыкновенные люди так скоры на суд, / Я один пребываю в неведении. / Обыкновенные люди судят так тщательно, / Я один отрешен и бездумен. / Покоен в волнении! Словно великое море. / Мчусь как ветер! Словно нет мне пристанища. / У обыкновенных людей на все есть причина, / Я один прост и прям, словно неуч. / Я один не таков, как другие, / Потому что умею кормиться от Матери!»⁴. Море это вода, женщина, *инь*; ветер это мужчина, *ян*: их смешение — это и смешение соития, и смешение *дао*, и когда ты «там» (там, где я не мыслит, говорит Лакан), проходит именно интенсивность, без интенции-намерения, без точной цели.

Но намерение слегка смещено в сторону: остается намерение «кормиться от Матери». Эта Мать, Мать

3. Цитируется у ван Гулика (*op. cit.*, p. 205).

4. Дао-Дэ цзин, XX [здесь и далее перевод В. Малявина].

Вселенной, есть *дао*; об этом сказано так: «Если придется дать ему имя, скажу: «великое». / Великое — значит распространяющееся повсюду. / Распространяться повсюду — значит уходить далеко». / Уходить далеко — значит возвращаться»⁵. Кормиться от Матери означает всасывать *инь* или *ян*, не столь важно, что именно, собрать как можно больше энергии, чтобы вписаться в бесконечную текучесть потока, который разливается и возвращается к своей высшей пустоте⁶. Итак, пока вы совокупляетесь со всей возможной интенсивностью, вы *не забываете* тот легкий нажим пальцев левой руки между мошонкой и анусом, ту приостановку движений живота взад-вперед, благодаря которой, схитрив со своим партнером, вы заберете то, что он-она вам как раз дает (без счета?), и, утаивая впредь перешедший в вас прибавок его-ее силы, попытаетесь капитализировать все вместе в текучей тщете, какою является *дао*: «Тридцать спиц колеса сходятся в одной ступице, / Но крутиться ему позволяет *срединная пустота*»⁷: в космологическом строе это тот же самый расклад, что и центральный меркантильный нуль греков и лидийцев. Вы пребывали на окружности и, используя предельную интенсивность, рассчитываете сделать так, чтобы вас выбросило или вбросило к пустому центру, вне жизни и смерти. Вы ведете торговлю. Уж не война ли такое соитие? Не столь важно. Важно, что на это говорится: итак, давайте вырабатываем стратегию. Ведь стратегия это рынок, смерть включена в подлежащие оценке возможности. И то, что всего мгновение назад казалось изошренностью предписаний, позволяющей расчистить не-место либидинальной ленты, теперь, из-за морализации всей

5. Там же, XXV.

6. Там же, XVI.

7. Там же, XI; подчеркивание мое.

этой истории и из-за нигилизма, низводящего ее размах до центральной пустоты, представляется простой максимизацией энергетической прибыли. И пусть эта прибыль признается космологической или онтологической, от этого она вызывает не меньше интереса или ужаса. Есть этакая даосская коммерция. Она отчетливо видна в алхимической версии, в которой можно представить эротические тексты. Нет ничего более коммерческого, чем алхимия: торговля симулякрами аффектов, количественная оценка влечений к жизни и смерти, взвешивание полов — все это с целью обогащения и даже абсолютного богатства, золота. Не удивительно, что весь этот механизм, через весы Лавуазье и их равновесие при *обмене тел весом*, вновь обнаруживается в промышленности. Даосская эротика, стратегия, алхимия, этика: своим центральным нигилизмом все эти заимообращения глубоко аналогичны другому, тому, которым руководствуется всеобщий меркантилизм.

Но есть и еще более — или, по меньшей мере, более пошло и прямо — заимообращаемое: мужчина (ибо в конечном счете в большинстве текстов вампирствует все-таки мужчина) практикует сдержанное соитие не только для того, чтобы овладеть *дао*, но и, с другой стороны, чтобы все *накопленное* таким образом семя произвело, когда будет с полной осознанностью спущено, красивых и здоровых детей. Ну конечно, понадобятся благоприятные эротические, атмосферные, сезонные, социальные условия; все равно благодаря своему благоприобретенному приапизму он *удерживает* не только уничтожение в центральном нуле, но и наилучшее распространение по циклу китайской политической экономии. И тогда голова, к которой поднималось и в которой скапливалось сдержанное им семя, оказывается уже не мистической, а одной из самых что ни на есть бюрократических. Ибо эта го-

лова оказывается головой главы семейства, а сей глава станет тем могущественнее, чем многочисленнее окажется его мужское потомство; и оно у него будет тем многочисленнее и энергичнее, чем больше он накопил спермы; а его семенные сокровища будут тем богаче, чем больше у него наложниц, то есть, чем сам он богаче или способнее — военачальник, высший чиновник — обеспечить себя многочисленными женщинами. Короче, женщина целиком и полностью выполняет при этом функцию источника энергии (можете поставить ее в один ряд с землей, недрами, рабочей силой, напором воды, ветром), и речь идет о присвоении силы, которую можно получить, оптимизируя доходность этого источника, и ее преобразовании в другую энергетическую форму (здесь — детей), каковая в свою очередь посредством превращения принесет прибавку энергии (здесь — большое семейство, достойных и многочисленных наследников мужского пола, позволяющих распространить влияние семейства и его клиентуры через наслоение пространств бюрократической иерархии). Конфуцианская точка зрения на сдержанное соитие, сама по себе очень сдержанная, сочтет даосскую эотику неподобающей и ее вытеснит, сама, правда, как нетрудно видеть, являясь обратной стороной и дополнением (и в то же время низведением до вульгарности власти) даосских поисков уничтожительных интенсивностей.

Греки никогда не сподоблялись подобной точки зрения на женщину и ребенка, и именно этот пункт позволяет либидинальному экономисту разнести далеко друг от друга сообщество граждан и общество «восточной деспотии». Что же это такое, китайское семя? Предмет сбережения? Более того: накопления, капитализации. Сбережением было бы просто-напросто придержание семени по случаю наслаждения. Жест сбережения свелся бы к давлению пальцев левой

руки на семенной канал. Но китайская эротика требует помимо этого жеста и многого другого: она хочет *извлечь* из партнера как можно больше силы; то есть включить в тело, которое станет телом-воспроизводителем, *новые* количества энергии. Не просто приостанавливается испускание, то есть трата, что собственно и является сбережением, но и разыскивается *приращение* сил, для которого уд функционирует уже не как выпускной канал при переполнении, а в обратном направлении, как буровая труба, по которой спящие в складках тела (земли-женщины) энергетические субстанции собираются, складываются (гениталии, позвоночник, голова; насосные станции, трубопровод, резервуары) и впоследствии перезапускаются в обращение в качестве средств производства (извержение оплодотворяющего семени, сгорание углеводородов в целях так называемого воспроизводства). Снова аналогии недостаточно: следовало бы представить себе, что бурение уже само по себе, движением, вызванным им в слоях, достигаемых и раскрываемых запущенной в них огромной фрезой головки, приумножает к тому же содержащуюся в этих слоях энергию. Что имеет место не столько для бурения (для введения уда во влагище), сколько для крекинга, чего-то вроде эротических маневров, сопровождающих проникновение.

Максимизация оргазма партнера оказывается здесь предметом исследования, которому чужда озабоченность простым воспроизводством. *Интенция* даоса, будь то мистика или бюрократа, нацелена на воспроизводство *расширенное*. В этой интенции к интенсификации о себе заявляет совершенно непризнанный элемент простой греческой *филии**, простого желания обменности и взаимозаменяемости благ и потребно-

* любовь, дружба (греч.).

стей. Эта интенция не перестает сбивать с толку любую попытку просто разграничить либидинальное и политическое. Ибо если верно, что интенция к сдерживанию способна охватить своим холодным расчетом кипение интенсивностей, вызванное эротикой поз и приемов, оказывается, что *в круге интенциональных холодностей* впредь внезапно может возникнуть повод к новым интенсивностям. И, обследуя эту траекторию, мы подойдем к вопросу: Как там насчет наслаждения *на этом круге* — и, следовательно, как там насчет наслаждения в самом капитализме?

Нуль заимообращения

ЧТО ЖЕ НАСЛАЖДАЕТСЯ этим наслаждением, наслаждением одновременно и сдерживанием, и максимизацией интенсивностей? Не: *кто* наслаждается? А: как оно наслаждается, в каком месте, в какой модальности проявляется интенсивность, какой работе, деформации, особому танцу, усложнению подвергает она великую эфемерную и лабиринтную пленку? Чем движим мужчина, когда сдерживает семя (силу) пальцами левой руки и отправляет его в направлении головы — полиморфным движением силы, простым включением в цикл метаморфоз, в котором только и есть, что переход от одной формы к другой, даже не так: от одной интенсивности в лабиринте к другой; даже не так: в неисчислимой совокупности лабиринтов, каждый из которых произошел от встречи (от встречи с прекрасным «врагом», которого бежишь, унося свой страх и его силу), — стало быть, бегством и опять же бегством, раскаленностью *я* — обретенной, захваченной, избегаемой, преображенной, теряющейся в другой раскаленности? Или же нашим китайцем движет намерение накопить капитал, движет его инстанцирование в некоем центре, само собой пустом или даже, как само *дао*, несуществующем, но в котором крылось бы овладение метаморфозами? Погружение в силу метаморфоз? или инстанцирование на их власти?

Сия нерешительность сводится к колебанию между двумя видами нуля, а эти два вида нуля скрываются в самом функционировании капитала. Ибо это са-

мое функционирование — отнюдь не хорошо отлаженная машинерия, модель которой пытается построить Сраффа, как и не машина противоречий, которую, чтобы доказать, что она не жизнеспособна, хочет разобрать Маркс; это — функционирование, в принципе инстанцируемое в центральном нуле, в стандартном товаре, в общем, структурном законе эквивалентности, и, следовательно, направляемое определенным (учетным, платежным, кредиторским) использованием монеты; но оно также и одновременно, будучи неразрешимо сокрытым в этом использовании, оказывается и судорожным антифункционированием, подвергающим опасности систему воспроизводства под именем, например, того, что называют *спекуляцией*, но что на самом деле есть нечто куда большее и служит для продуктивного использования монеты тем же самым, что антиматерия для материи.

Есть два использования богатства, то есть силы-власти: использование в рамках воспроизводства и использование грабительское. Первое — циклично, целокупно, органично; второе — частично, смертоносно, завистливо. Это два использования монеты, но не надо путать эти два использования, если угодно, эти две монеты, с двумя мыслимыми и эффективно действенными в системе видами нуля. С этого и начнем, с определения (ну да, люди понятия...) нуля *обнуления* и нуля *завоевания*, нуля стоимости или цены и нуля прибыли или прибавочной стоимости. Затем можно будет разграничить два рода завоевания, путем присоединения и путем грабежа, которые скрываются в кредитной функции капиталистической монеты, то есть в нуле прибыли. Опять то самое сокрытие, о котором мы не перестаем здесь говорить, оно направляет все, что относится к интенсивности, в сторону капитала. Капиталист (каковой существует и не существует) — это завоеватель, а завоеватель — чудовище, кентавр: его

передняя часть питается воспроизводством регулярной системы метаморфоз, контролируемых законом стандартного товара, а задняя — грабежом перевозбужденных энергий. Одной рукой присвоить и, значит, сохранить, то есть эквивалентно воспроизвести, перевложить; другой — взять и разрушить, украсть и сбежать, опустошая другое пространство, другое время. И вновь симметрия этих формулировок обманчива. Одни и те же монетарные или меркантильные знаки, которые *всегда* годятся в качестве экономических означающих, то есть в качестве отсылки к другим знакам, *могут* также оказаться совершенно иными интенсивностями, наслаждениями от разрушения. Воспроизводство скрывает разрушение, разрушение может скрывать воспроизводство, но самое главное — лабиринтные времена разрушения не выводимы из единого времени воспроизводства.

Вернемся сначала к нулю. В любой кибернетической системе обязательно присутствует базисная единица отсчета, которая позволяет измерить отклонение, произведенное включением в систему некоего события, затем, благодаря сему измерению, перевести это событие в информацию для системы и наконец, если речь идет о налаженной гомеостатической системе, обнулить это отклонение и вернуть систему к тому количеству энергии или информации, которое содержалось в ней до того. Такова функция стандартного товара у Сраффы. То, что система отрегулирована на рост, в модели закольцованного (*feedback**) функционирования ничего не меняет: просто базисной величиной тогда становится уже не u , а Δu . Та же самая модель, которую под различными наименованиями имел в виду Фрейд, когда описывал функционирование психического аппарата, как в «Наброске», так и в «По ту сто-

* обратная связь (англ.).

рону...». Эротическое функционирование, блюдущее совокупности. Сей эрос центрирован на нуле: очевидном нуле гомеостатической регуляции, но и более общим образом на нуле обнуления посредством *feedback* (то есть повторения в роли связи) любого неуместного для системы отклонения, любого угрожающего события.

Задержимся здесь на минуту. Мы видим, что принятие такой точки зрения на общество, то есть деспотическая фантазия о главе, коего стоит поставить на предполагаемое место центрального нуля и тем самым отождествить с матричным (как мог бы сказать Леви-Стросс) Ничто, может разве что принудить его к расширению своего представления об угрозе и, следовательно, защите. Ибо какое событие не повлечет с этой точки зрения угрозы? Да никакое; совсем наоборот, ведь являясь пертурбациями циклического порядка, воспроизводя то же самое (*u* или Δu), все события требуют мобилизации энергии с целью присвоения и устранения. Это слишком абстрактно? Нужен «пример»? Вот вам проект, который учиняют высшие французские сферы, организуя под эгидой Оперативного центра сухопутных войск «Оперативную защиту территории», организацию, специально предназначенную для предотвращения «внутренних» угроз, способных родиться в смутных складках «социального тела», чьей прозорливой головой, не больше и не меньше, мнит себя штаб: эта прозорливость называется национальной картотекой; и угрозы тогда понимаются «в глобальном смысле, не только военном, но и дипломатическом, экономическом, научном, даже культурном»¹; перевод события в информацию

1. Генерал Бовалле (Beauvallet, *Revue de la défense nationale*, août-septembre 1973). Цитируется Ж. Дюпенем в досье, названном *La Double Capture: l'armée contre la constitution*.

для системы именуется документацией: не она ли, «то есть предварительное рассмотрение», составляет «ключ к любому решению»? Как следствие, ее поиски «затрагивают все отрасли человеческих знаний и деятельности (...). Они распространяются на все области: политическую, военную, экономическую, научную»²; в итоге исполнение регулирующих распоряжений и их вписывание в «социальное тело», особенно если представить себе это последнее в виде жертвы какой-нибудь сильной эмоции, например, панического страха, способного потрясти его во всех смыслах в случае развязывания ядерной войны (в равной степени поймите и так: если поднимется незнамо какая сочтенная безумной волна недовольства, протеста, гражданского неповиновения), — это исполнение требует досконального и тонкого проникновения передающих каналов в социальную «плоть», то есть, как о том великолепно говорит высокопоставленный офицер, «полиции стихийных движений»³.

Тоталитаризм является просто-напросто процессом господства главной совокупности над совокупностью поработенной. Этот процесс отнюдь не эпизодичен, не конъюнктурен, не связан с судьбой какой-то политической партии («правые») или какого-то общественного класса («буржуазия»): левые, объединенные или нет, действующие при случае от имени пролетариата, не преминут выполнить ту же самую работу по выявлению угроз, централизации сведений, распространению распоряжений, устранению событий и людей или групп, предположительно связанных с этими событиями. Поскольку эротическое измерение желания более заметно у левых, чем у любой дру-

2. Подполковник Жан (Jean, in *Forces armées françaises*, juin 1973).

3. Генерал армии Юзино (B. Usineau, in *Revue de la défense nationale*, août-septembre 1973).

гой группы, можно даже задаться вопросом, не способны ли они еще более закрепить обращение энергий, чем то делают формации, которые верят в объединительную мощь капитала. В любом случае разве можем мы сегодня, спустя более чем полвека после первой рабочей революции, заметить разницу между, с одной стороны, огосударствлением «коммунистической» партией экономических кругооборотов и культурной и политической мысли, а с другой — задалбливанием и зашориванием всех участков социального тела со стороны школы, казармы, средств массовой информации, рекламы, конформизма и страха неудачи в стране «свободного предпринимательства»? С точки зрения красного неистовства интенсивностей, мутирующих по великой пленке влечений, — мелкие нюансы, тут и там, в повсеместно белом терроре. Нюансы в тоталитаризме и в способности к заимообращению.

Само собой разумеется, что важен здесь не выбор между Востоком и Западом. Важно, скорее, заметить: тоталитаризм, являясь как раз таки процессом заимообращения, не может не распространиться по мере того, как в обращение вышеупомянутого капитала включаются новые количества энергии, которые без конца растягивают вовлеченные поверхности и приумножают выпадающие частичным влечениям возможности вложиться в социальное «тело», делая проблематичным его единство. Именно это концентрационное движение и разрушает старинные различия, например, различие военного и гражданского, политического и частного, экономического и культурного, лишает эти некогда различные области их специфического достоинства и на равных основаниях ставит их на учет в центральный Каталог собранных сведений и решений. И если имеет место кризис политической экономики, то прежде всего (но, как мы увидим, не только) потому, что в непрекращающемся процес-

се интеграции, вызываемом движением расширения, вышеупомянутая «наука» конечно же утрачивает свою латинскость*, но прежде всего свой объект: ведь что такое «богатство», что такое «благо», что такое «обмен», что такое «труд», когда в зарплате очевидно содержится прибавочная стоимость; когда цены определяются безотносительно к каким-либо обсуждениям между обменивающимися сторонами, сообразно составному стандартному товару, который никому (кроме теоретика после сорока лет изучения) не удастся определить; когда речь, знание, мнение, пригодность могут и должны быть пересчитаны в активы; когда решение о вложениях в капитал уже не обязательно принадлежит владельцам этого капитала? когда военный становится экономистом, экономист — психоаналитиком, ученый — военным, педагог — программистом?

Объектом сбора сведений и решений становятся сами пространство и время — на уровне «тела» работника в тейлоризме, на уровне плана большого города в часы пик или карты промышленной страны в дни отъезда в отпуск. В исследованиях рынка и свертках продаж после рекламы зарегистрированы количества и, если это возможно, измерены интенсивности именно их — вышеупомянутых «мотиваций», последнего крика моды в области потребностей. Один в высшей степени пронизательный социолог жаловался (смеясь), что никак не может придать своей деятельности достойный науки внешний вид. Но теперь уже столь же огромное подозрение на свой счет не может не вызвать любая «дисциплина». Представление о научности проседает дважды: под порабощением функций науки функциями капитала как велико-

* имеется в виду этимология французского слова *science* (наука) через латинское *scientia*, «знание», от латинского же *scire*, «знать».

го заимообращенца или хотя бы под смешением тех и других; под влиянием устранения перегородок, которое производит в установленных областях исследования прохождение капитала, на сей раз как великого извращенца. Так что наука, на первый взгляд, является сегодня не более чем поиском эффективности, а на второй — производством странных и эффективных выдумок. Нет не только «предмета экономики», нет и «предмета науки».

Великий заимообращенец хочет устойчивости кругооборотов, равных циклов, прогнозируемых повторений, беспроблемной бухгалтерии. Он хочет устранить любое частичное влечение, обездвигить тело. Таково беспокойство императора, о котором говорит Борхес: он хотел такую точную карту империи, что она должна была бы покрыть территорию во всех ее точках и, стало быть, ее удвоить в том же масштабе, так что подданные сего монарха тратили столько времени и использовали столько энергии, чтобы ее отделать и поддержать в порядке, что по мере того, как совершенствовалась картографическая копия, «сама» империя приходила в упадок — таково безумие великого центрального Нуля, его желание обездвигить тело, которое может «быть» только представленным. И таково безумие политической экономии, доказанное построениями Сраффы. Но таким было уже и безумие малышки Маркс, желание социальной генитальности, в которой бы рассасывались все частичные влечения, которая несла бы в себе свое единство и в которой наконец-то господствовала бы «истина» политической экономии, то есть соответствующее природе воспроизводство. В этом желании «природы», на самом деле — единой целокупности, присутствует неистовый концентрационный импульс.

Нигилистическая теория кредитного нуля

РАССМОТРИТЕ теперь *другой ноль*, уже не тот, что, совсем как монета в «Никомаховой этике», приступает в центре к беспристрастному обнулению отношений между благами и потребностями, а тот, что, будучи, так сказать, вброшен прямо в торгово-обменный кругооборот, допускает, кажется, расширение радиуса действия и нарастание объема обменов, обогащение. Уже не платежная монета, произвольный эталон отдельных обнулений, а монета кредитная. В «Политике» Аристотель, которого Маркс постоянно перечитывал в 1857 году и впоследствии, различает три хрематистики*, то есть три вида процедур удовлетворения потребностей. Первая совершенно органична, она вписывается в тело семейной общины, производящей в соответствии со своими надобностями, автаркически, и не испытывает ни малейшей потребности в монете; только когда где-то появляются избыток благ, где-то излишние потребности, возникает и новая потребность в обмене между естественными по природе своей общинами, которая навлекает на участвующие в обмене блага своего рода первое подозрение, поскольку они предназначены уже не для непосредственного удовлетворения потребностей производшего их домашнего тела, а для удовлетворения потребностей другой семейной общины: их потребительная стоимость

* искусство накопления, искусство наживать состояние (*греч.*).

опосредуется тем самым стоимостью меновой. Тем не менее, говорит Аристотель, хрематистика этого рода, хотя и неизбежно приводит к монете и ее политическому арбитражу, не идет против природы, не перестает брать пример с потребности и с самой органической *койнонии*, семьи. Это первое расщепление между природной экономикой и политической экономией, чей размах драматически расширит Маркс, Аристотель напротив минимизирует, поскольку в целом хрематистика подобных обменов должна, в его глазах, оставаться ограниченной, конечной, соразмерной потребностям участвующих в обмене сторон, каковыми являются домашние общины. Но представим себе мелкую торговую операцию, *капеликон*; утром торговец покупает какие-то пищевые продукты вовсе не для того, чтобы пользоваться ими самому, а для того, чтобы перепродать вечером дороже: вот это, говорит Аристотель, против природы, такая процедура в потенциале содержит опасную *бесконечность*: здесь уже ограничить, остановить процесс может не потребность, а единственно количество монеты, которым может воспользоваться торговец для покупки и перепродажи; но это количество как раз и возрастает от самой операции. «Сообразное с природой накопление богатства относится к области домохозяйства (*ойкономике*), а мелкая торговая деятельность (*капелике*) создает имущество (...). Торговля, по-видимому, — добавляет Аристотель, — имеет дело главным образом с денежными знаками, поскольку монета служит необходимым элементом и целью всякого обмена. И богатство, являющееся в результате применения этого искусства наживать состояние, действительно не имеет каких-либо пределов»¹.

1. *Politique* I, 1257 b (trad. Tricot, revue par Austin et Vidal-Naquet, *Economies et sociétés en Grèce ancienne*, Armand Colin, 1972, pp. 189–190).

Тут-то, стало быть, и появляются кредитные деньги. Мелкий торговец выдает сам себе аванс; он одновременно и свой должник, и свой кредитор: как должник он должен будет возместить деньги, потраченные при утренней покупке из тех, которые заработает на вечерней продаже; как кредитор он удержит процент с «одолженной» суммы, состоящий в данном случае из чистой разницы между добытой суммой и потраченной. Использование монеты предвосхищает грядущий результат, тогда как ее платежная функция ограничивалась продажей настоящего или прошедшего долга. Этому переворачиванию времен вторит переворачивание отношений между товаром и деньгами: последние становятся здесь целью, тогда как в хрематистике между домохозяйствами они были средством удовлетворения потребностей: на смену Т-Д-Т приходит Д-Т-Д. Не в точности ли в этом переворачивании состоит и *coitus reservatus*, который приостановкой выделения оставляет про запас богатство в виде семени, в виде, то есть, интенсивностей *dao* (или в виде бюрократической клиентуры), и в то же время, с другой стороны, возбуждает способные поставить ему энергию области (женщину)? Не активизирует ли торговец торговые кругообороты, не расширяет ли он их, вызывая новые обмены, которые поначалу кажутся неизбежно бесполезными и даже противными природе, и не приостанавливает ли на манер восточного эротика выделение — то есть использование благ, которые он приводит в обращение, — в интересах лишь того, что может установить между ними соотношение, в интересах *монетарной энергии*, энергии в качестве монеты?

Следуя этому описанию автономизации посредника (в данном случае денег) вскоре, очевидно, сталкиваясь с Гегелем², с тем, как он, исходя из *торможения*

2. *Realphilosophie I.*

(*Hemmung*) желания, описал в 1804 году образование неких *Potenzen**, *Mitte*. Желание в своей непосредственности, говорит Гегель, разрушительно, его исполнение всегда уничтожает желаемый объект и желающий субъект, и то и другое как таковые. Избегает же оно этой нигилистической судьбы, по необходимости изобретая некий *средний член* между субъектом и объектом. Сексуальное желание и партнеры уничтожились бы в оргазме, если бы институт семьи (и ребенка) не помог восстановить и сохранить иначе обреченную на истощение силу. Точно так же влечение к именованию, раз оно тоже вершится в непосредственности эмоционального выражения, только и могло бы, что исчезнуть без остатка при каждом случае, неспособное продержаться от одного мгновения до другого и не менее неспособное узнать объект, обозначенный спорадическими произречениями: здесь тоже в качестве посредника между передатчиком и сообщением вмешивается *Potenz* знаковой системы языка, язык как институция. То же самое, наконец, и в труде, где формирующее его желание упразднялось бы, а он в то же самое время уничтожал саму свою материю, если бы в *Potenz* орудия не вписывались сразу и память о желании-потребности, и форма материи, которая должна сыграть с материей объекта. Тем самым, говорит Гегель, чисто нигилистическая сила желания оказывается стеснена, замедлена своим инстанцированием в том или ином *Mitte* (*средстве*, которое держится посреди: ребенок как средство любви, слово — средство высказывания, орудие — средство труда); и установление этого среднего требует возврата, *ein Rückkehr*, благодаря которому проявившая свою разрушительность сила изменяет направление, уклоняется от собственного катастрофического свершения и замедляется, фиксируясь на самом своем средстве.

* возможности, степени, потенции (нем.).

Гегель использует здесь слово *Hemmung*, торможение, которое будет в ходу и у Фрейда.

Заманчиво сказать, что под обликом такого торможения желания в сочтенной разрушительной силе описывается как раз капитализация. Уж не благодаря ли подобному торможению действующего в политической экономии разрушительного влечения могут тем не менее быть сохранены «до» и «после» процесса производства, каковой есть также и процесс «уничтожения» всех своих «составляющих» — рабочей силы, материала, оборудования? И это торможение *расщепляет* объекты — предметы и людей, — которых оно сохраняет, точно так же как обозначение раскалывает объект на его «внутри»-системное значение и его «вне»-системное представление или восприятие (чувственное, феноменологическое и т. п.); или как семья раздваивает партнера на либидинальный объект и на наделенного регламентированными полномочиями и правами супруга. Весь марксистский анализ *раздвоения* труда на конкретный и абстрактный, стоимости на потребительную и меновую, принадлежит все к той же фигуре отвода силы на посредника и ее установления в качестве *Potenz*. К фигуре отчуждения как для Маркса, так и для Гегеля, с той разницей, что, как полагает Маркс, у Гегеля она *не слишком хорошо обоснована*. С точки зрения либидинальной экономики вся диалектическая мысль с двумя ее основными функциями — удвоения на посреднической инстанции и раздвоения (*Entzweiung**, термин, который то и дело возвращается в текстах молодого Гегеля) инстанционных опосредований — представляется в общем и целом мыслью о *торможении*.

В чем же заключается это странное действие — *торможение* разрушительной, как предполагается, силы,

* разрыв (нем.).

из которого вроде бы проистекает сама власть? (Ибо под именем *Potenz* речь, само собой, идет о потенциальной власти.) Здесь сплавлены воедино по меньшей мере две идеи. Во-первых, власть, как показывает ее имя, является силой в смысле вполне действенной потенциальности, каковая не обходится без организации событий в прошлое и будущее и их соизмеримости или, по крайней мере, со-постижимости. Далее, она соотносима с торможением желания; власть состоит в отведении желания на средство или среду; но, как замечает Маркс в 1843 году, этого мало, ибо средством в мысли о синтезе может оказаться все; и тем самым все оказывается материей для власти. Посему следовало бы сказать, что власть кроется просто-напросто в отводе желания. (И, несомненно, к подобному же заключению следовало бы прийти и относительно *Я* у Фрейда: последовательно составленное оплакиванием объектов и сопутствующими переворачиваниями, оно — ничто, оно не есть та заранее предполагаемая «собственная персона», на которую готово перевернуться желание, это переворачивание (притормаживание цели влечений, как заметил Грин в своем очерке о нарциссизме) непрестанно производит *Я* как мимолетную инстанцию своего свершения.) Таким образом, два эти представления — о *порядке* событий (в математическом смысле, когда отдельные члены упорядочены в составе некоей совокупности) и о *торможении* желания — сочетаются в представлении о *Potenz* или власти.

Тем самым торможение совпало бы с открытием темпоральности, которую Фрейд назовет вторичной, с запуском этого времени, которое для Гегеля является понятием. Ведь приостанавливая свое свершение («разрушительное», согласимся с ним и в данный момент), оно создало бы заначку — резерв или резервуар — и одновременно нехватку энергии, дожидая-

щуюся своего часа, чтобы погаситься. Это ожидание открыло бы промежуток грядущего, и его переполняет энергия, заторможенная в накопительном процессе удержания; таким образом установился бы вторичный хронический порядок. Как в армии, запас — это нечто способное сослужить новую службу³: свое оно уже отслужило, но не истощилось от предыдущего применения и может вступить в процесс использования, чтобы начать его заново или продолжить. Все это касается прошлого, оно себя уже проявило, оно может проявить себя еще раз, все это, стало быть, касается грядущего; но, очевидно, грядущего, идентичного прошлому, повторяющего одно и то же. Шарль Маламуд показывает, насколько важна как в ведийской метафизике, так и в ритуальных практиках индийского питания категория остатка: фигура постоянства⁴. Итак, этот запас был бы властью как потенциалом, как удерживаемой от непосредственного приложения силой.

(И здесь снова можно было бы установить параллели с Фрейдом, когда он представляет себе *подвижную, непостоянную* энергию лишенной сексуальности, то есть для него никуда не вложенной и оставленной в запасе под контролем Я. Можно сказать, что вся наличность — мы вскоре увидим, насколько она важ-

3. «Оперативная оборона территории основана на быстрой мобилизации однородных региональных подразделений. Кто лучше вас, — спрашивает Робер Галлей участников съезда Национального союза офицеров запаса, — может обеспечить оборону хорошо вам знакомого географического района и населения? Кто лучше вас мог бы руководить подразделениями призываемых на местах резервистов?..». Речь идет, как трудно догадаться, о формулировке «полиции стихийных движений» (*Forces armées françaises*, juin 1973, цитируется в до-сье Ж. Дюпена).

4. «Наблюдения над понятием „остаток“ в брахманизме» (*Weiner Zeitschrift für die Kunde Südasiens*, XVI, 1972).

на для функционирования монеты в капитале, — весь потенциал принадлежит вполне реалистической инстанции, я имею в виду той, которая определяет, что́ является реальностью, а что́ нет, в точности как в экономических материях единственно реалистической является инстанция капитала. Но случается и так, что эти неустойчивые массы энергии, если их по-прежнему можно считать запасом *Я* или Капитала на службе у эроса, непредвиденно переходят к врагу, к *Оно*, к частичным влечениям и смерти от излишества; такова их подвижность — не ограниченная защитными функциями, предписанными им господином, а доходящая до того, чтобы ему угрожать, как преторианцы императору. Запас капитала тоже *может* представлять собой угрозу, и вовсе не из-за какой-то там диалектики. Ну да я забегаю вперед...)

Чем же, с точки зрения Гегеля, был бы тогда *кредит*? Не чудовищной бесконечностью, которую с наидурнейшими предчувствиями провидел Аристотель, а тормозящей регулировкой желания, включающей запас и возвращение в оборот этих количеств энергии. Кроющийся за использованием кредита вопрос заключается в том, чтобы разобраться, из чего в точности состоит аванс, выдаваемый кредитором заемщику. Например: чем авансирует банкир в операции Д-Т-Д? Если рассматривать ее не как деятельность индивида, а как способ либидинально-экономического функционирования, то финансовый капитал дает займы *досрочно* изъятые *остатки энергии*. А то, что он по ходу операции изымает под именем *процентов* как разницу между D_1 и D_2 , окажется не чем иным, как результатом вычитания, которое в свою очередь не может не произвести должник за время погашения долга из своих собственных затрат энергии. Процентный заем был бы следовательно просто-напросто реальным авансом прибавки энергии, в обычных

условиях доступной позже. То, что выдает кредит и делает вас платежеспособным, скажем мы тогда, это ваша способность к продолжительному торможению. То, на что ставит заимодавец (к чему он вас, на самом деле, принуждает), это ваше отрицание во второй степени, отрицание отрицания, сила заставить вернуться к вашему семени. Но если по-прежнему следовать Гегелю, во всем этом нет риска дурной бесконечности; напротив, налицо плодородие запаса и смена. Если торговец деньгами ссужает вам сегодня 100, а на протяжении n лет удерживает у вас 15 единиц стоимости, то лишь потому, что смог предвосхитить образование капитала (припасенной энергии), которое не преминет произойти на том перевалочном пункте, каким являетесь вы. Марксистская теория происхождения прибавочной стоимости ничем не отличается от этой: если рабочая сила способна быть источником какой-то прибавки, то потому, что она может стоять своему владельцу-рабочему меньше энергии, чем он отдает ее покупателю-предпринимателю. Ну да, почему же, как не потому, что первый способен притормозить, по крайней мере на какое-то время, свой «непродуктивный» расход энергии (свое потребление и все прочее...), а второй — активизировать, тоже на какое-то время, продуктивный расход у первого? Не вычитается ли все, что зарабатывается во времени и месте производства, из места и времени «жизни» благодаря чудовищному торможению? И если можно показать, как при случае делает Райх (и мы сами), что это самое торможение является не только деянием хозяев, но также нужно, чтобы его желали и пролетарии, то в глазах гегельянства это не такое уж большое открытие, ведь вопрос состоит не в выяснении того, *кто* сдерживает, а того, как возможно торможение.

Слабость подобного анализа бросается в глаза: если любая выгода — всего-навсего полученный благодаря

торможению аванс грядущего остатка энергии и если предполагается *замкнутость* энергетической системы, надо будет, чтобы капитал никоим образом не мог возрастать, а посредством игры процента и прибыли только передавал в руки кредиторов энергетические количества, изначально распределенные в воображаемой первичной общине случайным образом или поровну, не увеличивая при этом общее наполнение потенциальной системы. Если запускаемая в обращение прибавка на свой лад *уже тут*, если для высвобождения новых энергетических ресурсов достаточно отложить исполнение желания, то, стало быть, потому, что эти самые ресурсы обязаны своим существованием *сбережению*, будь оно принудительным или самопроизвольным. Аристотелев торговец, например, назовем его (О), беря у своего покупателя (По) больше, чем сам дал своему продавцу (Пр), вынуждает первого сократить в дальнейшем свои покупки (то есть участие в экономических оборотах), чтобы суметь восстановить равновесие (предполагаемое постоянным) своих приходов и расходов. Если только (По) в свою очередь не получит возможность поступить как торговец (О) и забрать, на сей раз в качестве продавца, у случайного покупателя частично или полностью те энергии, которых его лишил предыдущий продавец (О). Но, если система замкнута, рассматриваемый покупатель — не кто иной (в перспективе) как (Пр), который уже извлек свой процент выгоды в первой сделке с торговцем (О), так что получение (По) энергетической прибавки с (Пр) компенсирует полученное (Пр) от (О), и система будет несомненно пребывать в равновесии, но не расширяться.

Либо сбережение и в самом деле является сбережением, как подразумевается тезисом о торможении при условии, что его дополняет другой, о конечном количестве либидинального богатства; либо под име-

нем сбережения мы в действительности вновь имеем дело с поступлением в систему новых количеств энергии, но тогда важно, что эта система не изолирована и черпает прибавку богатства не внутренним торможением, а внешним расширением, захватом «внешних» энергетических источников. В рамках второй гипотезы наслаждение, или лучше сказать интенсивность, уже не размещалась бы на той таинственной петле, по которой, надавливая на грани извержения на семенной канал, пальцы левой руки заставляют сперму совершить дорогостоящий разворот и повернуть вспять; или, по крайней мере, размещалась бы не только на ней, так что нельзя было бы сказать, что подобная локализация непричастна к интенсификации. Но куда существеннее было бы признать за этим прежде всего факт раздражения, вызываемого эротикой или «противоестественной» хрематистикой в хранилищах энергии, изначально размещенных под прикрытием системы: в пластах *инь*, спящих во вместилищах женственности, которые будут подняты трудами мужской эротики; в массах природных (уголь, вода, нефть) или людских (ремесленники, крестьяне без работы) энергий, которые дремали в окрестностях капитала и которые оный готов захватить и использовать. Тогда интенсивности, на которые способен капитализм, уже не ассоциируются исключительно с торможением и откладыванием про запас, зато обязательно ассоциируются с *завоеванием* и возбуждением.

В общем и целом, наивно или коварно верить, что желание, из-за того что обращается на самое себя и откладывается, открывает пространство запаса, на который ему дозволено выдать векселя при условии восстановления этого запаса по мере возвращения долга (процентов). Если желание, как верит Гегель, чисто разрушительно, с чего бы удвоению его негативной

силы менять природу своих эффектов? Что же все-таки тормозится в движении влечений, чтобы предоставить место фиктивной инстанции Я-История-Капитал? Действительно разрушительная сила, не его ли это сила как таковая, не его ли мощь? Что наперед изъято из либидо и низведено до инстанции? Почему та же самая сила, доведенная до своей «цели», до экспансии, оказывается уничтожительной, разрушительной, дурной, но стала бы благой, если бы повернула вспять, обернулась на самое себя и приняла себя в качестве своего объекта, остановилась бы и собою удовлетворилась, стала рефлексивной и тавтологичной? Если вы принимаете такое представление об основополагающем возвращении реалистической инстанции, то присовокупите к нему и весь платонизм Гегеля, а следовательно его христианство, его нигилизм. Ибо самое время об этом сказать: если здесь присутствует нигилизм, то, конечно же, не в экспансивной силе желания — та, отнюдь не разрушая центры, на которые она, как предполагается, направлена, не перестает изобретать участки чересполосицы, мимолетно в нее вкладываясь. Нет, нигилизм целиком содержится в представлении, что хорошее, серьезное и истинное — это отворот, *Rückkehr**, и установление *Potenz*; в представлении, что торможение меняет природу и радиус действия сил, которые его претерпевают, и меняет их к лучшему. Любая построенная на этом политическая экономия будет тождественна тем школам философии сознания, которые опираются на зловещую «силу отрицания». Но проблема капитала состоит в том, чтобы разобраться, как желание, будучи утверждающей силой, превращается в запас и институцию.

* возвращение (нем.).

Использование кредитных денег для воспроизводства

ССУДА денежного капитала — не просто запуск в преждевременное обращение энергетических запасов, которые надо будет в дальнейшем восстановить путем сбережения, она скрывает две почти несовместимые либидинальные функции: одна — расширенного накопления, другая — грабежа; но и та, и другая — функции завоевания, захвата и присвоения небывалых участков чересполосицы. Из-за того, что две эти функции совместно скрыты в кредитных деньгах, невозможно совместить приятие двух нулей и двух денег, как бы говоря, например, что нулю центрального обнуления, коммерческого заимообращения соответствует монета как единица расчета и платежа (и способность регулировать циклы), а кредитные деньги со своей стороны подразумевают другой нуль, который, будучи запущен в тот же кругооборот обменов в виде ссуды (чего?), позволил бы нарастить его размах. Кредитные деньги на самом деле подразумевают и расчетный нуль, и нуль кредитный; и только по случаю единичных, непредвиденных сбоях регуляции — «кризисов», по-своему подобных приступам истерии, — удастся различить два использования кредита: в режиме воспроизводства и в режиме зависти. Надо понимать, что мы имеем дело не с двумя деньгами и двумя функциями, а с двумя деньгами и тремя функциями: регулирующий нуль воздействует не толь-

ко на обмены в гомеостатической системе, он по-прежнему присутствует в той ссуде капитала, которая делает возможным расширенное воспроизводство; иначе говоря, кредитные деньги следует мыслить также и как платежные, регулирующие режим роста; и, наконец, те же самые кредитные деньги могут, напротив, оказаться главным фактором, нарушающим регулировку всех капиталистических кругооборотов. Итак, две монеты: платежная и кредитная; три функции: гомеостаз, динамическое равновесие и дисбаланс.

О платежной монете все сказал Аристотель. Но что будет, когда платеж производится в режиме роста? Марксистам этот вопрос знаком под именем реализации прибавочной стоимости. Если имеет место рост, то дело тут в том, что при каждом цикле в систему поступает дополнительная энергия (какой бы то ни было природы, но всегда под видом товара). Но как система, регулируемая единственно аксиомой виртуального выравнивания обращающихся в ней элементов (или, если угодно, их всегда в принципе возможного обнуления в рамках общей бухгалтерии), может, не разладившись, ввести в свое лоно новые элементы (товары), не имеющие своего денежного обеспечения? Знакомый экономистам вопрос.

Воображение подсказывает нам, либидинальщикам, прежде всего перевернуть проблему, то есть отправляться не от производства и прибыли, а от банка и процента; понять, что предприниматель может действительно добыть (и в дальнейшем запустить в оборот в качестве товаров) фрагменты дотолы нетронутых энергетических зон потому, что ему дозволено тратить еще не заработанное (покупать средства для этой добычи до продажи ее продуктов); понять, что, с нашей точки зрения, не обязательно, чтобы он обращался в первую очередь к банковскому финансированию или, скорее, самофинансированию, поскольку

для системы единственным вопросом является: как можно купить себе *средства* для предприятия, когда только продажа *продуктов* сможет обеспечить им денежный эквивалент?

Проблема цикличного, повторяющегося времени: кредит — просто-напросто досрочное, в виде средств к предприятию, образование богатства, которое будет дано только задним числом в продуктах предприятия. Не надо смешивать эту функцию кредитных денег с той, которую предлагает в своей «Общей теории...» Кейнс. Кейнс имел в виду систему, в которой средства производства были уже даны, но не использовались вследствие кризиса 1930-х годов. Тем самым его проект предполагался как проект перезапуска. Но нам интересно, как завоевание и пуск в оборот новых энергетических единиц — сиречь сотворение капитала — производится в период экспансии. И оно не может произойти, минуя монетарную форму, не воспользовавшись ею в весьма специфическом применении, в своего рода *предудвоении*, или препликации, системы самой собою. Заимодавец ссужает заемщику нечто, чего ни один, ни другой, ни кто бы то ни было в системе иметь по предположению не может, то есть прибавку средств. Эта прибавка поступит в систему только если предприятие увенчается успехом, благодаря ему. Кредит представляет собой ссуду богатства, которое не существует, выданную для того, чтобы оно существовало.

Система выделяет сама себе ссуду; если мыслить в терминах товаров, эта ссуда *ничего не ссужает* — это просто ссуда, то есть кредит времени. Но на уровне системы кредит времени не имеет никакого четко очерченного смысла: таковой мог бы иметь место, только если принять, что существует некий космический хронометр, с циферблатом которого соизмеряется время системы. Такой стандарт может иметь определенный

смысл, — например, когда землевладелец выдает ссуду своему ипольщику семенем, ибо в ее погашение пойдут продукты следующего года, а годовой цикл определяется не самой системой сельскохозяйственного производства, а системой времен года, представляющей собой независимый хронометр. Но совсем не так обстоит дело в случае перерабатывающей промышленности или так называемой третичной сферы услуг, которые почти не укоренены в космическом времени. Здесь кредит времени — всего лишь процесс расширяющейся регуляции, произвольный акт, посредством которого достигается возможность включить в систему новые энергии. Способность наделить такими возможностями составляет возможность всех возможностей.

Тем не менее и она сама оказывается подчинена условиям производства; кредитор говорит должнику: вот сумма D , вы с ее помощью произведете T , то есть члены, которые войдут в систему и, очевидно, найдут (поскольку D уже будут распределены) там свой денежный эквивалент. Нужно произвести. Вот почему свойства этих кредитов совсем не какие угодно: оговариваются средне- или долгосрочность, ограничения на вложения, процентная ставка ссуды, индексированная по средней норме прибыли. Мы весьма далеки от *капеликона*, где заем берется на очень короткий срок или даже до востребования, где процентная ставка кажется предельно неустойчивой и заимодавец не налагает на заемщика никаких обязательств по производству. *Произвести* здесь в точности означает *расширить воспроизводство*, пропустить капитал по нетронутым энергетическим районам, преобразовать в товары «объекты», товарами не являвшиеся, предпринять.

Итак, ссужается ничто, но не за просто так. Предоставленная в форме денежного займа дополнитель-

ная энергия должна обнулиться или реализоваться (как вам будет угодно, здесь это одно и то же) в форме дополнительных товаров. Так становится видно, что кредитные деньги, использованные этим (продуктивным) образом, продолжают действовать как деньги платежные, как нуль обнуления, как инстанция воспроизводства: просто это воспроизводство расширенное, базисная единица не постоянна, а пребывает в процессе роста. Поскольку его использование ограничено (вос)производством, кредит не содержит никакой опасной бесконечности в том смысле, которого страшился Аристотель. Монета по сути действует здесь всего лишь как *знак чего-то другого*, знак вложенного промышленного или торгового капитала. Для самой себя она не является ни целью, ни пределом: ими являются новые товары, которые будут обменены на нее в конце цикла. Таким образом, ирреальность ссуды временна (предварительна), она будет обменена на добротную «реальность» товаров. Конечно, эти последние в свою очередь не более чем средства, и, само собой разумеется, что для капитала нет ничего кроме средств, средств воспроизвестись в возрастании. Но именно эта функция перенесения, знака, и наделяет все что угодно статусом реальности в системе. Ничто, которым ссужает предпринимателя банк, является реальностью, поскольку будет обменено на товары. Превращая себя в ссужаемое ничто, кредитные деньги в общем и целом всего-навсего довершают природу знака в системе, каковая состоит в том, чтобы без конца отсылать к другим знакам.

Что касается задействованной в этой ссуде темпоральности, то это время воспроизводства, и оно по самой своей сути ахронично как время структур. Конечно, количество задействованных в системе элементов не постоянно, и следовательно не следует рассчитывать, что все их возможные комбинации обнаружат-

ся неизменными от одного цикла до другого. Б. Рассел вправе написать о строго циклической истории, что «последующее состояние численно соответствует предыдущему», что «сказать, что одно и то же состояние наступает дважды, нельзя, поскольку это равнозначно введению хронологии», и что, скорее, следовало бы изложить эту историю следующим образом: «Возьмем множество обстоятельств, одновременных некоему определенному обстоятельству; в некоторых случаях все это множество оказывается предшествующим самому себе»¹. История капитала в процессе роста подобна только самой себе: новые товары, поступившие на протяжении цикла $n+1$, так относятся к ссужаемым деньгам, как товары цикла n к деньгам, бывшим тогда в обращении. Применяемый для (вос)производства кредит основан на этом подобии: открываемое им будущее не отличается от прошлого. Они оба в принципе идентичны, вот почему они обратимы и почему кредитор может купить себе порцию будущего.

1. B. Russell, *An Inquiry into the Meaning and Truth*, 1940, p. 102; цитируется Борхесом в «Циклическом времени» («Le Temps circulaire», *Histoire de l'éternité*, tr. fr. UGE, 1951, p. 226).

Использование кредитных денег для спекуляции: год 1921

НЕ СУЩЕСТВУЕТ никаких «спекулянтов», плохих людей, вершащих свои преступные дела за спиной честных распорядителей капитала. Денежный капитал в каждое мгновение пригоден к использованию, которое может показаться странным или неожиданным, лишь если вслед за экономистами упорно видеть в капитале одну только функцию воспроизводства. Но имеет место меркантилизм. Чтобы вывести общую формулу капитала, Маркс обязан приступить сначала к анализу денег и представить себе меркантильную систему как необходимый для образования собственно капитала этап. Меркантилизм действительно играет для капитализма определяющую роль, но не является формирующим его «этапом»; размещаясь в воспроизводстве и инстанцируясь в своем же условии, в монетарной форме, он представляет собой силу интенсивностей. Меркантилизм — не система, самое большее его можно было бы назвать антисистемой, поскольку он не способен поддерживать себя, так как предполагает смерть эксплуатируемого им тела от истощения. Ко всему прочему, он представляет собой скорее виртуальную возможность завоевания путем грабежа и расточительства, вероятно всегда присутствующую в экономических организациях, но здесь обязанную значительностью своих эффектов тому, что *зависть* (каковой он

является) в данном случае проявляется по отношению к монете, необходимому моменту в метаморфозах капитала, и, следовательно, способна серьезно исказить его обращение. Ибо спекуляция — это меркантилизм в капитализме; она гонится в среде денежного капитала за интенсивностью того же рода, что Кольбер и Людовик XIV извлекали из металлической монеты. Бесплезно пытаться вывести «приступы спекулятивной лихорадки», как их называют историки и экономисты, из общего состояния экономики. Можно было прийти к мысли, что капитал вступает на путь, где обещанная процентная ставка куда выше, чем при производстве, когда побуждение вложить становится недостаточным. Но это вразумительное описание совершенно не учитывает либидинальное различие, вытекающее из такого перемещения капиталов. Биржа отнюдь не оказывается тогда лучшим из вложений; она вовсе и не является вложением, она — территория боевых действий и завоеваний путем покупки и продажи. Чрезвычайно вычурная монета, ставшая предметом коммерции, используется не для того, чтобы произвести, а для того, чтобы забрать.

Если в истории и в самом деле задействованы разрушительные силы, то не они, не обязательно они производят войну¹. Производство войны есть военное производство, в очередной раз производство. Но разрушение скрывается в самом что ни на есть мирном производстве, смерть — в накоплении богатств. Не станем все же говорить, что капиталу предначертано подводить процессом своего накопления общества к развалу. Это не достоверно, со своими чаяниями или боязнью обещанной ею катастрофы сия диалектика очень и очень религиозна. Как влечения к смерти скрываются во влечениях к жизни, так и раз-

1. См. Domarchi, *Marx et l'histoire*, L'Herne, 1968.

рушительные силы неразличимы с силами производительными. И, так как литическая или летальная функция не принадлежит никакой инстанции влечений, мы даже не можем сказать, что спекуляция смертоносна, а производство эротично: столь же непрроверяемо и обратное. И важно даже не изумляться этой двойственности, а, скорее, отследить, как наслаждение или интенсивность соскальзывает от воспроизводства к грабежу.

Что такое меркантилизм, как не возведенная в статус государственной политика *капеликона*? Бесконечность хрематистики монеты, которой так страшится Аристотель, не является и не может являться свойством капитала в его использовании для воспроизводства, использовании, ограниченном нулем обнуления. Бесконечность капиталистического роста сама по себе не несет ничего пугающего или смертельного, потому что в принципе соотнобразуется со стандартным товаром. А если случается, что не соотнобразуется, то это как раз результат меркантилизма — использования капитала, о котором вполне можно сказать, что оно не «истинно капиталистическое», потому что у нас сложился образ капитала, по сути близкого способу (вос)производства и в точности им и являющегося, если в число действующих в системе и, возможно, необходимых влечений входит доходящий до угрозы выживанию социального «тела» (каким его требует воспроизводство) грабеж богатств. В меркантилизме XVII и XVIII веков производят на продажу и продают, чтобы приумножить количество монеты. Пока что все весьма и весьма капиталистично; куда менее следующее: это количество монеты — материально — и *есть* то богатство, которое стремятся накопить (и потратить).

Такова чрезмерность, беспредел: накапливается не капитал, не то, что будет вновь пущено в обращение согласно правилам циклов и обнулений. Накапли-

ваются количества металлов, которые образуют сокровища, собранные на войну и на празднества; при этом они изымаются из циклов и соразмерности обменов и блокируется то, что в принципе обеспечивает воспроизводство. «Дурная» бесконечность идет от этого грабежа, который не возвращает ничего из того, что захватил, который обязательно доведет до истощения воспроизводимое тело. Изнурительное накопление, порождающее все менее и менее переносимое материальное неравенство между разными частями этого «тела» — порождающее все более и более злобную зависть касательно интенсивностей между теми или иными участками либидинальной чересполосицы. Если согласно Аристотелю бесконечность смертоносна, то потому, что эксплуатируемое меркантилизмом тело конечно и процесс растущей диспропорции между его частями должен это тело взорвать: *койнония* не может снести тягостную разность потенциала между своими органами.

Возьмите кризис 1929 года, здесь крупным планом предстает меркантильная машина. Вот событие, вот подтверждение того, что в капитале с начала и до конца действуют мощные импульсы к грабежу, что в нем на свет выходит чрезмерность того, что не имеет противовеса. То же самое справедливо и в случае чрезвычайно похожего явления, спекуляции на валютном рынке, которое расстраивает сегодня функционирование мирового капитализма. Относящиеся к нему данные для нас недоступны. Напротив, кризис 29-го года предоставляет нам сегодня своего рода огромный микроскоп, позволяющий бросить взгляд на либидо капитала. В этот микроскоп легко заметить двусмысленность влечений, причем это касается и использования монеты (вложение, спекуляция), и времени (повторное-уникальное, точечное-множественное), и самой монеты (средство, сокровище),

и, стало быть, интенсивности (накопление путем перенесения, растрата). Оба накала соприсутствуют, отличимы только по своим эффектам, каждый значим в разных областях, один и тот же денежный капитал действует в двух разнородных и неразрешимых пространствах-временах, расположенных бок о бок, но в том же месте: *neben*. Спекулятивное функционирование капитала пришло в движение вовсе не *из-за того, что* стало невозможным или трудным его функционирование по части воспроизводства: что это еще за *невозможность*? Когда это бывает, чтобы воспроизведение системы было больше не возможно? Сказать об этом — значит попытаться задешево откупиться от трагического и вписать в некую диалектическую судьбу то, что было и остается единичным эпизодом, событием: если оно служит чему-то доказательством, то *двусмысленности экономических знаков*, даже самых абстрактных и, казалось бы, в глазах экономиста самых невинных. Кризис 29-го года свидетельствует, что пресловутое социальное «тело» — на самом деле миллиарды клочков чересполосицы, объединенных в принципе основным параноидальным законом воспроизводства — может распасться, развалиться и надолго (вплоть до 1950–1955 годов, то есть на четверть века, считая по хронометру *Weltgeschichte**) расползтись кашицей, причем жестоко (миллионы и миллионы мертвых, миллиарды обломков), без другого «резона», кроме яростных импульсов зависти, которые после Первой мировой войны не перестают подстрекать к использованию капитала в духе так страшщей Аристотеля хрематистики.

После 1914 года так называемый мировой рынок, то есть «тело», которое постоянно пытается придать себе капитализм, далеко ушел от своего органическо-

* всемирной истории (нем.).

го идеала. Торговый дисбаланс между Европой и Соединенными Штатами весьма глубок: 11000 миллионов долларов коммерческого излишка в пользу США в 1922 году. Тут в своей в принципе воспроизводительной функции в действие вступают кредитные деньги, и Америка предоставляет займы и кредиты: во время войны — государствам-союзникам, чтобы защитить стоимость их монеты на внешнем рынке: эти доллары позволяют им перекупить за доллары или золото свою собственную обесцененную валюту, которую повсюду выставляют на продажу биржи; после войны — государствам, вышедшим из центральноевропейских империй, чтобы поддержать их застигнутые инфляцией национальные валюты: разрушение средств производства в Центральной Европе подталкивает эти государства увеличить число своих денежных знаков, чтобы быть готовым к платежам по счетам и начать восстановление. Со своей стороны, европейские предприятия используют для покупок в Соединенных Штатах кредитные льготы, предоставляемые им американскими промышленными и торговыми компаниями.

Но что тогда происходит в 1921 году? Своего рода кризис, предвосхищающий некоторыми своими аспектами кризис 29-го. Американские заимодавцы готовы предъявить к учету товарные векселя своих европейских клиентов; Федеральная резервная система, эмиссионное учреждение, эти векселя у них выкупает; ей тем самым нужно погасить взамен бумажными деньгами учтенные ценные бумаги. Так, например, с июня 1918 по декабрь 1920 года стоимость коммерческого портфеля Федеральной резервной системы возрастает с 435 до 1578 миллионов долларов. Параллельно падает процентное содержание золотой наличности; в начале 1921 года оно составляет 42,4%, тогда как законный минимум равнялся в то время

40%². Европейская инфляция угрожает перекинуться на Соединенные Штаты. ФРС предпринимает тогда в общем-то скромную техническую меру: поднимает свою учетную ставку до 6, потом до 7%. В ответ (с июня 1921 года) сокращаются коммерческие кредиты, пока стоимость коммерческого портфеля ФРС не спадает до 659 миллионов в декабре 1921-го и до 294 — в июне 1922-го. Стало быть, простая мера по стабилизации доллара.

Но ее хватает, чтобы снова — и существенно — нарушить равновесие распределения сил в «теле» капитала. Ограничение коммерческих кредитов влечет за собой (вот они, причины и следствия!) падение объема американского экспорта и в конечном счете мировых цен, что в свою очередь отбивает желание к средне- или долгосрочным вложениям. Инфляция принимает в Европе знакомый всем оборот: в декабре 1920-го марка золотом стоит 17 бумажных марок, в декабре 1921-го — 46, в декабре 1922-го — 1778, в июне 1923-го — 45 000, в августе 1923-го — 1 000 000.

Нужно ли *во всем этом что-то объяснять*? Это не дело либидинального экономиста. Подчеркнем два важных момента: во-первых, Соединенные Штаты оказались в таком положении, когда исчерпали богатство определенной части Европы (Центральной и Восточной) и та приближалась к своей органической смерти, будучи не в состоянии соотнести свой товарообмен с какой-нибудь стабильной базисной единицей, золотом или долларом (который в тот период сам индексировался по золоту). Кейнс вполне в либидинальном духе описывает то, что экономисты лицемерно называют «скоростью обращения»: «В Москве нежелание хранить деньги кроме как самое короткое возмож-

2. Все эти (и не только) данные позаимствованы из книги Жака Нере (Jacques Néré, *La Crise de 1929*, Armand Colin, 1971).

ное время достигло в некоторый момент невероятной остроты. Если лавочник продавал фунт сыра, он со всех ног мчался с полученными рублями на Центральный рынок, чтобы пополнить свой запас, обменяв свои рубли на сыр, чтобы они не утратили свою стоимость, пока он туда доберется»³. Шахт замечает по этому поводу, что немецкое слово для ценности денег, то есть процентного содержания в монете эталона (например, золота), это *Währung**, от *währen*, что означает *длиться*. И Ж. Нере замечает: «Исчезновение длительности расстраивает умы и нервы людей»⁴.

По правде говоря, в своем расстройстве московский лавочник пребывает в поисках постоянной нормы, и ею оказывается сыр: он не такой скоропортящийся, как бумажные деньги. В кризисе 1921 года впечатляет, что мы вступаем тут в другое, головокружительное время, *сложенное из стольких времен, сколько есть перемен*, совершенно подобное в этом своем качестве времени нашего лабиринта. Это время бегства, когда по проведении каждой сделки тот из участников обмена, кому достаются бумажные деньги, спешит от них избавиться — не для того, чтобы подойти к следующей сделке в том же, но улучшенном положении, положении продавца, которое напротив проклято, а в надежде создать запас (сыров) и восстановить не зависящую от монеты базисную единицу, которая могла бы выступить в роли добротной монеты. Следует представлять себе каждую встречу торговца сыром с рублями как невыносимое событие, которого он бежит, и учитывать, что его бегство всенепременно при-

3. J. M. Keynes, *La Réforme monétaire*, tr. fr., Paris, 1924, p. 64, note; cité par J. Néré, pp. 29–30.

4. *Ibid.* p. 30.

* валюта (нем.).

ведет его к очередной встрече с купюрами, с еще большим количеством купюр. И между одним бегством и другим нет никакой непрерывности. Между одной кипой купюр и другой нет никакой тождественности, нет даже чисто количественной разницы. Каждый «обмен» является событием, открывает своего рода приключение, в котором задействована смерть.

В принципе монета, которая упраздняется в этих лабиринтах, сохраняет не только кредитную, но и свою платежную способность. Ибо вызывающим оторопь ограничением сроков бегство перед монетой напоминает нам, что вторая из этих способностей в свою очередь оказывается частным случаем первой: платя, покупатель просто выделяет получателю кредит в счет общего богатства, то есть в счет третьего лица. Повышение учетной ставки в Вашингтоне производит в Москве головокружение, переворачивает Д-Т-Д в Т-Д-Т, заставляет лавочника хотеть только сыра и отнюдь не денег и тем самым не вкладываться более в кредит и время кредита, подразумеваемые бумажными деньгами. Порождает смертельный застой в частичном органе коммерческого тела.

Можно представить себе эквивалент этого расстройства в языковом поле: амнезию *микролексикки*, чтобы не заходить слишком далеко; последняя является семантической сетью, обеспечивающей эталон смысла через множественность высказываний. Возьмем, например, лексику наименований цветов: Гельб и Гольдштейн описывают ее амнезию, что в свою очередь становится предметом комментариев Кассирера и Мерло-Понти⁵. Последний пишет: «Мы можем сами провести опыт такого [амнезического] типа, представив себе перед кучкой образцов позицию пассивно-

5. См. *La Phenomenologie de la perception*, Gallimard, 1942, pp. 222-224.

го восприятия: идентичные цвета собираются под нашим взглядом, а просто сходные завязывают между собой лишь какие-то неопределенные отношения». И Гельб и Гольдштейн: «Кучка кажется нестойкой, она движется, мы отмечаем какое-то непрерывное изменение, что-то вроде борьбы между несколькими группировками цветов, возможных с различных точек зрения». Кассирер комментирует: для амнезиака уже нет единого языка цветов, а есть столько же языков, сколько и хроматических переживаний, «каждое чувственное впечатление затрагивается «смысловым вектором», но эти векторы уже не имеют общего направления, не обращаются к заданным основным центрам, степень их расхождения гораздо выше, чем у нормального человека». Уже не *один* круг, *та самая* розетка цветов, но множество малых кругов, ни один из которых не сообщается с другими.

И второе, что стоит отметить: возможно, тут присутствует боль некоей неполной амнезии, сохраняющей след единой потребности, совсем как у русского торговца сыром. Вполне можно поверить, что в этих опытных протоколах прочитываются эффекты, производимые политикой Кольбера на его «клиентов». Ибо то же самое головокружение под именем инфляции обязательно настигает части «тела» богатств, которое будет лишено золота, пусть даже очень и очень не напрямую (в 1921 году при посредничестве доллара). Амнезия золота. Именно потому, что доллар защищается, то есть относится к самому себе как к богатству, он обрекает Центральную Европу на пустыню лабиринтов.

Конечно, ФРС — не Людовик XIV, золотой запас Форт-Нокса в принципе не предназначен для финансирования придворных празднеств, и такая мера, как поднятие процентной ставки, не является актом открытой войны или общей защиты: короче говоря, мы

находимся при капитализме, а не в рамках вершимой государством меркантильной практики. Тем не менее тут видна сама исходная гипотеза всего меркантилизма: мы видим, что богатства, переместившиеся в сторону американских банков, были изъяты из европейского капитала, что численное количество денежных средств, которые обращаются на Западе, есть количество конечное и что тем самым накопление кредитных знаков (европейские товарные векселя) на одном полюсе капиталистического «тела» погружает все, что принадлежит другому полюсу, в так страшную Аристотеля безмерность: экономическую амнезию, аметрию, аномию. И эта ситуация безмерности, в которую, как мы видим, попала Центральная Европа в 1921 году, которую, как мы увидим, подтвердит американский капитал в 1925–1929 годах, признайте, что формально она состоит в тесном родстве с прохождением токов по фрагментам либидинальной чересполосицы, что она представляет все черты «беспорядка» влечений, воздействующих на тело воспроизводства: бегущий московский торговец сырами воплощает эффект частичного движения влечений.

Использование кредитных денег для спекуляции: год 1929

ЕСЛИ вам вдруг захочется взглянуть на Нью-йоркскую биржу позитивно, посмотрите на нее не столько 24 и 29 октября 1929 года, а начиная с 1924 года, когда на всем Западе на смену кризису 1921 года пришла стабилизация. В Соединенных Штатах остается значительная масса «горячих денег»; в 1925–26 годах терпит фиаско движение земельных спекуляций во Флориде; так что эти знаки богатства будут следовать главным образом двумя путями: подменять сбережения и оборотные средства предприятий Австрии, Германии и даже Англии¹, ссужаясь на краткий срок; поддерживать спекуляцию на рынке ценных бумаг Уолл-Стрита опять же в виде краткосрочных — или даже *до востребования* — кредиторских задолженностей. Например, в начале, 1925 года Рейхсбанк (Берлин) практиковал процентную ставку в 10%, тогда как Федеральный банк Нью-Йорка — в 3%: вложения в Европе взятого под этот процент капитала, особенно краткосрочные, можно назвать «спекулятивными», пусть они и не забывают о воспроизводстве. Что же до тех вложений на Уолл-Стрит, что идут на финансирование покупок не котирующихся со времен войны американских ценных бумаг, таких как акции железных дорог или коммунального хозяй-

1. J. Néré, pp. 52–55.

ства (в разгар рецессии), уже само их назначение доказывает, что целью тут служит быстрый прирост доверенного капитала, а не процент, пропорциональный промышленной прибыли, которую можно получить от этих «нездоровых» предприятий.

Итак, вторая черта этих размещений: они обращены в первую очередь не на (вос)производственную ценность акций или обязательств, а на возможности сверхприбыли, которую они предлагают на едином биржевом рынке; процентные бумаги *воспринимаются не как знаки* (средств производства), а как *вещи*, которые окажутся наделены прибавочной или убавочной стоимостью только вследствие своей вовлеченности в движение обмена. Имеется заранее данное количество торгуемых на бирже бумаг; движения покупки одной бумаги достаточно, чтобы повысить ее стоимость, так что ее приобретатели воспринимаются *как получающее выгоду меньшинство*, которому нельзя не позавидовать; зависть прекращается, как только движение идет на попятную, она уступает место сдержанности, а потом распродаже. Так называемые психологические факторы игры на бирже состоят в этом странном «извращении» (но осмелимся ли мы, иные, воспользоваться этим словом?) отношения к капиталу: бумаги становятся словно золотыми, и можно, как на золоте, заработать золото единственно на игре зависти. И когда мы говорим «зависть», мы имеем в виду не просто ревность субъекта к субъекту, зависть собственника; а ревность во всем либидо, ту зависть, которую части великой пленки испытывают к тем ее участкам, куда вкладывается интенсивность, прямую зависть влечений без посредничества собственнических ограничений, из-за которой массы перетекающего по телу биржевых стоимостей капитала не могут распределиться по справедливости, на равных, а без конца перемещаются, производя огромнейшие скач-

ки потенциалов. Это действительно в очередной раз меркантилизм и *капеликон*, с необходимостью связанная с *конечным* количеством (совокупностью торгуемых бумаг) чрезмерность.

И вторая черта: покупки связанных с недвижимостью ценных бумаг на Уолл-Стрите с 1925 по 1929 год совершаются по большей части «на грани», с деньгами, занятыми до востребования (*call loans**); для заимодавца, стало быть, речь идет о весьма изменчивом размещении, погашаемом по первому требованию. Процентная ставка этих *call loans* поднимается в Нью-Йорке с 3,32 в январе 1925 года до 9,41 в июле 1929-го; ее можно сравнить только со ставками, практикуемыми в Европе, «чтобы привлечь» американские капиталы. Но здесь срок изъятия ссуженного капитала из обращения еще меньше. Я представляю себе, как обладающий точной информацией *брокер* обращается с запросом о займе с возвратом по первому требованию к какому-то представителю банка (как мы увидим, все не совсем так), и тот немедленно передает ему простой вексель взамен на обещание, что если планируемая брокером операция принесет выгоду, ее плоды будут поделены между ними в такой-то пропорции. Кредитные деньги обращаются здесь во *времени*, не совпадающем со временем продуктивного капитала: больше нет природного или схожего с таким циклом. Больше нет вообще цикла, а есть одни тенденции к повышению, к понижению и их резкие, непредвиденные в период завихрений изменения.

Этот кредит до востребования, относящийся к покупкам с очень коротким сроком платежа, влечет за собой максимальную *подвижность*. Уже не торговец сыром гонится через рубли за сыром, это заимодавец гонится через ценные бумаги за деньгами. Эта

* онкольные ссуды (англ.).

подвижность в очередной раз является чертой *капеликона*: представьте себе, что коммерсант совершает за день не одну, а две, а десять операций Д-Т-Д. Это наверняка ничего не добавляет к производственным способностям его города; это грабеж времени или, скорее, время грабежа, когда не обойтись без быстроты перемещения, поскольку она гарантирует, что ты окажешься первым в деле — с землями, когда ты степной кочевник, с золотом, когда ты Великий король, с ценными бумагами, когда ты крупный маклер. То же временное головокружение, те же лабиринты, в которые *галопирующая* инфляция погружает Центральную Европу в 1921 году. Это время страстей, время расточительства.

Ибо даже если торговцы бумагами не устраивают пышных празднеств, они обязательно включены в ту же странную ситуацию, что и грабитель-кочевник: простое завоевание пакета акций с необходимостью вызывает в перспективе его обесценивание, как завоевание некоей территории конниками непосредственно влечет за собой, что им придется ее покинуть, и тем самым подразумевает ее исчерпание. Таким образом завоеванные, награбленные вещи уже мертвы и должны быть как можно скорее отброшены. Именно в этом смысле любое завоевание есть бегство вперед, к другим вещам, *еще не* обесцененным и однако *уже* обесцененным, поскольку ими вот-вот завладеют. Именно таким завистливым образом времена в лабиринте игнорируют друг друга и каждое предпочитает свой огонь и свой пепел.

Но это еще не все. Другая, на первый взгляд «техническая» черта спекуляции подвижностью на Уолл-Стрите в ту пору четко показывает скрытый, неразрешимый характер внезапно интенсивно завистливого применения денежного капитала. Займы, предоставляемые *брокерам*, не обязательно дело банков, у них

главным образом внебанковские источники. Например, на 31 декабря 1924 года из 2230 миллионов долларов, ссуженных *брокерам*, только 550 миллионов приходят не от банков. Но 31 декабря 1927 года соответствующие цифры составляют 4430 и 1830; 31 декабря 1928 года — 6440 и 3885 (больше половины); и, наконец, 4 октября 1929 года — 8525 и 6440 (то есть примерно три четверти приходится на небанковские ссуды)². Как показывает Ж. Нере, поступающие не из банков средства суть *оборотные капиталы промышленных и торговых компаний*. Это означает, что капитал, «нормально» вкладываемый через посредничество товаров в свое собственное воспроизводство, «играет» на том, чтобы одолжиться по самой высокой цене, чтобы по самой высокой процентной ставке быть обмененным на ценные бумаги — пусть и с риском, что в любой момент придется продать их по низкой цене. Таким образом, недостаточно сказать, что имеются вредные спекулянты, имеет место и непреодолимое влечение спекулировать и оно способно затронуть даже капитал, отведенный на воспроизводство; те же самые люди, директора предприятий, президенты промышленных и торговых компаний, которые любят перенесения и отсрочки, могут предпочесть им сластолюбие, доставляемое этим меркантилизмом во второй или третьей степени.

Здесь, как очень внятно излагает Нере, кроется поднятый кризисом 1929 года вопрос, и он отнюдь не в том, чтобы разобраться, почему имели место биржевые спекуляции; они имели место всегда, ответит экономист; мы бы добавили: это же инстанцирование либидо, оно, равно как и сам промышленный капитализм (который не менее таинственен, не так ли?),

2. L. V. Chandler, *Benjamin Strong*, таблица, воспроизведенная у Нере, р. 76.

не приемлет никакого «потому что». «Настоящее затруднение проистекает из размаха спекуляции *в кредите* — каковая, следовательно, не снабжается избыточными доходами напрямую. Вопрос в том, чтобы разобраться, как оказалось, что эта в высшей степени рискованно-гадательная спекуляция на бирже в такой степени втянула в себя оборотный капитал предприятий и подорвала нормальные механизмы краткосрочных кредитов и платежей». И Ж. Нере заключает: «Чтобы ответить на это, не хватает исходных данных»³.

На вопрос, почему смещается вписывание влечений, на самом деле нет ответа. То, что интенсивность, что сила инстанцируется тут скорее в торговле ценными бумагами, принятыми как нечто меновое, а не в производстве потребляемых товаров, не более объяснимо, чем тот факт, что приписанное к гениальной зоне либидо совершает движение в сторону ануса или уха. Назовите, если это вас успокоит, это регрессией. Эротизацию (в этом банальном смысле) биржи нужно не объяснять, а констатировать. Пропорции, каких она достигает в 1929 году, позволяют лишь утверждать: вот *способ*, которым в капитализме и со стороны капиталистов может интенсифицироваться сила, хотя этот механизм в принципе может работать только по краям — и даже ценой — так называемой нормальной формы, каковую составляют воспроизводство и перенесение. Для нас достаточно этого примера, чтобы задуматься о том, что мы *так и не начали* описывать либидинальную экономику капитала. Эти несколько страниц были всего лишь микроскопическим вкладом в подобное описание.

Здесь вы опять могли бы заявить: они, эти страницы, показывают *двойственность* использования кре-

3. J. Néré, p. 95.

дитных денег: бывает кредит, который вызывает доверие, и кредит, который доверия не вызывает, кредит, который разыгрывается в согласии со временем авансов и задержек, и «кредит», который разыгрывается вне цикла, одиночными выбросами спекулятивных лабиринтов. Не стоит так думать. Существенна не эта двойственность, то есть не то, что одно и то же вложение одновременно оказывается и воспроизводственным, и спекулятивным; существенно, что интенсивностям предлагаются два неразличимых инстанционирования и сладострастие может переходить с одного из них на другой самым непредвиденным образом. Не заменяйте оптимистическую для одних, пессимистическую для других (малышка Маркс, Маттик) диалектику секретом полишинеля двойственности. Двойственность есть совместное присутствие в одном пространстве-времени векторов противоположной направленности. Но двусмысленность этого капиталистического кредита есть совместное присутствие (но присутствие при чем, при ком?) тензоров в знаках и знаков в тензорах. Но знаки и тензоры не принадлежат одному и тому же пространству-времени: знаки по определению относятся к системе, в которой они видоизменяемы (перестановочны, переводимы, обменны); каждый тензор открывает свое собственное эфемерное время и мимолетное лабиринтное пространство.

Нужно отчетливо понимать, что в основе обсуждаемых тут нами лабиринтов лежит предположение о *конечном количестве* богатства, которое, преисполняясь зависти, выдвигает любой меркантилизм (всякая спекуляция). Каждая интенсивность есть бегство к смерти, иначе говоря к исчерпанию, энергия растрчивает при этом большую части своей силы, используя, стало быть, любой запас, разрушая любое организованное тело: таковы кочевники вели-

ких нашествий, Людовик XIV, маклеры 1929 года. Что за это время сменились знаки, что земли обмениваются на движимость, ничего не меняет в фантазии о подобной «конечности» и в серьезности ее жестокости. Знаки берутся здесь не как подмены согласно поистине оседлым (структурным) мыслительным обычаям, они суть подвижные энергетические пакеты. Лошадь кочевника — не более чем сделавшаяся более подвижной земля. Когда переходишь от земли к лошади, каковая не является ни орудием, ни оружием, но самым необходимым: средством передвижения, — когда переходишь от лошади к переводным векселям, а от них — к займам до востребования, каждый раз переходишь к *по возможности самому подвижному*. Ко все менее и менее «мирским», космическим, ко все более и более либидинальным, лабиринтным, эфемерным пространству и времени. Не существует ли некое пространство-время спекуляции, которое можно было бы картографировать? География и история биржи? Совсем наоборот, в этих пусаках в обращение всегда присутствует нечто дикое, что подвергает опасности пространство-время воспроизводства, являющееся пространством-временем воспроизводимым.

Еще один, свежий пример. Саудовская Аравия, Кувейт, Абу-Даби, Катар и Ливия в сумме насчитывают 9,5 миллионов жителей. После повышения цен на нефть, навязанного ими своим европейским покупателям в 1973 году, они смогли в совокупности положить себе в карман в 1974 году примерно 45 миллиардов долларов. Теперь уже целиком вся Европа, включая Францию Великого короля, строит из себя немущего клиента и жертву. Ибо, как отлично понимали меркантилисты, они могут продать в ответ хозяевам нефти очень и очень немного, поскольку оные *в этом не нуждаются*: все продающие нефть арабские страны (а не только пятерка названных выше) не в состоянии

усвоить в год импорт более чем на двадцать миллиардов долларов. Добавим, что избыток их экспорта подлежит оплате *в долларах*, совсем как Кольбер требовал металла. Ясно, что при таких расчетах европейский капитализм не преминет вскорости прийти в упадок. (Мы отлично знаем, что отнюдь не все так просто...)

Надо ли говорить, что невозможно описать всю эту кутерьму в терминах эксплуатации рабочей силы? Но несущественна также, очевидно, просто-напросто структурная фантазия Сраффы. Ибо единственное средство избежать подобного упадка, как замечает М. Боске⁴, по всей очевидности состоит в том, чтобы определить новый составной стандартный товар, включающий и тонну нефти, и, например, единицу автомобиля, в полном соответствии со взглядами Сраффы. Но эпизод 73–74-го годов как раз и показывает, что такой товар *не существует* и в некотором смысле существовать *не должен*. Если бы он существовал, откуда бы взялись все эти сбои? Как могли бы они возникнуть в воспроизводстве, имеющем в качестве своей цели только самое себя? Если бы вложения регулировались с учетом воспроизводства системы, подобные перебои были бы исключены.

Включенная в политическую экономию религия такова, что постулирует, как и критика малышки Маркс, подобное органическое единство тела капитала и в него верит. И несомненно английские, французские, итальянские «левые» верят в него куда больше, нежели «правые», которым мешает даруемая им привилегиями в управлении капиталом возможность предаться расточительным страстям. Политическая экономия это иллюзия преимущественно «левых».

Власть, которую арабские «феодалы» напрямую отправляют над судьбой чрезвычайно серьезных евро-

4. *Le Nouvel Observateur*, 7 jan. 1974.

пейских предприятий и косвенно (посредством спекуляций с золотом, ибо на что бы вы желали, чтобы они меняли свои нефtedоллары, эти несчастные, израсходовавшие чуть ли не все возможности расточительства?) над судьбой весьма преуспевшей в воспроизводстве Европы, власть эта ничуть не парадоксальна. Парадокс возникает, только если верить в закон стоимости, будь то в форме Сраффы, составной стандартный товар которого, хоть и освобожденный от гипотезы о *происхождении* стоимости, остается тем не менее вскормленным верой в *равновесие* и возвращение. Это равновесие отнюдь не существенно. В самом что ни на есть «современном» капитализме под именем меркантилизма, спекуляции, империализма, неравного обмена присутствует сила, которая относится не к *порядку*, а к *рвению*: зависть есть «ревность» и происходит от «рвения».

Еще один факт, который нужно изучить под углом *капеликона*: отказ от конвертируемости доллара, рассогласование обменного курса, распространение принципа плавающего курса валюты — все это направлено в сторону большей подвижности, в принципе более продуктивной, но и более раздраженной, которая, отнюдь не препятствуя спекулятивным или меркантилистским в нашем смысле слова маневрам, лишь перемещает их возможность (даже если за отсутствием другого *богатства* приходится вернуться, как делают эмиры, к доброму старому золоту). С учетом этой подвижности вложение (то есть подчас весьма долгосрочный переход к оседлости) энергий в средства (вос)производства все еще кажется чем-то природным, циклическим, в принципе регулярным, превращающим продуктивное тело в своего рода землю: землю неолитической революции. Но у спекуляции или меркантилизма нет природной модели; даже зловещий второй принцип термодинамики не воздаст должно-

го их блужданиям; потребовалось бы скорее что-то вроде таинственной гипотезы об антиматерии, совершенно подобной материи, о совершенно положительной энергии, отличающейся от закрепленной в материи лишь своими эффектами: когда она встречается с этой последней, они уничтожаются.

Вкладываясь в товары (включая сюда и средства производства), вы подчиняетесь регуляции метаморфоз: ведь производство есть потребление и продукты должны быть в свою очередь потреблены. Именно в этом смысле вышеупомянутая «потребительная стоимость», как по отношению к хрематистике, использующей монету для платежей между естественными единицами потребностей (семьями) подсказывает уже Аристотель, является необходимой модальностью системы воспроизводства. В ней присутствует медлительное, космическое время, время семени и плода, курицы и яйца, вызревания и плавления сахара. С монетарными «знаками» вырываешься из этого времени с его пространством. Сходишь от знаков с ума: они допускают несколько времен, много времен, это ускорители и замедлители, как раз потому, что не принуждены к (вос)производству, то есть к потреблению, к нигилизму. Их приумножение происходит не из-за плодovitости, не из-за перевода их номинального достоинства в приносящие доход товары, то есть не из-за их вложения; это всего лишь концентрация богатства на полюсе обращения, уведенная у другого полюса; это всего лишь прочесывающие движения, исчерпывающие поверхности. Эти движения свободны от принуждений любого воспроизводящего потребления; они делают возможным расточение пробегаемых ими поверхностей.

Как же поступал в результате китаец со своим семенным богатством? Было ли то накопление и капитализация с целью добраться до метафизического

Центра, или дао, или даже вершины бюрократической иерархии? Не была ли эта сдержанность, эта запасливость в совокуплении к тому же интенсификацией энергий и их грабежом с целью расточения? Не вызывает ли она на теле женщины и на его собственном теле то же самое раздражение, что вызывает доллар на Центральном рынке в Москве и на Уолл-Стрит? Почему сей запас способен дать место только долгосрочному кредиту, вкладываемому, воспроизводительному? Не является ли он также и займом до востребования, непреднамеренной спекуляцией, раскаленностью сметаемых без заботы об их воспроизводстве или увеличении поверхностей, завистливо-ревнивым рвением, а не завоеванием власти? Наверняка. Совсем бессмертной двойственностью и сокрытием, сокрытием любого накопления?

Экономика всего
вышенаписанного



Экономика фигуративного и абстрактного

ЧТО ЭТО за дискурс? Как он легитимируется? Где расположен? Какова его функция? Кто разрешает вам говорить подобным образом? Вы что, держатель великой пленки? Но как вы можете оным быть, когда она эфемерна и не предлагает ничего держать или удерживать? Вся эта ваша затея, не чистой ли это воды выдумка и риторика? Вы ищите истину, ее якобы излагаете, ее изложили? Не новую ли вы выстроили философию, очередную систему? Опять-таки слова? Не притязают ли эти слова на как минимум изменение мира? А если нет, то на что? Его, в убожестве, констатировать! По сути, с вашей стороны это чисто воображаемая поделка, исполнение желания на, как вы сказали бы, «коже языка»: эстетизм, элитаризм.

Отвечай вопросом, скажи им: а что такое ваш теоретический дискурс? В основе всех ваших вопросов лежит отсылка к этому дискурсу, ссылка на слово истины. Мы не позволим, не дадим запугать себя этой ссылкой, вы ничего не знаете об истине и никогда ничего про нее не узнаете, мы знаем, что она — оружие паранойи и власти, фирменный знак единства-целостности в пространстве слов, возврат и террор. Итак, поборемся с белым террором истины красной жестокостью единичностей, ее средствами и ради нее. И мы намерены с тщанием вам ответить — не потому, что ис-

пытываем какое-либо беспокойство, выслушивая ваши вопросы, а потому, что это позволит не только поместить этот белый террор (особенно когда он представляется как бы «левым», самым отвратительным) на нашу эфемерную пленку, но и переместить, распространить по сей односторонней ленте нашу собственную силу.

О жены, о молодые мужи, о стареющие друзья в ювенальной купели юности заносчивой, обильной, пылкой, варварской, великолепной, о педики, о подсевшие, о арабы, о кровь, помогите нам ныне выдержать тот последний неослабный натиск, что исходит от ненавистной истины и умственности, сделайте нас умнее, нежели она, даруйте ту глупость, которой у нее нет, и избавьте от той, что есть; подхватите нас под мышки, расстегните ширинку, чтоб встало, перенесите навстречу Медузе, мы спустим ей в нос, прострите красное, синее, прострем сине-коричневый стебель шеи, что торчит из снега блузона, образцово багровый бархат полости вагинальной, темно-красный атлас тугих малых губ, смятую вишневую тафту больших, иссиня-фиолетовую головку, суровое белье гармошки крайней плоти, непроницаемые пляжи серебра, золота, мергеля, выставьте все это под нос Медузе, вот как будет на это отвечено.

Медуза обездвиживает, и в этом наслаждение. Теория же — это наслаждение по поводу обездвиживания. То есть разделительная черта, вкладывающаяся в свою функцию разделения как такового, потому что разделить — значит обездвижить это в этом, а то в том: в тождественностях. Когда разделение становится внутри теории интенсивностью, эта черта одновременно обездвижена, чтобы разделить по разные стороны от себя это и то, и охвачена настолько стремительным вращательным движением, что невозможно приписать пространства, которые она порождает, тому

или этому. Более того: именно потому, что она обездвигивается, черта и вращается; потому, что различает, прочесывает все без разбора. Отчего у вас, теоретики, встает, отчего вам вставляет наша лента, так это от холодности ясного и разборчивого; на самом деле, просто отчетливого, каковое *противопоставимо*, ибо ясность — не что иное, как сомнительная избыточность отчетливого, переведенная в философию субъекта. Остановить черту, говорите вы: выбраться из пафоса — вот в чем *ваш* пафос. В самом деле, прекрасно и по-медузы цепеняще суровое, подвешивающее разделение.

Разделительная функция является к тому же одновременно и функцией синтетической. Вы говорите: это — это, это не то; сиречь: поскольку это — это, это не то. Старый принцип, покоящийся на синтезе, поскольку чтобы отъединить эту сторону от той, нужно иметь две стороны. В тот момент, когда вы разделяете, вы объединяете. Такой синтез, например, предполагается всем тем, что фонологи проработали под именем *оппозиции*. Чрезвычайно элементарный, но необходимый для построения *самодостаточного* дискурса синтез. Подобный дискурс требует его постоянного применения: всякое высказывание все более углубляется в пафос, чтобы разграничить в нем это и не-это, стало быть, продвигается вооруженным неким *cutter**, разрезает надвое и раз-решает. Непротиворечивость, которую он тем самым себе обеспечивает, покоится на предварительно — и произвольно — определенной приемлемости. Вам известны формальные свойства строго теоретического, то есть аксиоматизированного, дискурса: самым элементарным из правил, позволяющих установить эти свойства, является бинарное исключение: либо высказывание приемлемо, либо оно

* резцом (*англ.*).

не приемлемо (этот метаоператор исключения продолжает функционировать даже и в исчислении высказываний с несколькими значениями).

В идеале теоретический текст представляет собой *обездвиженное органическое тело*: удовлетворяя формальным свойствам непротиворечивости, насыщенности, независимости от аксиом и полноты относительно базисной области референции, буде таковая имеется. Органическое тело есть сочетание (синтез) различных (разделение) элементов, называемых органами; то, что эти органы являются высказываниями, а тело — текстом, может смутить лишь недалеких материалистов и доказывает только, что материей либидо служит все что угодно.

Органическое тело может обнаружиться и в повествовательном дискурсе, но оно располагается на его полюсе *референции*: повествование готово произвести эффект тела, возбудить воображение субъекта, простого или сложного, повествуемой *истории*, готово, следовательно, пришить события, которые оно разворачивает, к основе, чьими атрибутами они станут. В теоретическом же дискурсе силуэт этого тела помещается в самом тексте: объединенной и оцелокупленной оказывается не область референции-отсылки, объединенным и оцелокупленным становится сам дискурс. (Даже его референтно-отсылочные свойства суть свойства формальные.) На коже слов формализм этого дискурса являет собой нечто подобное тому, чем на коже красок является называемая абстрактной живопись. Напротив, живописным аналогом повествования служит фигуративность.

Разделительная черта работает в каждом из этих двух случаев, но когда речь идет о теории, место ее работы по разграничению совпадает с местом ее круговращения — это тело текста; в повествовании, в деятельности по организации рассказа, разделения

и синтезы имеют место в тексте, наслаждение же инстанцируется в базисной истории, по ту сторону текста, в том, что он *показывает*.

Способны ли мы воспринять эти два инстанцирования с точки зрения либидинальной экономики? Еще как. Мы заявляем, что во всякой фигуративно-повествовательной организации имеется полюс обездвизивания, и утверждаем, что интенсивности, которые могут доставить живая картина, *posing**, позиции садовских или вообще эротических повествований, реалистические фотографии, фигуративная живопись, некоторые фильмы *андеграунда* и, может статься, *любое* повествование и фигурация, вспыхивают как электрические дуги, протянутые между этим полюсом обездвизивания жертвы (представленное тело) и полюсом возбуждения, который повергает тело того, кого мы по вполне очевидным причинам назовем *клиентом*, в запредельное расстройство.

Заметим походя, что в так поляризованной фигурации-повествовании указание на связь, обездвизивающую показанные при этом вещи, ограничивается затемнением процессов, через которые на тексте, пленке, холсте и т. п. может быть получено это указание. *Кожа* подложки и отметин на ней стерта (живописно или кинематографически, например, она трактуется так, будто являет собою прозрачное оконное стекло, выходящее на расположенное на некотором расстоянии далёко), эмоцию клиента перехватывает кожа изображенных объектов. Референтивная или денотативная функция, если говорить на диалекте Якобсона, берет верх над всеми остальными. Но потом, если мы принимаем как ось референции именно эмоцию, то есть движение влечений, что мы скажем? Представьте себе клиента, смакующего *posing*,

* «показывание» (иск. *англ.*).

читателя повестей, зрителя вестернов, любителя картин — он пребывает перед лицом вещи, которая представлена ему неподвижной или замирающей, как перед *добычей*. Добыча — органическое тело, которому не дают пошевелиться: оболочка из живой плоти оборачивается тишиной и бесчувственностью. Наслаждение клиента требует здесь и органичности, и ее омертвления. Предельное душевное движение или эмоция инстанцируется в теле клиента, безумное нетерпение, полубоморочное состояние, выделение слюны, слез, семени, гусиная кожа, фантазии, лепет, аффекты беспрестанно размещаются и перемещаются по фрагментам великой пленки, образующим «его тело». Эти движения, отнюдь не замыкая оное в полный объем, несущий в самом себе свой центр и свое единство, четвертует его на разнородные, независимые, способные самостоятельно накаляться зоны: это не что иное, как поминавшиеся выше частичные влечения. Итак, расклад таков: органическое тело, объединенное и предопределенное к смерти через обездвиживание (жертва), к которому под именем клиента и при посредничестве непризнанной стертой основы подключено броуновское движение частичных влечений.

В абстрактной живописи происходит смещение значимости: картина ничего не представляет, она не отсылает к какому-то полюсу обездвиживания, расположенному в области референции. Полюс обездвиживания помещается на теле-клиенте: картина такого рода требует сращивания частичных влечений, которые пребывали в фигурации в волнении, требует концентрации внимания или же предельной инерционности способностей, переходу в состояние зависимости. В движение напротив приходит хроматически отмеченная кожа основы (холст, растворители, пигменты) — не только потому, что она не стирается больше «позади» того, что представляет (тогда как

на самом деле она ничего не представляет), но и из-за того, что как раз мнимая, несущественная для глаза, который при этом не наслаждается, неподвижность расположений точек, линий, поверхностей, цветов приводит в движение желание. Здесь мы ближе всего подбираемся к тому, что ищем: к инстанцированию интенсивности в теоретическом тексте, к неподвижному движению. Клее, Делоне, Ньюмен, Ротко, Гиффре, обманчиво неподвижные, совершают движение крохотными диспропорциями цветов, линий и т. п. Диспропорциями, не противопоставлениями. Научиться пускаться в движение вот так, синим, прибавляющимся к синему, двумя взблесками одного и того же белого, разнящимися в зависимости от угла зрения, по ту сторону всякой хроматической болтливости и дидактики.

Так как заурядный абстракционист действует только посредством системы, он является теоретиком, он идет в другую сторону, к параличу хроматического тела; но великие идут к его мобилизации. Клиент становится жертвой картины (текста), а она — тем, что движется: эмоция цветов, пластических элементов. Очарованность абстрактным есть инстанция чистого наслаждения, Медуза парализует клиента, но Медуза может двигаться. Она движется диспропорциями, клиент-жертва полагает, что она окаменела в противостояниях, он видит только систему, черту в ее разделительной функции, разрезающую и синтезирующую, он слеп к самому главному: та же самая черта, что проскальзывает между синим и синим, белым и белым, по видимости для того, чтобы их разделить и установить царство концептуального различия, неразрешимо кружится в колебании, которое является отнюдь не иллюзией или нерешительностью восприятия, а расподоблением энергии, ее яростным броском к этому месту и от него. Кожа картины действует

не как единая целостность, но тут и там, в укромных уголках, в невозможных соприкосновениях между хроматическими зонами, всегда сегментарно и частично, как эфемерный пазл фрагментов пленки влечений. В полной зависимости от этого пазла собирается, объединяется тело клиента. Активность это или пассивность? Это единение даже производит эффект идентичности, субъективности и тем самым активного внимания по отношению к клиенту, но мы также скажем, что тот полностью зависит от картины, что он — как охотник, которого выслеживают, когда он думает, что идет по следу. Именно он — добыча, тело-жертва, которое устанавливается в собранной целостности и тем самым вызывает извращенные движения со стороны хроматического распорядка: под прикрытием производимого им очарования тело-живопись — садист для тела-клиента. Итак, расклад здесь кардинально отличен от того, что задействован в фигуративной живописи: эмоция, проворот исключаящей черты, прочесывает картину, полиморфную поверхность, к которой посредством ловушки своего единения подключено тело-жертва клиента.

Теоретическое как либидинальное

ВЕРНЕМСЯ теперь к *теоретическому жанру*, жанру, который кичится формально установленными свойствами. Напомним те из них, что относятся к влечениям: как повествовательно-фигуративный дискурс, этот жанр предполагает органическую целостность; но таковая относится не к референции, а к самому тексту; как абстракция, он требует обездвиженности своего клиента; но к тому же ему нужно и его безразличие. Эти разногласия следует описать.

Абстрактное действует не через эффект симулякра, а единственно организацией своего материала. Но той же самой заслугой хвастается и теория: не создавать иллюзий или идеологии. Именно этому подчиняется, например, стратегия разложения материалов, которую в свое время применяла к живописным симулякрам группа «Основа-поверхность»: выставка рамок, полотен, равномерно окрашенных оттисков, брошенных на землю сетчатых рулонов из легкого дерева или кисеи в форме ленты Мёбиуса, создавала в чувственном пространстве точный эквивалент аксиоматики живописных работ в пространстве языковом; эти работы должны были быть в точности высказываниями, приемлемыми в определенных этой аксиоматикой лексике и синтаксисе. И под названием «К теоретической живописной программе» Дезёз и Кан действительно сформулировали эквивалентный этим показам теоретический дискурс.

Вряд ли стоит относить подобные слова ко всем абстракционистам, по отношению к которым «Основа-поверхность» была впрочем не менее критична, нежели к фигуративистам. Тем не менее либидинальный механизм заметен во всей абстрактной живописи — особенно теоретически — тем, что он обманывает перенос клиента на симулированный объект, на референцию. Перенос может касаться только материала и его расположения: так ли это? допустимо ли это? приемлемо ли такое высказывание? Вот впредь «правильные» вопросы, те самые, что вы, теоретики, задаете нам, а мы готовы задавать в свою очередь. Вопросы, полные заботой об истине, полные правоты и чувства виновности. Что предлагает своему восхищенному клиенту теоретический текст? *Неподступное* — в том смысле, который можно отнести к вору, лжецу, самозванцу — тело: к нему никак не подкопаться. Все, что выражается в таком тексте, в принципе выводимо из его аксиоматики. Текст, который держится как можно ближе к самому себе и выводится из самого себя согласно явно прописанным процедурам, открытое органическое тело, которое клиент в принципе может обождать, *не нарушая непрерывности*, его повторяя или отвечая на него без заблуждений; тело, которое не потерпит блужданий, которое определяет аппараты исключения и каналы вовлечения. Всякое встречающееся здесь высказывание имеет на это *право*: клиент в принципе может вывести его из других. Прекрасное тавтологическое тело теоретического текста, без внешних отсылок, без гадательной внутренней зоны, где рисковали бы затеряться дороги и следы, замкнувшаяся на своей белой идентичности модель, предлагающая себя повторить.

Теоретический текст — это модель, нечто предполагающее подражание, и у него самого тоже есть модель для подражания, его аксиоматика; ну и у той есть

своя, чисто формалистическая модель. И вместо того чтобы пытаться показать, что замкнутость таких моделей невозможна (теорема Гёделя) и что всегда остается некая первичная непрозрачность (символа, обиденного языка), было бы куда уместнее выявить в этой *отсылке к тому же* некий механизм страсти, не что иное как *отсылку к истоку*, которую герменевтика хочет этому механизму противопоставить. Тут и там, все это семиотика, противопоставление касается только отношения между знаками. Воспримем лучше модель сообразно ее силе. Эта сила проявляется в ее расширении через мимесис. Манекен (*mannekin*, маленький человек) представляет модели *из коллекции*. Он передает ликование от повторения одного и того же, наслаждение серийным воспроизводством.

Такое же наслаждение вызывает в качестве модели замкнутое тело теоретического текста. Его тавтологичное совершенство привносит в репликацию энтузиазм точности. Это тело, по крайней мере в идеале, заходит намного дальше биологического воспроизводства, где единичные эффекты, обусловленные случайными сочетаниями генетических кодов, не только не исключены, но и неминуемы. Теоретическое органическое тело выполняет свою миметическую функцию посредством партеногенеза. Имеет место сродство между теоретическим и *девственным*. Психологи скажут: теоретическое подразумевает отказ от полового различия. Но это «различие», на наш взгляд, подозрительно семиотично. Мы говорим: оно подразумевает отказ от диспропорций, от разнородностей пробегов и застоев энергии, оно подразумевает отказ от полиморфии. Ему нужна форма, добротная и красивая форма. Принцип такой формы лежит в стабильном синтетическом разъединении.

Это разъединение настолько сильно играет внутри теоретического тела, что идеально подводит его

к обездвизиванию. Здесь, перемещенным из референции прямо в материал, вновь обнаруживается *полюс паралича*, который мы обнаруживаем в фигуративности. Дискурсом, в отличие от повествования, обездвизивается не то, о чем говорится, обездвизивается сам дискурс: система приемлемых в «выбранной» аксиоматике высказываний стремится *остановиться*. Огромная разница с интенсивной инстанцией в живописи великих абстракционистов: у последних изображенные неподвижными вещи начинают двигаться на месте, на пороге восприятия, непрестанно: они в движении к движению. Но теоретические тела как таковые подобно опусам посредственных абстракционистов пребывают в движении к покою. У них есть цель. Медавар говорил, что научная гипотеза снимает тревогу. Теоретические дискурсы являются инструментами для фиксации и выделения интенсивностей, тогда как тревога выступает в роли родового названия для всех круговращений разделительной черты, в роли нарицательного имени эмоций. И еще он говорил¹, что единственная разница между изобретением (об этом-то мы тут и не заговариваем) научной гипотезы и обретением пластического, музыкального или еще какого-то художественного объекта состоит в том, что в последнем случае задействованы аффективные интенсивности, в то время как в правила первого входит, чтобы его передача была в принципе очищена от аффектов и воспринималось оно без эмоций.

Итак, обездвизиванию черты в стабильных разграничениях на теле теории (понятиях) соответствует подобное обездвизивание в районе соприкосновения между телом текста и телом клиента. Теоретический текст соприкасается с клиентом только при условии,

1. P. Medawar, *The Art of the Soluble*, Londres, Methuen, 1967, pp. 145–146 et 155 sq.

что тот отказался от аффектов, нейтрализован, предполагается не мобилизуемым, бесчувственным, беспристрастным, то есть безучастным по отношению и к скрываемым в тексте, и ко всем остальным эмоциям.

Эта холодность представляет собой свойственный теоретическому пыл. Она отнюдь не пародийна, ее либидинальный характер проявляется скорее в требуемой ею анонимности. Знаменитая *универсальность* знания, обычно понимаемая как априорное условие теоретического дискурса и его сообщаемости, если ее понимать под углом влечений, свидетельствует о разрушении личных идентичностей. К теоретическому дискурсу подключаются лишь анонимные фрагменты ленты влечений, фрагменты, способные повторять его без преобразований. После Фрейда уже не приходится удивляться, что повторение способно вызывать наслаждение; тут остается подчеркнуть, что настолько *точное* повторение, как то подразумевается теоретическим дискурсом, происходит в равной степени и от эроса, поскольку оно утверждает самодостаточное тело, тело теории, и от влечений к смерти, поскольку оно проходит через разрушение частных либидинальных механизмов, уже образованных на теле клиента, и их анализ в анонимности. Подразумеваемое теоретическим *забвение* — это уже свойственная *Оно* амнезия.

Тем самым слегка проясняется парадокс разделительной черты, одновременно и неподвижной, и в быстром вращении: разделительная, она тормозит любое прохождение энергии от тела-клиента к телу-тексту и обратно; возбужденная, открывает проход прямо к своей разделительной функции, к отсоединению клиентских по отношению к дискурсу механизмов, она переводит это отсоединение в соединение, погружает клиента и текст в наслаждение не-спариванием и анонимным повторением. Либидинальная лента возникает в той самой точке, где ее полагают исклю-

ченной. Но это отсоединение в точке подключения эквивалентно внутреннему усреднению, требуемому для того, чтобы теоретический дискурс сформировался в тело. Точно так же, как возможны интенсивные вложения в это усреднение, так и нейтрализация подключенных тел может сопровождаться их предельным возбуждением. Не должны ли мы были вызнать, что движение к холоду и смерти обжигает? что интенсивности не связаны с «жизнью», а могут пробегать, останавливаясь где придется, по невесте какой теме или участку великой чересполосицы, включая и те, которые, как теоретический дискурс, требуют предельной холодности и мертвой репликации? Мы отнюдь не заявляем, что это — заблуждение, извращение, иллюзия, идеология. Если у вас, господа, встает от мимесиса, что мы можем на это возразить?

Это нас скорее интересует. Капитал тоже миметичен, тут товары производят товары, то есть обмениваются на товары, то же обращается в то же согласно некоему внутреннему стандарту, такому, например, как у Сраффы. Если «знание» может, как говорил Маркс, стать производительной силой, то потому, что оно ею всегда было и ею и является, так как оно представляет собой выстраивание идентичностей и систем их репликации. Капиталистическое производство как раз и есть это построение условий для воли-к-повторению: производить, чтобы производить; купить, чтобы продать, чтобы купить, чтобы продать; серии, цепочки, стандарты и т. д. Рентабельность, достигаемая повторением (покупная цена годного на 500 км и 3 месяца билета по половинному тарифу погасится после двух поездок туда и обратно), после переписывания в терминах политической экономии оказывается тем же движением к параличу дискурса, который мы обнаруживаем в теоретическом тексте. Модель допускает серию и, следовательно, оберегает от энергетических затрат.

Это сбережение не обязательно смертоносно: погашение подразумевает взимание долга, который обременял помещаемость капитала в энергию, и, стало быть, его освобождение, свободу впредь бегло перемещаться по разным местам. Тем самым можно понимать погашение как возвращение к жизни: энергия, закрепленная в машинах и рабочих местах, *обустроенная* и в этом смысле очень связанная (в теле вложенного капитала), отчасти ускользает от этого механизма и намерена устроиться иначе. Непреодолимое влечение теоретического дискурса к *остановке* имеет еще и другую функцию: очертить поле референции, произвести модель, способную предсказуемо, то есть согласно идентичности, его трактовать, и высвободить определенную толику мощности. Необходимым следствием изготовления теории, как и изготовления производственных машин, является робот, причем двояко: он обеспечивает репликацию модели, он обеспечивает сбережение энергии. Он открывает путь к приключениям и встречам.

Мы не имеем в виду, что теория *приходит* от капитала — или наоборот. Ничто из них ни из чего не приходит, ничто не является следствием некоей причины. Но родство весьма близкое, капитал так же стар, как и теория, так же стар, как стар в деле установления идентичностей сам Запад. Однако тут же и возражения: капитал не останавливается, тогда как теоретический дискурс идет к своему обездвиживанию; капитал — это ко всему прочему неуловимое, извращенное тело, теоретический же дискурс смыкается в тело прекрасное и органическое: не свидетельствуют ли эти утверждения о расхождении, отмечающих всякую аналогию?

Напротив, они ее совершенствуют и избавляют нас от определенной наивности. Мимесис захлопывает теоретический текст как *власть высказываний*. Мо-

дель — то, что заставляет делать снова и снова, делать сообразно сделанному: в этом и заключается власть. У робота есть власть, у изготовителя роботов есть власть во второй степени, у изготовителя изготовителей роботов есть власть в третьей степени. В принципе, что не имеет власти, так это само высказывание, поскольку оно не более чем эффект, *следствие*. Вот почему мы боремся против мышления через причины: через власти.

В этом отношении теоретическое представляет собой основную процедуру впячивания и схлопывания великой пленки на самое себя; оно действует повторениями; оно преобразует беспримерные высказывания в простые новшества, великую боль от изречения чего-то, о чем ничего не известно, в легкое беспокойство от модификации теоретического здания путем добавления какой-то аксиомы или выведения сообразно законам его формирования какого-то выражения, которое, несмотря на свою новизну, должно быть *правильно сформировано*. Что же до плохо сформированных выражений, теоретическое вспоминает о них лишь для того, чтобы отодвинуть их угрозу. Новшество допускается, только если оно позволит повторить теоретическую модель как обездвиживающийся организм. (Совсем как капитал учитывает новые количества или качества энергии лишь постольку, поскольку способен повторить на них свою аксиоматику паритетных обменов.)

В систему входит только то, что там уже было, что имеет там свой дубликат, то есть свою модель. Это миметическое отношение приводит на ум августиновское *similitudo*. От коего оно отличается, но только как метафора отличается от метонимии, как зависимость по отношению к первично полученной — в качестве откровения, трансцендентно — модели расходится с условием возможности (аксиоматическим), которое

теоретик *задает себе* в качестве трансцендентального авторитета, на чей суд выносятся любое новое высказывание. В *similitudo* авторитетом наделен не теоретик, а тот, к кому он обращается: говорит только Глагол, а подлинный Гласящий отсутствует; глагол действительно гласящего — лишь метафора Другого, отсутствие с большой буквы, мелочь присутствия; но в мимесисе теоретик обретает метаязык, то есть не только высказывание, но и высказывание условий высказывания. Вот почему у каждого высказывания имеется лежащий в его основе дубликат, включенный в систему еще «до» того, как оно было произнесено, в качестве априорной возможности. Об этом все сказал уже Лейбниц, пусть и на диалекте старинной метафизики: высказывание *Alea jacta est** уже содержится в понятии Цезаря, каким составил его Бог, и тем самым удача, выпавшая метаниям Цезаря, включена в аксиоматику божественной всеговоренности. А теперь поставьте на место лейбницевского Бога совет директоров десяти крупнейших мировых банков, и вы поймете, почему то, что вы делаете, что бы вы ни делали, сможет войти в «реальность» капитала только возвратным образом. Обдумать что-то означает суметь его продумать, произвести и воспроизвести. Нет никакого первого раза, повторение первично, поскольку включено в установление элемента — концепции, товара. Если он не повторяем, не обмениваем на паритетных основах, то не является элементом системы.

Именно такова *демократическая власть* в теоретическом дискурсе. Это власть, связывающая интенсивные силы в монотонно повторяемые потенциальности; она демократична, поскольку условия образования этих потенциальностей в принципе повсеместно доступны. Равенство — политическая фигура теоретического

* жребий брошен (лат.).

паритета. Она накладывает свои ограничения на любой дискурс и любое производство. Теоретик, ученый готов пожаловаться на какой-то дискурс (наш?), потому что не может его повторить, по крайней мере быстро. Ни на что не годен; не подлежит обмену. Демократическая власть — это возможность с легкостью распространять идентификации. Мы ничего не имели бы здесь против, если бы не ее терроризм, ибо она исключает, что можно наслаждаться иначе, нежели чем повторно, в сберегательном удвоении и умножении. Каким бы ты ни был примиренцем, нужно признать, что использование возможности исключить любую интенсивную модальность, помимо той, что инстанцируется на разделительной функции, не является просто-напросто добавлением к демократическому теоретическому дискурсу, присоединением к нему вдобавок как бы его дурной интерпретации, оставляющей в будущем надежду на более открытые пристрастия. Нет, его терроризм от него неотделим, он состоит в применении черты и в принуждении к паритету.

Но не дадим запугать себя смертоносной теоретичностью. Перейдем к другой смерти, к капиталу в его функции революционного возбуждения и к дерзкой науке, прорывающейся прямо из теории.

В смерти через повторение, привносимой учетными знаками капитала, безмолвно и неразрывно действует другая, почти тождественная и совершенно инородная функция: две эти смерти неотличимы, они пребывают в конфликте. Но присмотритесь на минутку к тому, что называют «историей» науки, к примеру математики: это постоянный охват со всех фронтов определений математических объектов новыми представлениями, каковые не только включают в образованную этими объектами совокупность новые сущности, но и полностью видоизменяют саму природу математики: достаточно сравнить «Начала» Евкли-

да с «Основаниями геометрии» Гильберта. Как понимать такие смещения с точки зрения энергетики? Двояко. Если они составляют единую историю, то на подобие истории государства, или Европы, или Запада: это *Bildung**, это движение завоевания, путешествие самонакопления, странствие ученичества, оборачивающееся также феноменологией духа. Совершенно вторичная необратимость времени в этой истории, ее «прогресс», составляет, как говорил как раз об истории математики Кавайес, саму сущность тела науки: эта история всего-навсего отмечает в своем собственном пространстве-времени процесс капитализации благозвучных высказываний и завоевания высказываний, поначалу математически варварских. Во времени этот прогресс является тем же самым, что и перенос границ империи в пространстве империализма — перемещением *кромки* (подступа), о находящемся за пределами которой, как считается, *никто ничего не слышал*. Но как только *рубежи* установлены, некий вольный стрелок, черный охотник, одинокий путешественник возвращается и говорит: а я слышал — и вот что именно. Этот момент можно описать как цезаризм и эксплуатацию приграничных варваров; это означало бы забыть о моменте безумия, когда Лобачевский говорит: я строю геометрию без евклидовского постулата о параллельных, или Кантор: я включаю бесконечность в круг действенных чисел. Это моменты не постоянства, а прерывистости, не торможения, а принятого и доведенного до своего конца бреда. Они не низводят неизвестное до известного, они расшатывают все, что мы, мнилось, знали, за добрый аршине до того, чего мы не знали, на мгновение по агоре разносится варварский говор, для науки они то же самое, что последние квартеты Бетховена для гармонии.

* образование, формирование (нем.).

Всякий раз по *корпусу* установленной теории прока-
тывается смерть, смертельное напряжение, когда вся
система ставит на карту свое выживание. Здесь наука
оборачивается *фантастикой*². Она не довольствуется
повторением, не призывает к запасам, чтобы переде-
лать кое-что из уже доступного, уже известного, она
измышляет новые поверхности для записи, она при-
бавляет к телу знания, его *корпусу*, новые фрагменты,
в которых обращается, в которые вкладывается ли-
бидо, и тем самым выводит сей *корпус* из равновесия,
делает его жизнь ненадежной, самым изобилием сво-
их находок она обязуется сомневаться в своем при-
звании к истине, она открывает глаза, она ни во что
больше не верит, пространство и время становятся ей
бесконечно подозрительными, концепции, получен-
ные ею как априорные, поражает моральный износ.
После Гейзенберга и Башляра уже нет нужды заост-
рять эту тему.

Но не нужно идти на поводу у выражения, кото-
рым Башляр окрестил тайную мысль этой науки: фи-
лософия «нет». Придерживаясь этого негативизма,
мы бы свели масштаб научного «беспорядка» до неко-
ей критической функции, до функции критики *корпу-
са* возможных высказываний. Но это не столь важно,
куда важнее, что такая наука позитивно продуктивна,
или креативна, или *фиктивна*, по подобию искусства.
Она представляет все меньше и меньше интереса как
теоретическая критика (что объясняет смятение тысяч
исследователей) и все больше и больше как действен-
ный бред. Этот бред включает в себя смерть знаю-
щего субъекта. *Кто знает* в знании сегодняшней на-
уки? Абсурдный вопрос, поставленный с позиции,
согласно которой знание предполагается в принци-
пе приписываемым некоему субъекту, каковой им об-

2. См. Boris Eizykman, *Science-fiction et capitalisme*, Mame, 1974.

лаждает. Бредовое прочесывание теоретического поля современной наукой не только упраздняет инстанцию предположительно знающего субъекта, оно дисквалифицирует сам предполагаемый субъект. Перед лицом задействованных в научном изобретении траекторий либидинальной экономики всякая *топика* представляется отжившей свое идеологией. Современный научный работник существует уже не как ученый, то есть субъект, а как мелкая транзитная зона в процессе невероятно изощренного энергетического преобразования; он существует только как «исследователь», что, конечно, с одной стороны означает: как часть бюрократического аппарата научной власти, но с другой, неразрывно, — и как экспериментатор, неумоимо и непокорно испытующий новые сопряжения и сочетания энергии; предлагаемые им высказывания ценны только своей новизной.

И в этом, в своей анонимности и в блужданиях, он в не меньшей степени человек капитала, чем в подчинении своих трудов приказам власти. Капитал тоже является позитивным бредом, умерщвлением традиционных инстанций и институций, деятельным загниванием верований и гарантий, франкенштейновской хирургией городов, представлений, тел. Здесь тоже *топика* становится смехотворной, поскольку категория *топоса** отсылает к пространству-времени, в данном случае — аристотелевскому, предположительно устойчивому и «естественному», тогда как при этом прочесывании интенсивности как раз не имеют никакого постоянства, которое позволило бы зафиксировать их моменты и места на основе общей системы координат: не только все социальные слои или группы не живут в один и тот же час истории и в одном и том же историческом месте, так что некото-

* места (греч.).

рые из них запаздывают или забегают вперед по отношению к остальным, к тому же даже и в наиболее развитой «сфере» — в тех (временно) высокоинвестированных областях, каковыми являются те или иные отрасли промышленности, те или иные сектора исследования, те или иные рынки, те или иные зоны урбанизации, и на всех участках предполагаемого социального тела, в специальностях, которые пользуются бешеным спросом, поскольку касаются этой «сферы», — *даже там, стало быть, нет общего топоса*, даже там изобретения, конфликты не низводятся до одной, признанной или нет, институции, до одной топически уловимой инстанции. Так что принимая только этот аспект капитала, не придется почти ничего менять в том, что окружает нас в качестве мира, или общества, или жизни, чтобы придать ему научно-фантастический размах: в нем уже не больше тела, чем в науке — теории. Что следует изменить? Самую малость, сиречь все: надо, чтобы проводимости интенсивностей были подвластны *все* участки социального «тела», *без исключения*.

Тела, тексты: проводники

В ЛОНЕ теоретического ждет своего розыгрыша игра, требующая полного внимания игра, в которую не прочь сыграть «дискурс» сокращения: этому дискурсу ни к чему стремиться ошеломить паритетного клиента, способного повторить новые высказывания, тождественные тем, что он ему предлагает; он бы никоим образом не предрешал ни что именно его клиент может почерпнуть из высказываний, которые слышит или читает, ни каким образом он собирается добиться от них проводимости; этот дискурс домогался бы безвластия; допустил бы, чтобы подключение его неопределенного края к краю тела-клиента происходило случайным образом, не заботился бы о контроле над ним. Этакая бутылка в море, но без отчаяния, без *ultima verba**, чье выбрасывание не стало бы последней попыткой привлечь внимание и донести доверенное ей послание. В нашей бутылке не было бы послания; только толика кое-каких энергий, передача и преобразование которых остаются по нашему желанию непредвиденными. Из-за того что мы верим в силы, мы не насилуем нашего клиента, дабы он спарился с нашей дискурсивной моделью. Да и есть ли у нас модель?

Нам бы хотелось множественности *принципов* высказывания, чтобы нас, как и всех на свете, судили по их следствиям, но осознавая, что, какими бы они

* последние слова (лат.).

ни были, наш дискурс не является их причиной. Это не был бы, следовательно, ни Трактат, как в классический век, ни даже Опыт или Исследование, какими их породили Монтень или Юм: этот «дискурс» не только не был бы трактовкой определенного объекта, он не был бы даже ни поиском этого объекта, ни поиском подходящего для этой цели высказывания. — Не *ищите* ли вы все же что-то? скажете вы нам. — Да-да. Но поиск отдается в теоретическом дискурсе как бы приостановкой и откладыванием на потом его закрытия; точно так же граница великих Цезарей всегда остается всего лишь временной отметкой о состоянии завоевания, которая будет стерта, когда новое дерзновение вынесет *рубежи в зарубежье*: присовокупить еще больше...! и, следовательно, насадить еще больше бюрократического единства. Дискурс сокрытия искал бы совершенно иного: даже не расподобления уподобляемого и не необменности обменного, а своеобразных единичностей. Не «новшеств» (выводимых из корпуса аксиом), но небывалого. Этот дискурс искал бы в мудрости поиска своего безумия; этакий потерявший в завоевателе голову Цезарь. И нет никакой нужды в безумной пародии Гелиогабала.

Этот дискурс сокрытия уже не смог бы находить удовольствие в горьком «современном» удовлетворении отсутствием объекта и бездействием: позади уже несколько страниц рефлексии по поводу положения этого дискурса, они кажутся нам достаточно пространными, чтобы не сказать излишними, мы не испытываем никакого удовольствия, скорее скуку (и надеемся, что это чувствуется), от того, что приходится писать о нашем письме. Мы не хотим вытягивать из нашего клиента сумрачное размышление о Ничто, составляющее *коду* вполне себе классических симфоний структуризма. Сим писаниям не стоило бы быть книгой, ибо книга становится книгой, только если уподобляется

идеалу обездвиженного органического тела. Здесь собраны разве что разрозненные фрагменты, у каждого свой формат, каждый относится к своему собственному времени, начат и окончен вместе с ним, — и они займут или не займут свое место здесь или там или, скорее, подвергнутся тут и там накалу раскрученной черты. Если при этом найдется еще и какое-то клиентское тело, отлично. Не найдется — тоже хорошо. Не книга, всего-то связки, фашины либидо (что дало бы повод сторожевым псам всех мастей отнести к «автору» как к фашисту, когда он фасцинирован).

«Вот бы задействовать уды, влагалища, зады, кожу так, чтобы любовь стала условием оргазма». Вот о чем грезит любовник, любовница, чтобы избежать ужасающей двойственности обгаемых влечениями поверхностей. Но такое действие вылилось бы в присвоение или, как говорит Деррида, своеение, и в конечном счете в семиотику, в которой каждая эрекция и разрядка неминуемо свидетельствовала бы о позовах влечений. Но *нужно*, чтобы никакой неминуемости не было, таково наше последнее и решительное средство против террора истины и власти. Чтобы ебля оставалась сомнительной и в том, и в другом смысле, и как доказательство любви, и как порука безразличной обменности, чтобы любовь, сиречь интенсивность, проникала сюда случайным образом и наоборот интенсивности могли отстраняться от кожи тела (ты не кончил?) и переходить на кожу слов, звуков, цветов, гастрономических вкусов, животных запахов и запахов дух^{ов}, — вот сокрытие, от которого нам не ускользнуть, вот что тревожит и вот чего мы должны *хотеть*. Но это «хотение» само пребывает по ту сторону всякой субъективной свободы, мы можем сойтись с этим сокрытием только *сбоку, neben**, вслепую и украдкой, потому что

* рядом (нем.).

оно невыносимо и не может идти речи о том, чтобы сделать его приятным.

Что касается теоретического, в нем присутствует желание с сокрытием покончить: таковым представляется надежная и внушающая доверие позитивность так называемой работы понятия. Но тут все обстоит ровно так же, как и с еблей: никакой уверенности — ни что эти работы приведут к интенсивностям, ни что интенсивности приживутся в их наработке. Притязания теоретического напоминают требование любовников: чтобы имелись ясные знаки; буде они окажутся двусмысленными, от них все равно требуют, чтобы они прочитывались, пусть и в двойном прочтении. И вы отлично видите, что та удобочитаемость, которой требует эротическое или теоретическое, подразумевает репликацию: знаки ясны, когда, будучи вынуждены от случая к случаю повторяться, они позволяют ввести лексику и синтаксис и себя предвидеть, себя предвосхищать. Теоретические притязания, как и всякое оформленное в знаках любовное требование, суть притязания на *власть*.

Но наше адресованное коже, словам, вещам требование не может сделаться прозрачным, в нашем либидинальном времени нет места предвидению. Наш дискурс не может удовлетворить требованиям теоретического, ни в том, ни в другом смысле не дастся никаких гарантий: ни теоретическая конструкция, ни *деконструкция* не обеспечат нам обладание интенсивностями. Теоретическое требует того же, чего и любящая, не стремящаяся угодить любовница: дабы твой член был устроен так, чтобы вставал только по любви; дабы твои слова были подобраны так, чтобы ясно говорить о своем объекте, чтобы они вставали только по знанию. Дабы член вставал лишь от любви, дабы глагол вставал только по истине! Таково было требование Платона, таким оно и остается, даже в кажу-

щемся цинизме современного дискурса, на самом деле весьма религиозного.

Мы никак не можем поверить, что деконструкция надежнее обеспечивает интенсивности, нежели конструкция. Она просто-напросто негатив негатива, она остается все в той же сфере, питает те же террористические притязания на истину, то есть на сочетание знака — здесь в его поражении, разница единственно в этом — и интенсивности, она требует все того же хирургического вмешательства в слова, того же разграничения и тех же исключений, которых требует на коже любовное требование.

Любое закрепление некоего стандарта отвечает на требование о присвоении, оно блокирует раздельную черту в ее функции исключения и приводит к смешению интенсивностей с идентичностями. Это и есть политическая экономия или капитал. Нет никакого закона стоимости в смысле Маркса, но если есть некий закон, способный зафиксировать агломерат знака и тензора, то тогда есть и стоимости: это просто-напросто умственные знаки, взятые в своей предполагаемой функции интенсивностей.

Мы могли бы сказать: давайте наоборот, давайте поищем интенсивности в отсутствии регулярности, в головокружении, в неуловимых напряжениях и сделаем теорию антитеоретической, построим дискурс, в котором слова не будут и не смогут иметь своей, как ожидается, гарантированной *нагрузки*. Но мы не скажем и этого. Если сегодня имеет место глубокий провал, просто невозможность, поэзии, то вовсе не потому, что мы живем в бедственное время и от нас отстранилось Бытие. Этот дискурс, вместе с религиозностью, глубоко постыл нам по глубоким причинам. Ничто не отстранилось, мы ничего не забыли; в промежутке между верой и знанием греческие архаики, Гераклит не более изначальны, чем Дженис Джоплин.

Провал поэзии — это просто невозможность антитеории; фигура не должна быть противопоставлена дискурсу, как местопребывание интенсивностей может противостоять царству идентичностей. Нет специального места для интенсивностей, нет *интенсивного жанра*; и если нужно сказать еще раз, повторим, что самая строгая теоретическая артикуляция может дать повод для головокружительных переходов, а капитал в самой своей жесткости — для наслаждения.

Ни в коем случае нельзя идти на поводу у требования ясности; от того, кто любит, или того, кто говорит, оно требует власти над своими интенсивностями. Оно требует: воспользуйся властью, определи интенсивное. Нет, воспримем это требование с ужасом; все, что мы можем, — его бежать; это первый отпечаток власти на либидинальной ленте. Мы полагаем, что неспособны обеспечить связь наших слов, наших жестов, наших взглядов с прочесыванием влечений. Значит, обойдемся без ясности: иногда это происходит, иногда нет. Вы, теоретики, требуете от нас, чтобы мы складывались в личности, причем ответственные. Но если мы в чем-то уверены, так это в том, что эта операция (исключения) — чистое позерство, что накаливания никем не производятся и никому не принадлежат, что у них есть эффекты, сиречь следствия, но никак не причины.

Анонимность, сила: вот слова, призванные удовлетворить ваше желание знать. Не столь важно, но все-таки взгляните, что кроется за: *следствия, но никак не причины*. Вы связываете то и другое как полюса единого отношения, причинности. Но после Юма уже нет нужды настаивать на позерстве сей мелкой организации. Итак, когда мы говорим: *следствия*, речь идет не о следствиях из причин. Речь идет не о том, чтобы возложить ответственность за следствие на причину, сказать себе: если тот или иной дискурс, то или

иное лицо, та или иная музыка производит такой эффект, то это *потому, что...* Речь в общем-то как раз о том, чтобы *не анализировать** (даже в «шизо-анализе») в рамках дискурса, который вынужденно окажется дискурсом знания, а, скорее, достаточно утончиться, превратиться в достаточно анонимные тела, тела достаточно проводящие, чтобы не останавливать эффекты, чтобы проводить их к новым метаморфозам, чтобы извлечь их метаморфическую силу, силу пересекающих нас эффектов.

Итак, вы видите, откуда здесь *анонимность*: мы достигаем такой проводимости, лишь отводя вложения от механизмов канализации и исключения, которые зовутся я, собственность, замкнутое объемное тело. Итак, вы видите, откуда *пассивность*: мы не должны ни судить о причинах, ни выбирать следствия, энергии проходят внутрь нас и мы их претерпеваем, то, что мы вершим, — философия содомитов и женщин, будь что будет без того, чтоб ты сделал что должен, Китс говорил, что поэт — это хамелеон, а Гофмансталь — что у него нет я, но этого недостаточно, отнюдь не поэты будут наделены той романтической привилегией, которую уже Платон приписал им и прорицателям, пропустите всё, станьте все как один проводниками жара и холода, горечи и сладости, приглушенности и пронзительности, теорем и криков, предоставьте всему этому проложить через вас дорогу, знать *не зная, работает ли* это, приведет ли к неслыханному, невиданному, неиспробованному, неосмысленному, неиспытанному эффекту или нет. И если это прохождение в действительности не добавит нового фрагмента к прекрасной и неуловимой либидинальной чересполосице, плачьте, например, и ваш плач станет таким фрагментом, потому что ничто не про-

* от греческого *ана-лиейн*, *раз-лагать*.

падает и поводом для эффектов в свою очередь может послужить даже самое жесткое разочарование.

Итак, вы видите, откуда *театрика масок без лиц*: любой эффект это маска, а раз нет причины, нет и лица. Эти маски не маскируют никакого утраченного источника (то же самое понятие, что и причина, разве что чуть более изощренное), они становятся проводниками друг друга, причем порядок их появления никак не выяснить, он вне закона логической связи и, следовательно, сообразен анонимным единичностям. Итак, вы видите, откуда *никакого анализа*: даже фрейдовского, самого, однако же, близкого к тому дискурсу, которого мы домогаемся. Очень близкого, потому что именно *эффекты* и стремится проявить так называемое аналитическое отношение, именно аффектам намерено оно дать волю, именно в качестве хорошо проводящего тела предлагает себя аналитик для подключений к влечениям и именно к силе анонимного и доступного для интенсивностей проводящего тела стремится он препроводить напряженное, изолированное, эгоистическое и суперэгоистическое, сопротивляющееся тело пациента. Нам хотелось бы, чтобы аналитическое отношение было этим женским отношением, отношением пластичности и податливости, этой полиморфией. Но оно таковым не является, оно ко всему прочему является поиском причин, ответственностей, поиском идентичности, локализацией желания, осознанием, вирилизацией, властью, знанием — то есть анализом. Мы желаем эффектов проводимости и проводимости эффектов. Лизиса, тезиса*.

Никаких угрызений совести, надо ли упоминать, по поводу того, что мы ищем здесь эти эффекты и проводимости при помощи языка, чтобы не сказать лингвистически. А кое-кто при помощи живопи-

* освобождения, положения (*греч.*).

си, другие — танца, ласки, денег... Язык не добавляет, не подменяет, и прежде всего им не исчерпываются посредники в передаче силы. Итак, ни угрызений совести, ни чувства непосильной ответственности, двух отношений к тексту, которые очерчивают и определяют отношение к политическому, свойственное Белому человеку левых убеждений. Мы не доставляем никакого послания, не храним никакой истины, не привносим никакого откровения; и мы не говорим вместо тех, кто молчит. Никто не молчит, никого нет, тишина является частью либидинальной музыки.

До чего приятно сделать «книгу»; едва готовая, она выпадает из рук, ты оказываешься ее вытолкнутым вовне эффектом; и сделать ее заняло несколько мгновений, десятков мгновений, распределенных, быть может, на протяжении пяти лет или трех дней, на самом деле все они соприсутствуют, каждое — тензорный знак, всполох над идеей, над образом, словом или фразой, над запахом гранаты со слезоточивым газом или вопиющей несправедливостью, над лицом, книгой, тензорный знак, которому надо дать ход, наскоро обеспечить дорогу и проводимость несколькими страницами, быстро расположить слова во фразы, абзацы, с тем чтобы пропустить этот жар и холод, эту силу. Итак, эта книга — не сборник, не воспоминание, не свидетельство и не извещение. Никакой надобности впадать в пророчество, никакой надобности даже пародировать пророчество в духе Ницше. Она любя нам только *своей поспешностью*. Гонка наперегонки со смертью, наперегонки с ночью безумия, которая вот-вот опустится? Да нет, не стоит драматизировать таким тяжеловесным, все еще западным образом; ведь кто должен был бы бежать, если бы бояться следовало беспорядка? — я, основа. Та спешка, о которой мы говорим, является не предохранительным, нарциссическим бегством; скорее спешкой на-

встречу жутким выбросам энергии, которые готовы преградить трассу пера, продвижение мысли, взгляд; мчаться к ним, поймать эти влечения налету, скрасть нужные им слова, сделаться множественным проводящим телом, разнонаправленной полиморфной площадкой. Книга была бы этими привнесенными эффектами интенсивностей фрагментами.

У нас нет никаких претензий на безумие. *Строить из себя дурака*, что может быть презреннее: строить из себя туземца перед чиновником по туземным делам. Так получающийся безумец — всегда шут, дурак короля; деспоты нуждаются в своих дураках — в своем оправдании, в представлении при дворе того, что из него исключено. Как врачи в своих больных, а политики в своих рабочих. Не претензия на безумие, а *поиски* безумия. Но здесь опять осторожнее: мы разыскиваем его не как некую вещь, которая была нашей собственностью и которую присвоила себе какая-то злокозненная инстанция, не как некое существо, принадлежавшее нам лично и пустившееся в бега: так несчастные родители разыскивают своих беглых детей и забывают искать их, когда полагают, что их держат. Безумие отнюдь не благо, нас коробит от криков: да здравствует безумие! Безумие отнюдь не завоевание индивидуальной единичности. Оно то, что в интенсивности невыносимо. Искать безумия — значит сделать из себя, сделать из своего тела, в данном случае сделать из языка, хороший проводник невыносимого. Это был бы дискурс, смещающийся в сторону раздражения и ради этого становящийся все изощреннее; Ильзе Баранд справедливо замечает, что именно такое все ж таки восхитительное движение и пытаются покрыть и обесценить именем *извращение*³. Извращение, но которое способно ускользнуть от нозографии;

3. Ilse Barande, «Notre duplicité: les «perversions», leur champ,

не механизм, а лабиринт. Дискурсивная проводимость аффектов по коже слов не была бы прерывной/непрерывной, как логическое выведение, артикуляция, а стала бы одним, еще и еще одним распусканием лабиринта, через которое всякий раз, особым образом, вытекала бы сила этих аффектов. Беспорядок, деконструкция, фигура не дают никаких гарантий хорошей проводимости.

Прекратите путать рабство и зависимость. Нам хотелось бы книги всецелой зависимости: чтобы эти кусочки эфемерной чересполосицы складывались и состыковались на теле, на кончике пальцев, вдоль страниц; тогда мы стали бы полностью зависимыми от их сиюминутных образований. Если нет причины, то нет и автора. Стоит всего раз открыться либидинальной ленте, пеленам желания перекинуться, вращая на манер материи в клетках, с одного ее фрагмента на другой, как только и остается, что установить экран наших бумаг, на котором отпечатаются эти движения, чтобы в какое-то мгновение он стал участком ленты. Так что раз и навсегда прекратите путать власть и силу. Если на то, чтобы добавить к ленте несколько мгновений интенсивности, уходит некая работа, то это работа отказа, безвластия, и она открывает к силе. Власть принадлежит я, инстанции; сила — никому. И именно со свойственным ей насилием сила принимается искоренять любую субъективность. Это ее условие. Так что когда мы говорим: *дайте всем пройти через всё*, это вовсе не мольба о ненасилии, это само насилие. Прекратите путать насилие и белый террор. Белый террор инстанцирован, он разрушает здесь, чтобы построить где-то в другом месте, где-то там, он подавляет отдельные участки великой пленки, но для того, чтобы создать

leurs origines», в *La Sexlualité perverse. Etudes psychanalytiques*, Payot, 1972.

некий центр. Насилие ничего не создает, оно целиком чуждо созиданию (полезности), целиком состоит из расчистки защитных механизмов, из открытия маршрутов, смыслов, умов. Расчистки кровавой, будто бульдозером. Насилие или красная жестокость разрушает инстанцированные присвоения, полномочия власти. Бывает ли оно когда-нибудь чистым?

И сия «книга», будет ли когда-нибудь усвоено это тут же расплзающееся в клочья лоскутное одеяло либидинальных фрагментов? Уж не готова ли она продолжить свою карьеру, вписавшись в политические экономии издательского дела, литературы, мысли? Не преуспее ли ее красное насилие скрыться за белым террором? Не поддастся ли она, не станет ли восприниматься как свидетельство, как провозглашение истины? И как в действительности то, что является напряжением, способно подать себя вне того, что является рациональностью; пластичность — украдкой от регулярности? Всякая речь наделена значением истины, что бы ни понималось под этим выражением. Даже для нас, либидинальных экономистов, а не только для вас, теоретиков, то, что здесь сказано, *сойдет за истину*. Ибо как только имеется *я*, *мы*, наготове инстанция, которая ждет истину, как старая скотина кормежки. Так что никаких сюрпризов, предельная беспристрастность в этом вопросе. Вполне можно показать, что Ницше так и остался платоником. Когда ты хочешь показать что-то, ты обустройстваешь предмет, о котором будет идти речь, сообразно полю истинного и ложного, и показываешь его истинность и его ложность. Речь скорее могла бы идти о том, чтобы в этом смысле не показывать, не приманивать дух истинного и ложного. Истинен ли *танец*? Сказать так можно всегда. Но сила его не в этом.

Мы не должны покидать место, где находимся, стыдиться, что говорим в университете, «проплачивае-

мом государством», что пишем, стремимся напечататься и заработать, что любим какую-то женщину, какого-то мужчину и что поддерживаем супружеские отношения; хорошего места не существует, «свободные» университеты ничем не отличаются от прочих, незаконные издания подобны цивилизованным, и никакая любовь не может похвалиться, что избежала ревности. Должен ли наш страх перед системой знаков — и, следовательно, наше в нее вложение, — быть все же достаточно безмерным, чтобы мы разыскивали эти чистые позиции (с высоты которых мы не преминем всех и повсюду обучать, что станет мрачной революцией параноиков, еще одним ударом)! Интересней было бы остаться там, где мы и находимся, но без шумихи хватаясь за все выпадающие возможности функционировать как тела, хорошо проводящие интенсивности. Совершенно не нужны декларации, манифесты, организации, провокации, не нужны даже *образцовые действия*. Задействовать ради интенсивностей расподбление. Неуязвимый заговор, без главы, без определенного места обитания, без программы или плана, разворачивающий в теле знаков тысячи раковых тензоров. Мы ничего не изобретаем, так оно и есть, да, да, да, да.

Приложение



Лиотар

о «Либидинальной экономике»

От составителя

Сквозь призму ретроспекции философское наследие Жана-Франсуа Лиотара (1924–1998) удобно раскладывается на три четко очерченных периода, причем каждый из них достигает своей кульминации в одной из трех его «больших» (по собственному выражению Жана-Франсуа — и в виду здесь, конечно же, имеются не только их размеры) книг: «Дискурс, фигура» (1971), «Либидинальная экономика» (1974) и «Распря» (1983).

[Стандартная историческая ирония: не вписанным в подобный триптих оказывается самый знаменитый текст философа: превративший его в одного из наиболее влиятельных мыслителей конца XX века и принесший титул «диагноста постмодерн(изм)а» скромный доклад о *«состоянии знания в наиболее развитых обществах»* — написанный по заказу правительства Квебека (!) обзор «Состояние постмодерна» (1979).]

Причем три эти книги легко представить себе и диалектически законченной триадой: обнажающий фундаментальный биполярный дис-позитив дискурсивного и фигурального *тезис* («Дискурс, фигура» собственно и представляет собой докторскую диссертацию — *thèse* — мыслителя, вернувшегося в философию после добровольного двенадцатилетнего молчания,

навязанного принятым им аскетизмом политическо-го активизма); *antitezis*, *Gesamtkritikwerk*, поистине всеобъемлющее отрицание интеллектуального статус-кво в «Либидинальной экономике», в наибольшей степени уничтожительное для недавних маяков, Маркса и Фрейда; и *синтез* через утверждение неперенной раздробленности, чересполосности любых дискурсивных форм в итоговой «Распре».

[О «маяках». В каждой из трех этих книг Лиотар, безусловно, отталкивается (и в негативном, и в позитивном смысле слова; сам бы он сказал *дрейфует*) от мысли исходно близких и ценных для него мыслителей; если в «Дискурсе, фигуре» это были Маркс и Фрейд, то в «Либидинальной экономике» — куда более радикальные их продолжатели Клоссовски и Делёз/Гваттари (собственно эта книга стала непосредственным ответом на недостаточность критики «государственно-счастливого» марксизма и «выстраивающихся в школу» ветвей психоанализа в «Анти-Эдипе», авторы которого срастили фрейдизм и марксизм в якобы жизнеспособного уродца), а в «Распре» — и вовсе далекие от них Кант и Витгенштейн.]

Говоря предельно упрощенно, в «Либидинальной экономике» Лиотар осуществляет подрывную для каждой из них смычку построенной Фрейдом либидинальной экономики субъекта — энергетической теории циркуляции интенсивностей в теле и психическом аппарате человека — с политической экономикой Маркса/марксизма, приходя к выводу, что любая политэкономия прежде всего либидинальна, и далее эксплицируя политэкономические концепты либидинальными механизмами. По его мнению, носителем/проводником

либидинальных энергий является не «органическое тело» и не «тело без органов», а «великая эфемерная пленка»: он распространяет идею экономики желаний на максимально протяженное «метафизическое» поле и в непривычно агрессивной манере провозглашает ее примат над экономикой политической и методологией любой гуманитарной теории, в частности — над новомодными структуралистскими изысканиями, центрируемыми вокруг сосюрровской концепции знака, в которой Лиотар видит жалкое уплощение тензора — противостоящего великому Нулю (универсальному обнулению, закону стоимости) оператора интенсивностей.

[К претендующему на революционность содержанию добавляется шокирующая форма (традиционно соотносимая критикой с формой модернистского романа и, в частности, «Улисса» — возможно, всего лишь из-за молли-блумовского финального утверждения): это, безусловно, насильственный текст, цель книги — изменить (сбить) привычную оптику доксы, а для начала — вовлечь читателя в энергообмен с текстом, с письмом как энергетическим процессом, процессом, если угодно, превращения кинетической энергии в потенциальную, доведением красного каления желания до белого террора отрицания.]

Именно так, как точку максимальной негации, уже не деконструкции (это слово в семидесятые годы применялось в приложении к Лиотару почти столь же часто, как и к Жаку Деррида), а деструкции, и воспринимал в дальнейшем свою «злую книгу» сам Лиотар, сравнивая ее с тупиком, с актом сбрасывания змеей отмершей кожи. И хотя мы призываем читать «Либидинальную экономику» *как есть*, не вчитывая в ретродвижении в этот текст пришедшие позднее смыслы,

хотя тут вполне уместно вспомнить формулу Мориса Бланшо *«poli te legere»*, *«не читай меня»*, запрет законченного текста своему автору обращаться к нему после, «задним числом», все же для полноты картины стоит, наверное, прислушаться к тому, что думал в дальнейшем об этой книге ее автор. И не забудем, что, собственно говоря, автокомментарий начат уже в последней части самой «Либидинальной экономики».

[И последняя изящная, почти мёбиусова фигура: после сопроводившего во Франции выход «Либидинальной экономики» скандала, вызванного, с одной (левой) стороны, покушением на святость отца-основателя всей левой идеологии и как бы реабилитацией капитализма, а с другой (правой) — антитеоретическим, «улиссовски»-авангардным, подчас хулиганским в своем эпатаже письмом этого текста, с легкой руки автора критика настроилась было рассматривать «Либидинальную экономику» как определенный этап, «террористическую попытку борьбы с террором теории», быстро пройденный переходный момент в эволюции мысли философа, и по-своему символично, что своей новой жизнью этот не только подрывной, но и программный — либидинальному уже нет другого места, кроме капитала; и мы, либидинальные экономисты, должны работать внутри и против капитала, а не пытаться его напрямую ниспровергнуть или обреченно ему сопротивляться! — текст обязан в основном увидевшим в ней своего рода центр тяжести всей сложной конфигурации лиотаровской мысли степенным британским специалистам — главным образом уже в новом веке*.]

* В этой связи следует назвать имена Джеффри Бенингтона

I

[В ответ на высказывание о том, что предельно трудно вступать в беседу с автором такой книги, как «Либидинальная экономика»:]

«Да. Это не означает, что невозможна никакая дискуссия. Это означает, что определенный тип дискуссии и впрямь затруднен. Я не говорю, что невозможен, поскольку неверно, что теоретическая инстанция тут просто-напросто отсутствует. Она скорее до крайности остраниена. Пропитана чем-то иным. Это не теоретический дискурс в строгом смысле слова, и мне думается, что он, не иначе, вызвал дикий смех у тех двух-трех логиков, которым довелось открыть эту книгу. Но один из ее возможных эффектов состоит как раз в том, чтобы людям захотелось обсудить определенное количество обнаруженных в ней вещей с тем, кто ее породил. Так, впрочем, и произошло.

И еще кое-что о том же, пока эта тема нам вконец не надоела. Для меня тут действительно присутствует некая проблема. Перед нами книга, письмо которой стремится уклониться от определенного типа комментария, с этим все ясно. И она, стало быть, вершит насилие в точности в той мере, в какой не соглашает-

(Geoffrey Bennington), Эшли Вудварда (Ashley Woodward), Стюарта Сима (Stuart Sim) и, в первую очередь, Джеймса Уильямса (James Williams); все они, как правило, вписывают мысль Лиотара в существенно более широкие контексты, чем локализирующие свои темы французские исследователи (частично на восприятие мысли Лиотара в англоязычном мире могло повлиять и то, что по чисто внешним причинам «Либидинальная экономика» оказалась переведена на английский еще в 1993 году: хотя и позже «Распри», но почти на двадцать лет раньше, чем «Дискурс, фигура», — и перевел ее, кстати, известный в будущем философ (спекулятивный реалист) Иан Гамильтон Грант).

ся на диалог, так и есть. Возможно, следовало бы зайти еще дальше: она не соглашается даже на диалектику в аристотелевском смысле слова, то есть не соглашается даже на дискуссию, опирающуюся на мнения. Ибо в некоторых отношениях препятствием для дискуссии оказываются даже не представленные в этой книге мнения. Моя книга была написана в скандальной манере, и скандально в ней то, что она насквозь риторична, она работает целиком на уровне убеждения, уровне древней Пито*, и даже если использованные обороты не контролировались (по большей части они не контролируются), все же не вызывает сомнений, что ее «предполагаемый» (и не контролируемый) эффект заведомо был отнюдь не тем, что у педагогики или даже диалектики, он был куда более поэтическим или литературным, но в несколько причудливом смысле слова. Повторю еще раз: эта книга принадлежит скорее искусству слова, чем философскому и в том числе диалектическому письму. В этом смысле я понимаю, что ты имеешь в виду, но задаю себе вопрос относительно твоей позиции: почему ты возвращаешься к той осторожности, к той, лучше сказать, сдержанности, которая сводится к тому, чтобы сказать: как бы там ни было, эта книга стремится произвести на читателя эффекты, и автор не требует, чтобы эти эффекты возвращались к нему в форме вопроса.

Сие сочинение считается сочинением ритора и убеждителя, иначе говоря — автора личин-симулякров, хитреца, того, кто обманывает. На мой взгляд, как раз наоборот. Дело в том, что в античной мысли (начиная, скажем, с платонизма) ритор, оратор, поэт и т. п. — это именно тот, кто стремится произвести на другого эффекты и кого этот другой не контролирует. Но если ты возьмешь диалогический дискурс, каким он представлен у Платона, то это дискурс, в котором в принципе каж-

* дочь Афродиты, богиня убеждения и красноречия.

дый силится произвести такое высказывание, чтобы его эффекты могли быть возвращены его автору так, чтобы он мог сказать: это верно, это не верно, ну и тому подобное. То есть так, чтобы он мог контролировать эффекты или способствовать контролю за ними. В письме «Либидинальной экономики» имеет место своего рода инверсия по отношению к этой традиции: мне казалось, что регулирование диалогического или даже диалектического в платоновском смысле дискурса связано с властью, поскольку в конечном счете оно стремилось контролировать эффекты высказываний, которыми обмениваются собеседники; я же, напротив, пытался ограничиться тем, чтобы выдать массу высказываний, едва ли контролируемых и сами по себе, и в отношении своего получателя, — скорее в духе брошенной в море бутылки, чем в плане возвращения эффектов высказанного к его автору. Сам того не зная, я таким образом опробовал некую прагматику, в которой некоторые софисты видели решающий аспект поэтики: действительно, поэт, сфабриковав высказывания, не заботится о диалоге со своими читателями, чтобы установить, поняли они его или нет.

[...]

Разница, по крайней мере, кажущаяся, — я не уверен, что она реальна, — с поэтическими или литературными опусами состоит в том, что в принципе эта книга все же остается книгой теоретической, по крайней мере теоретичен ее бэкграунд; она выдвигает определенные тезисы и поскольку они выдвигаются не для того, чтобы представить доказательство или опровержение, а скорее чтобы убедить, вызвать, скажем, притяжение или отторжение, зазор между лексисом, то есть способом представления, с одной стороны, и логосом, то есть содержанием — с другой, действительно оказывается насильственным: тезисы не подлежат обсужде-

нию. Но по большому счету могут и подлежать. Я имею в виду, что эту книгу можно прочесть, вымарав весь риторический антураж, как стихийный, так и не очень, воспринимая только тезисы, и при этом отдавая себе отчет, что с подобной точки зрения книга абсолютно несостоятельна. Почему бы и нет? Такое возможно при условии, что читатель не позволяет, если можно так выразиться, себя запугать» (ноябрь 1977).

[Отрывок из книги «По справедливости» (1979) — серии бесед между Жаном-Франсуа Лиотаром и Жаном-Лу Тебо, в которой, собственно, наметился поворот от среднего, «языческого», к позднему периоду творчества Лиотара. Перевод выполнен по изданию: Jean-François Lyotard/Jean-Loup Thébaud, *Au Juste*. P., Christian Bourgois, série Titre 21, 2006, pp. 27–30.]

II

«Поскольку содержание закона пребывает непроясненным, нам, как говорит Клод Симон*, остается в меру своих возможностей его завершить. Ведет же нас в этой работе не что иное, как некое чувство. Нам нужно судить, что один путь исследования лучше, чем какой-то другой, когда у нас нет никаких критериев для подобного суждения. Что же до того, чтобы различить чувства как таковые, всем известно, насколько это трудно, поскольку мы не располагаем средствами, чтобы квантифицировать их масштаб или коннотации. Откуда можно сделать вывод, что их можно различить

* Имеется в виду неоднократно цитируемая Лиотаром формулировка Клода Симона, который на встрече в Союзе писателей СССР на вопрос: «Что такое для вас: писать?», ответил: «Попытаться начать фразу, ее продолжить, ее завершить» (напомним, что *фраза* является основным, «атомарным» понятием в построениях «Распри»).

только в качественных терминах, терминах интенсивности и даже непреодолимости.

К такому заключению я пришел в 1974 году, когда писал «Либидинальную экономику». Это, повторюсь, моя злая книга, исполненная злобы книга, какую в один прекрасный день испытывает искушение написать любой, кто пишет и думает. Я бы даже сказал, что выраженная в ней безнадежная растерянность сродни безнадежности «Племянника Рамо», если бы не знал, что два эти текста несопоставимы по своему значению. Но их роднит головокружение, охватывающее мышление, когда оно замечает, насколько мало обоснованы критерии, благодаря которым оно обычно отвечает на требования закона. Помимо гениальности эти два текста отличаются однако же и еще в одном отношении: под чертами Племянника диалог Дидро выводит на сцену представителя недоверия, тогда как моя проза притязала на то, чтобы разрушить или деконструировать самое представление, инсценировку. Она пыталась вписать в себя пробегающие интенсивности напрямую, без театральной дистанцированности. Довольно-таки наивный проект, чтобы не сказать чистая одержимость. Результатом чего стал своего рода *acting out*, переход к действию, который я рационально обосновал (пришла моя очередь рационализировать), рассуждая про себя, что очень искривленное, очень гибкое письмо, вместо того чтобы представлять рыскание чувств, способно стать самим их задействованным в плоти слов присутствием. Так что единственным законом для меня было как можно полнее подчиниться сменяющим друг друга эмоциям: гневу, ненависти, любви, отвращению, ревности. Я отчаянно боролся, чтобы подчинить свой текст прямо противоположным оттенкам этих душевных движений. Те, по счастью весьма немногочисленные, читатели, что осилили эту книгу, в общем-то восприняли ее как упражнение в риторике, абсолютно

не приняв в расчет то потрясение, которое претерпел я в душе, чтобы дойти до этого. Они, конечно же, были правы, но я все еще говорю себе, что эта книга достигла своей цели, показав тем очевидным предпочтением, которое она выказывает способу письма, «стилю», насколько тщетно приводить доводы касательно содержания и спорить о них, когда в счет только шансы, выпадающие словам, чтобы заставить себя полюбить или возненавидеть. На свой лад эта книга «вершила» разрушение гегемонии понятия в том, что называют рецепцией. В сравнении со смертным грехом, каковым является переваривание произведений структурами, «Либидинальная экономика» была, конечно, еще одним грехом, но простительным и даже, скажем, почетным: как бы подношением жертвы, призванным соблазнить богов. Немногочисленные же читатели ее возненавидели, увидев в ней лишь наглость, бесстыдство и провокацию.

Так, несомненно, и было, но вопрос оставался поставлен и поставленным остается: каково на самом деле бытие: умеренно, как о нем думают, и благовоспитанно — или же бесстыдно? Возьмите истерию, ипохондрию. Не являются ли они ко всему прочему способами заявить о себе для бытия или закона? Не рисковал ли языческий дионисизм предстать таким истериком? Мне выпала возможность обсудить это с Ричардом Форманом, когда через несколько лет я прочел его «Истерико-онтологические манифесты»¹. Форман, как и Дидро, имел надо мной одно преимущество: он понял, что невозможно уклониться от выведения интенсивностей на сцену. Он не грезил о том, чтобы задействовать их присутствие прямо в теле текста. Я же

1. Richard Foreman, «Hysterical Ontological Manifestos» in Kate Davy, éd., *Plays and Manifestos*, New York University Press, New York, 1976.

в свою очередь понял, что в притязании сравняться через письмо с бытием не обошлось без высокомерия. Как будто письмо способно занять положение закона, не обращать внимания на то, что тот отступил. Истинный скандал заключался именно в этом. Результатом подобного притязания могла стать только злая пародия.

Мне, конечно, лучше следовало бы по примеру Дидро представить пародию, а не через нее пройти. К несчастью, я был недостаточно искушен в диалектике, чтобы убедить себя, что от откладывания или различения уклониться невозможно. Или, скорее, отступление бытия, его увертливость до такой степени внушали мне не то почтение, не то подозрение, что я не смог излечить диалектикой свою меланхолию или скептицизм по этому поводу. Исследование Сьюзен Герхарт однако показывает, насколько легко с невзгодами «Племянника» способно справиться гегелевское *Aufhebung*².

В очередной раз суть вопроса коренится в отпращивании времени и ритма. Если различие неотвратимо, а отождествление иллюзорно, то нужно отказаться от идеи, что хоть какой-нибудь процесс может завершиться. И даже способен присовокупить свои переходящие результаты. Если учесть отступление бытия, то юмор, связанный с метаморфозами Племянника или, *mutatis mutandis**, с великой либидинальной кожей из «Либидинальной экономики», был во всяком случае более мудрым, нежели дурацкий проект создания всеобъемлющей теории.

В конечном счете, если можно так выразиться, регистрации метаморфоз Эроса и Диониса, которой я занимался, недоставало, как мне кажется, легкомыслия,

2. Suzanne Gearhart, «The Dialectics and its Aesthetic Other: Hegel and Diderot», *Modern Language Notes*, 5 (101), décembre 1986.

* с соответствующими изменениями (лат.).

чтобы внушить, будто два эти язычника занимают весь текстовой просцениум. Даже в истерии тревогу вызывает не то, что бог слишком далек, а то, что он, конечно же, слишком близок, но повернулся, как говорит Гёльдерлин, к нам спиной. «Быть близким к богам, но не видеть их лица», — пожалуй, вполне подошло бы к «Либидинальной экономике». Настоящее несчастье, что касается отделения плевелов от пшеницы, заключается в том, что невозможно положиться на интенсивность аффектов. Если бы ценность напрямую зависела от процентного содержания энергии, то не было бы никакого закона, а монах заодно был бы и дьяволом. Этот урок я извлек двадцатью годами ранее из прочтения «Доктора Фаустуса». В погоне за небывалыми музыкальными формами его герой, композитор Леверкюн, оказался унесен на край ада. Природные звуки, голоса святости смолкли, словно угасла свойственная человеческому уху восприимчивость. Точно так же, как приходит в упадок его государство, Германия, морально и политически подчинившаяся нацистской эстетике, в конце концов разрушает себя и он.

Монаху, каким я пытался быть, не помешало бы помнить, что полиморфное язычество, исследование и использование всевозможных форм интенсивности легко может скатиться к незаконной вседозволенности и спровоцировать насилие и террор. Я определенно еще не пребывал под защитой чар безразличия» (май 1986).

[Фрагмент первой из трех лекций, прочитанных Лиотаром по-английски в Калифорнийском университете Ирвайна; впервые увидевший свет под названием «Странствия» в 1988 году, этот текст остается уникальным источником автобиографических рефлексий философа. Перевод выполнен по французскому переизданию: Jean-François Lyotard, *Pérégrinations*. P., Galilée, 1990, pp. 32–36.]

От переводчика

Несколько замечаний по переводу.

1. По возможности, все цитаты брались из существующих русских переводов — как правило, единственных (т. е. канонических), по причине чего мы позволили себе не утяжелять текст указанием имен переводчиков и не приводить теряющие смысл в электронную эпоху точные библиографические отсылки. В случае необходимости в существующие переводы вносились минимальные изменения.
2. Что касается психоаналитической (восходящей к Фрейду) терминологии, мы следовали каноническому переводу Н. Автономовой классического словаря по психоанализу Лапланша и Понталиса — за одним исключением: французское *investissement* (*investir* и т. п.) — оно же фрейдовское *Besetzung*, — переведенное Автономовой как *нагрузка* (см. в высшей степени поучительное обсуждение этого непростого случая в предисловии переводчицы), из-за сквозных экономических коннотаций практически всюду переводилось нами как *вложение* (*вкладывать* и т. п.).
3. Неологизмы и новообразования Лиотара по возможности были перенесены на русскую почву (*заимообращение*, *инстанцирование* и т. п.).
4. Этимологии и иже с ними. Есть целый ряд слов/словарных гнезд, так или иначе искажаемых или утрачиваемых при переносе на русский язык. Вот

несколько основных [с необязательными комментариями]:

- а) *Intensité — intention — tenseur // teneur — souteneur* (как правило, переведены как *интенсивность — намерение/интенция — тензор // содержание — сутенер*): происходят от однокоренных латинских глаголов *tendere* (*напрягать*) и *tenere* (*держат*) соответственно и сохраняют по-французски очевидную близость (да и по смыслу *держат* без *напряжения* невозможно). Таким образом, в частности, *сутенер* это «содержант» как «поддерживатель», *интенсивность* — не что иное, как *напряженность*, а слово *тензор* буквально означает «напрягатель» (как понятие же — это математический термин, описывающий неевклидово обобщение привычного понятия вектора: сложную матрицу, ответственную за напряжение, то есть искривление, современного, римано-эйнштейнова пространства-времени). [Так что тензорный, а не соссюрровский векторный (означаемое/означающее) характер знака отражает, согласно Лиотару, неевклидовость, искривленность языкового (в самом широком смысле слова, ср.: «синтаксис как кожа») пространства и идет в связке с вкладываемой в это пространство мёбиусовой лентой либидинального тела.]
- б) *Dissimulation u dissimulation*: слова-близнецы, в которых совершенно прозрачно базисное значение корня — *подобие*, разнесены, однако, по своему значению и, согласно вложенному в них смыслу, переводятся нами соответственно как *сокрытие* и *расподобление* (к этому же ряду следует отнести и *симулякр*, оставленный нами из-за своей функции симуляции просто транслитерированным). *Сокрытость* в этом контексте означает, что нечто воспринимаемое как единое (одно и то же, подобное самому себе) может представлять — то есть нести в себе возможность присутствия — нечто иное. [Именно так знак

оказывается частным — плоским, выхолощенным — случаем тензора (что во многом вторит странной, асемиотической, гиперактивной концепции знака у Клоссовского).] *Расподобление* же выступает как противоположность уподоблению, то есть лежащей в основе любой теории *идентификации*; оно означает, что две признанные вроде бы идентичными вещи начинают отличаться одна от другой. [Отсюда один шаг до других ключевых слов Лиотара: *двусмысленность* и лейбница *несовозможность*.]

- с) *Театр* и *теория* — однокоренные слова, происшедшие от греческого глагола *теорейн*, *наблюдать*, *рассматривать*, *следить*. Дополнительной скрепой между ними служит и их принципиальный атрибут — *представление* (а. к. а. *репрезентация*). [Тем самым нападая на театральную разверстку «замыкания представления» (аллюзия на одноименный текст Жака Деррида?), Лиотар на самом деле метит в куда более важную цель: теоретическое как таковое. Метит через разрушение театра, театральной коробки, механизма, категорично отделяющего внутреннее от внешнего, присутствующее от отсутствующего, через отказ от представления — а с ним от критики и истины, — исходя из поднятой Клоссовским коллизии между античной театрикой и ее трактовкой Августином. Народная римская религия представляется Лиотару как истинный атеизм, поскольку она не собирается отказываться от рассмотрения мимолетных интенсивностей ради великого отсутствующего, великого (иудеохристианского?) Нуля, — и тема язычества получит свое продолжение в двух следующих его книгах.]
- d) Самое *специфическое* в русской оптике слово в «Либидинальной экономике» — *jouissance*, от глагола *jouir*, восходящего к латинскому *gaudere* — *наслаждаться*, *радоваться*. С самого начала, с эпохи Средневековья,

оно соединяет во французском два весьма разнесенных значения: *наслаждение* (в том числе сексуальное, вплоть до оргазменного) и *пользование, обладание* — в материальном и правовом поле. [Таким образом, во французском языке это слово представляет собой квинтэссенцию либидинальной экономики по Лиотару, соединяя воедино Фрейда и Маркса, удовлетворение сексуального желания и собственническое пользование материальными благами, исторические идеалы либертенгов и меркантилизма, Эрос и Танатос, желание как изменчивое *либидо* и желание как стабильное желание чего-то, *Wunsch*, уподобляясь *живой монете* Клоссовского.] В нашем переводе *jouissance* всегда предстает своей либидинальной гранью — как *наслаждение*.

- [е) Наконец, само слово *либидо*, откровенно чужое в русском языке, отнюдь не чуждо французскому и абсолютно не маркировано там как экзотическое: если латинское по происхождению *libido* появилось в нем как таковое только в XX веке вместе с теорией Фрейда, то однокоренное *libidineux* (*чувственный, похотливый*) в связке со своими производными вошло в обиход еще в куртуазную эпоху Возрождения. Таким образом, было бы вполне правомерно перевести слово *либидо* на русский язык, где имеется его этимологически точная калька, словом *похоть*. Увы, несмотря на формальный параллелизм двух этимологий и близость значения, в русском языке к *похоти* пристало слишком много сугубо пейоративных коннотаций, но все же, в духе провокативной позиции «Либидинальной экономики», мы готовы предложить заинтересованному читателю (особенно поклоннику/це Павича) присмотреться *mutatis mutandis* к виртуальному русскому тексту под названием «Похотная экономика» — или даже «Экономика похоти».]

Указатель имен*

- Августин Аврелий 19–21, 23–24, 31–32, 117–118, 120, 122, 132–133,
157, 459
Адорно Теодор 80
Алкивиад 272, 281
Альтюссер Луи 164, 259
Аристотель 163, 177, 267–268, 274, 276, 297, 364–365, 371, 373,
377, 380, 384–386, 392, 403
Арон Раймон 297
Архимед 178
- Баранд Ильзе 438
Батай Жорж 102, 114, 138, 182, 233, 239, 246, 310–311
Башляр Гастон 426
Беллмер Ханс 12, 291
Бетховен Людвиг ван 425
Бём-Баверк Эйген 166
Бланшо Морис 136, 148–149, 448
Бовалле, генерал 359
Бодлер Шарль 137
Бодрийяр Жан 156, 177, 179, 181–184, 188, 204, 207, 211, 216, 221–
222, 229, 237, 260
Бомарше Пьер-Огюстен Карон де 74
Борхес Хорхе Луис 67, 70, 381
Боске Мишель 401
Булез Пьер 80, 208
Бумедин Мина 196
Буржуа Бернар 214
Бухарин Н. И. 115
- Вагнер Адольф 257
Варрон Марк Теренций 21, 24, 117–118

* В список включены имена, непосредственно упомянутые в переводе текстов Лиотара.

- Вернан Жан-Пьер 267
 Видаль-Наке Пьер 267
- Галлей Робер 370
 Гваттари Феликс 115, 446
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 32, 68, 86, 98, 123-124, 132,
 143, 201, 212, 214-216, 366-369, 371, 374-375
 Гейзенберг Вернер 426
 Гелиогабал 430
 Гелл-Ман Марри 189
 Гельб Адемар Максимилиан 390-391
 Гераклит 433
 Гери Франсуа 204-205, 222
 Герхарт Сьюзен 455
 Геродот 287-288
 Гёдель Курт 417
 Гёльдерлин Фридрих 215, 456
 Гийом Филипп 204
 Гийота Пьер 192, 242
 Гильберт Давид 425
 Гиффре Рене 413
 Годелье Морис 180
 Гольдштейн Курт 390-391
 Гофмансталь Гуго фон 435
 Грин Андре 369
 Гуго Сен-Викторский 89
 Гулик Роберт ван 342-343, 346-347, 350
 Гуссерль Эдмунд 80, 87, 98
- Даниельсон Н.Ф. 169
 Дезёз Даниель 415
 Дейон Пьер 319, 323, 326
 Делёз Жиль 38, 91, 115, 446
 Делоне Робер 413
 Делоне Соня 64
 Деррида Жак 431, 447, 459
 Детьен Марсель 267
 Джойс Джеймс 51
 Джоплин Дженис 433
 Дзэами Мотокиё 93
 Дидро Дени 453-454
 Дюпен Эрик 359, 370
- Жан, подполковник 360

Жолен Робер 86, 183
Жуандо Марсель 68

Исократ 282

Кавайсс Жан 425
Кагель Маурисио 208
Кайуа Роже 182, 311
Каливода Роберт 255
Кан Луи 415
Каннингем Мерс 92
Кант Иммануил 85, 87
Кантор Георг 425
Кассирер Эрнст 390-391
Касториадис Корнелиус 177, 199-202
Кейдж Джон 92-93, 347
Кейнс Джон Мейнард 332, 378, 388
Китс Джон 409
Клаузевиц Карл фон 114
Кластр Пьер 92, 187
Клее Пауль 29, 413
Клоссовски Пьер 20, 52, 69, 113, 117, 125-128, 130-135, 137-138,
146, 148, 150-160, 300, 328, 332, 349, 446, 459-460
Кольбер Жан Батист 319, 322, 324-330, 332, 336, 383, 391, 401
Крозье Мишель 200
Кьеркегор Сёрен 312
Кюльоли Антуан 279

Лавуазье Антуан Лоран 331, 352
Лагомбердьер маркиз де 326
Лажоншер Жерар Мишель де 326
Лакан Жак 80, 89, 95, 182, 203, 209, 211-215, 300, 350
Лао-цзы 17
Латуш Серж 260, 262
Лаффема Бартелеми де 326
Лафон Ксавьер 109, 145
Лафон Сюзанна 103
Леви-Стросс Клод 79, 83, 86, 183, 188, 359
Лейбниц Готфрид Вильгельм 423
Лейрис Мишель 187
Ленин В. И. 115-116
Лесьневский Станислав 29
Ливингстон Давид 83
Лисий 282

- Лобачевский Н. И. 425
 Лоро Патрис 174
 Лукреций (Тит Лукреций Кар) 113
 Людовик XIV 319, 328, 383, 391, 400
 Людовик XV 309
 Лютер Мартин 124, 218, 220
- Мазох (Захер-Мазох) Леопольд фон 114
 Макиавелли Никколо 139
 Маламуд Шарль 370
 Мане Эдуар 138
 Маркс Карл 18, 124, 155-156, 163-175, 177-178, 181, 183-185, 191, 194, 200, 203, 205, 210, 216-220, 222-223, 226-238, 241, 243, 245-251, 254, 257, 259-262, 267, 276, 319, 325, 357, 363-365, 368-369, 382, 399, 401, 420, 433, 446, 460
 Маркузе Герберт 205, 275
 Марше Жорж 282
 Маттик Пауль 399
 Медавар Питер Брайан 418
 Мейер Зигфрид 203
 Мерло-Понти Морис 163, 390
 Мёбиус Август Фердинанд 13-15, 268, 415
 Монкретьен Антуан де 326
 Монтень Мишель 430
 Моргенштерн Оскар 285
 Мосс Марсель 182, 209, 211-212
- Негри Энрико де 124
 Нерс Жак 388-389, 397-398
 Ницше Фридрих 36, 51, 57, 74, 92, 97, 117, 127, 280, 437, 440,
 Ньюмен Барнетт 413
- Паскаль Блез 51, 312
 Пейрефит Ален 282
 Пиранези Джованни Батиста 280
 Пирс Чарльз 40, 79
 Пифагор 308-309
 Платон 21, 40, 120, 155, 272, 279-282, 432, 435, 450
 Прудон Пьер Жозеф 222
 Пруст Марсель 51, 57, 91-92
 Пуланзас Никос 180, 226
- Райх Вильгельм 372
 Рапопорт Анатолий 285, 296-298

- Рассел Бертран 98, 381
 Рикардо Давид 254, 262
 Рицци Бруно 200
 Ришар Сен-Викторский 89
 Ротко Марк 413
 Руссо Жан-Жак 183, 218
 Рюбель Максимилиан 166
- Сад Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де 111, 113-114, 117, 126,
 130-131, 134, 143, 146, 149, 153-155, 158, 196, 240-241, 308-309,
 327, 329, 344
 Свердлов Я. М. 115
 Сильбернер Эдмунд 326
 Симон Клод 452
 Синьорелли Лука 94
 Смит Адам 220, 229, 332
 Сократ 272-273, 279-281, 299, 314
 Соссюр Фердинанд де 40, 80, 181, 259,
 Спиноза Бенедикт 74, 113, 309
 Сраффа Пьеро 255-257, 260-262, 357-358, 363, 401-402, 420
 Стерн Лоренс 51, 174-175
 Стэнли Генри Мортон 83
- Томатис Альфред 191
 Троцкий Л. Д. 115-116, 200
- Уорхол Энди 63
 Уэстморленд Уильям Чайлдз 189
- Фейербах Людвиг 217-218
 Финли Мозес Израэль 267
 Флексиг Пауль 98-106, 108-112, 132
 Флобер Гюстав 103
 Форман Ричард 454
 Фреге Готлоб 98
 Фрейд Зигмунд 37, 44-47, 51-53, 55, 57-58, 80, 85, 88, 95-97, 101,
 104, 114-115, 125, 131, 133, 211-216, 245-246, 275, 280, 291-292, 315,
 358, 368-370, 419, 446, 457, 460
 Фридман Бенджамин Харрисон 205
 Фромм Эрих 255
 Фурке Франсуа 171
 Фурье Шарль 117
- Цезарь Гай Юлий 84, 140, 423, 430

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Чаплин Чарли 239

Шахт Ялмар 389

Шекспир Уильям 233

Шёнберг Арнольд 80

Шмидт Вера 294

Шодерло де Лакло Пьер 114

Шребер Даниэль Пауль 98-107, 109-112, 114-115

Штирнер Макс 255

Эйнштейн Альберт 189

Эко Умберто 89

Энгельс Фридрих 166-167, 220

Эшер Мауриц 75, 280

Юзино, генерал армии 360

Юм Дэвид 330-331, 430, 434

Якобсон Роман 209, 411



Научное издание

ЖАН-ФРАНСУА ЛИОТАР
ЛИБИДИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Главный редактор издательства ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Научный редактор издательства АРТЕМ СМИРНОВ
Выпускающий редактор ЕЛЕНА ПОПОВА
Корректор НАТАЛИЯ СЕЛИНА
Обложка ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Дизайн, верстка СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Издательство Института Гайдара
125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 27.04.2018. Тираж 1000 экз.
Формат 84×108/32. Заказ 3700
Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru. E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8 (499) 270-73-59

Издательская серия
НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Совместный проект Факультета свободных
искусств и наук СПбГУ и Института
экономической политики им. Е. Т. Гайдара

Современное знание об экономике остро нуждается в новых подходах и нетривиальной постановке вопросов. Дело даже не столько в критическом переосмыслении основного течения экономической мысли, сколько в представлении значимых альтернатив, которые могли бы реально обогатить мыслительный горизонт и методологический арсенал специалистов, занимающихся изучением экономики.

В особенности это справедливо для тех областей, где экономическая логика встроена в исторический, социальный, политический и культурный контексты. Очевидно, что здесь невозможно игнорировать наработки специалистов в области истории, философии, психологии, социологии, антропологии, культурологии и других наук. Экономика достойна того, чтобы к ней не подходили с уже готовой, единственно верной методологией, но исследовали ее предметную область, применяя самые разнообразные, подчас неожиданные, подходы. Герменевтика экономической науки, психоаналитическое и антропологическое толкование экономических процессов, критико-идеологический анализ экономической картины мира, акцент на риторике экономических объяснений и выявление теологических истоков современной экономической парадигмы — вот лишь некоторые из сюжетов, внимание к которым хотелось бы привлечь в рамках данного издательского проекта. В перспективе это должно вывести экономическое мышление на качественно новый уровень, а также послужить импульсом к превращению экономической науки в подлинно гуманитарную дисциплину.



Институт экономической политики имени Егора Тимуровича Гайдара — крупнейший российский научно-исследовательский и учебно-методический центр.

Институт экономической политики был учрежден Академией народного хозяйства в 1990 году. С 1992 по 2009 год был известен как Институт экономики переходного периода, бессменным руководителем которого был Е. Т. Гайдар.

В 2010 году по инициативе коллектива в соответствии с Указом Президента РФ от 14 мая 2010 г. № 601 институт вернулся к исходному наименованию, и ему было присвоено имя Е. Т. Гайдара.

Издательство Института Гайдара основано в 2010 году. Задачей издательства является публикация отечественных и зарубежных исследований в области экономических, социальных и гуманитарных наук, трудов классиков и современников.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

СПРАШИВАЙТЕ КНИГИ
В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА

МОСКВА

- Академия, просп. Вернадского, 82, (499) 270-29-78
Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1, (495) 629-64-83, 797-87-17
Библио-глобус, ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1, (495) 781-19-00
Московский Дом Книги, ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
Молодая гвардия, ул. Большая Полянка, 28, (495) 780-33-70
Фаланстер, М. Гнездииковский пер., 12/27, стр. 3,
(495) 629-88-21, 504-47-95 falanster@mail.ru
Фаланстер на Винзаводе, 4-й Сыромятнический пер., 1,
стр. 6, (495) 926-30-42
Книжный клуб 36,6, ул. Бакуинская, 71, стр. 10,
(495) 926-45-44
Аргумент, МГУ, Ленинские горы, д. 1, сектор «Б»,
(495) 939-42-95
Дом педагогической книги,
ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 1
ул. Кузнецкий Мост, 4/3, стр. 1,
(495) 629-54-35, 692-65-95
Дом Книги на Соколе, Ленинградский просп., 78, корп. 1,
(499) 155-38-82
Циолковский, ул. Б. Молчановка, 18, (495) 691-51-16, 691-56-28
У Кентавра, книжная лавка, ИОЦ «Гуманитарная книга»,
ул. Чайнова, 15 (РГГУ), (499) 973-43-01
Буквышка, ул. Мясницкая, 20, (495) 628-29-60
Гнозис, Турчанинов пер., 4, (499) 255-77-57
Додо Азов, Азовская ул., 24, корп. 3 (ТРЦ «Азовский»),
(926) 417-53-58
Додо Меридиан, Профсоюзная ул., 61 (ЦКИ «Меридиан»),
(915) 418-60-27
Додо Спейс, ул. Мясницкая, 7, стр. 2, (926) 044-15-61,
dodo.shops@gmail.com
Додо в Культурном центре ЗИЛ, ул. Восточная, 4, корп. 1,
(495) 675-16-36

Додо Царицыно, Визит-центр Государственный музей-заповедник «Царицыно», ул. Тюрина
Книжная экспедиция Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Варварка, 9, (495) 606-52-94
Тортуга, книжный магазин, ул. Старая Басманная, 15,
(Сад им. Баумана), (926) 463-72-33,
tortugabookshop@gmail.com
ММОМА Art Book Shop в Институте Strelka in Russian,
Берсенеvская наб., 14, стр. 5А
Ходасевич, ул. Покровка, 6, +7-965-179-34-98
Гараж, павильон Центра «Гараж», Пионерский пруд,
Парк Горького, (495) 645-05-21
Сеть Читай-Город (Новый книжный), (495) 937-85-81, 177-22-11
Сеть Академкнига
ул. Вавилова, 55/7, (499) 124-55-00
Мичуринский просп., 12, (499) 932-74-79
Цветной б-р, 21, стр. 2, (499) 921-55-96

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербургский дом книги, Невский просп., 28
(дом Зингера), (812) 448-23-55
Подписные издания, Литейный просп., 57, (812) 273-50-53
Порядок слов, наб. р. Фонтанки, 15, (812) 310-50-36
Все свободны, Мойка, 28, +7-911-977-40-47
Дом университетской книги (Издательство СПбГУ),
Менделеевская линия, 5, (812) 329-24-70, 329-24-71,
vitanova@spbu.ru
Свои Книги, ул. Репина, 41, (812) 966-16-91,
Fahrenheit 451 — independent bookstore in St. Petersburg, Russia,
ул. Маяковского, 15, (911) 136-05-66, books@frngt.ru

ВОРОНЕЖ

Петровский, книжный магазин и клуб, ул. Ленина, 54,
(3422) 43-03-51

ЕКАТЕРИНБУРГ

Пиотровский в Президентском центре Бориса Ельцина,
ул. Бориса Ельцина, 3, (912) 485-79-35
Йозеф Кнехт, ул. 8 Марта, 7, (950)-193-15-33
Екатеринбургский Дом книги, ул. Антона Валека, 12,
(343) 253-50-10

ПЕРМЬ

Пиотровский, Независимый книжный магазин,
ул. Ленина, 54, (342) 243-03-51

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Интеллектуал, книжный салон, ул. Садовая, 55, Дворец творчества детей и молодежи, фойе главного здания, (988)-565-14-35

НОВОСИБИРСК

Капиталь, литературный магазин, ул. Максима Горького, 78, (383) 223-69-73

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Приволжский филиал Государственного центра современного искусства, Кремль, корп. 6 (здание Арсенала), (831) 423-57-41
Полка, ул. Канавинская, 2, (960) 189-33-60

СТАВРОПОЛЬ

Князь Мышкин, ул. Космонавтов, 8, (928) 963-94-81, (928) 329-13-43, myshkinbooks@yandex.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

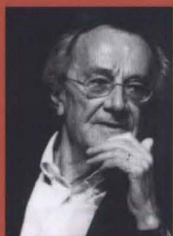
LibroRoom <http://libroroom.ru/>
OZON.ru <http://www.ozon.ru/>
Лабиринт <http://www.labirint.ru/>
Боффо! <http://www.boffobooks.ru/>
Books.ru <http://www.books.ru/>
Бизнес-книга <http://bizbook.ru/>
Книга.ru <http://www.kniga.ru/>
Read.ru <http://read.ru/>
Спринтер <http://www.sprinter.ru/>
Издательская группа URSS <http://urss.ru/>

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ЛитРес <http://www.litres.ru/>
OZON.ru <http://www.ozon.ru/>

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
Москва, просп. Вернадского, 82, (495) 433-25-02, 433-25-10,
delo@anx.ru, com@anx.ru



ЖАН-ФРАНСУА
ЛИОТАР

Классик новейшей философии Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) известен в двух ипостасях: с одной стороны как автор серьезных, подчеркнуто «ученых» книг, опирающихся на классический философский анализ; с другой — как автор концепции «постмодерна», то есть проницательный диагност и аналитик «современности», как затрагивающий сферы политики, этики и эстетики публицист. В одной из своих главных книг, «Либидинальной экономике», он решил соединить эти два типа дискурса в неразрывное целое. Результатом этой смеси стала неистовая, во многом скандальная книга.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

18+